



Библиотека
всемирной литературы

Серия третья ***

Литература XX века

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Грабарь-Пассек М. С.
Егоров А. Г.
Елистратова А. А.
Емельяников С. П.
Жирмунский В. М.
Ибрагимов М.
Кербабаев Б. М.
Конрад Н. И.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. В.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Г.
Реизов Б. Г.
Рюриков Б. С.
Самарин Р. М.
Семпер И. Х.
Сучков Б. Л.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Шамота Н. З.

В. МАЯКОВСКИЙ

СТИХОТВОРЕНИЯ



ПОЭМЫ



ПЬЕСЫ



ИЗДАТЕЛЬСТВО

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА · 1969

Вступительная статья
А. Суркова

Р 2
М 30

7-4-2
подп. изд.



МОИ ПРИЯТЕЛИ
ЧЕРНЬ-КАТ
БЫЛИ МОИ

Ч. КА
ЧУХ БЫ
ТАК С
ХИМУ А
С ТЕМ Р

И. ТА
НЕСЛЯ
СИВЕД
И ВСЕ
ВСТУД

АМЕРИКУ

ДЖОН
СКОМУ ЕДУТ,

ЧИТАЯ МАЯКОВСКОГО МОЙ СТИХ ТРУДОМ ГРОМАДУ ЛЕТ ПРОРВЕТ

Немало лет прошло с того дня, когда в трагическое утро 14 апреля 1930 года перестало биться сердце «агитатора, горлана-главаря», сердце великого поэта революции — Владимира Маяковского.

С первых своих шагов в поэзии Маяковский жадно, настойчиво, непрерывно искал контакта своего стиха с сердцем «человека улицы», большого, массового читателя своего времени.

С первых своих шагов в литературе он боролся за этого читателя, проходя сквозь строй открытых атак и кулуарных интриг, сопровождавшихся улюлюкающими выкриками и записками: «Маяковский, для кого вы пишете?», «Маяковский, вас не понимает и не принимает массовый читатель», «Маяковский, перестаньте размахивать картонным мечом ваших агиток — вы исписались». Вот это, последнее, чем глубже поэт выявлял себя глашатаем героической народной борьбы за коммунизм, звучало все чаще, все настойчивее, все визгливее.

В шумном хоре голосов отрицателей смешались и возмущенное шипение снобов-эстетов, и громыхающая «словесность» псевдолевых вульгаризаторов.

Но, вопреки всему этому, еще при жизни, Маяковский проторил себе дорогу к тому читателю, о котором он мечтал в своей поэтической юности, во имя которого он ушел «из барских садоводств поэзии — бабы капризной».

К ним, этим своим современным и будущим читателям, поэт обращался в своем последнем, завещательном произведении «Во весь голос», считая себя обязанным рассказать «о времени и о себе».

Десятилетия, отделяющие нас от времени создания последних поэтических строк Маяковского,— достаточно большой срок для проверки временем силы читательского внимания к поэту и силы его влияния на поэзию его времени и последующих десятилетий.

За эти десятилетия сошли с литературных подиумов и канули в Лету многие из тех, кто пророчил этот удел Маяковскому. За эти десятилетия, полные невиданных социальных катаклизмов, потрясавших человечество, ни победный гул великого строительства, ни разрушительный грохот войн и классовых битв не помешали читателю слышать голос поэта-новатора, поэта-революционера. Наоборот, чем больше мужало в борьбе и труде молодое советское общество, чем шире развертывалась ленинская культурная революция, тем больше и больше понимание стиха Маяковского становилось, по его выражению, «выше довоенной нормы».

Когда-то сам поэт мечтал о том, чтобы его стихи расходились по стране «летучим дождем брошюр». Эта его мечта, так же как и мечта о разговоре с читателем на волне радио, исполнилась. Прорвавшись через «громаду лет», поэт вошел в каждый дом своих соотечественников, звука и в оригинале, и в поэтических переводах на всех языках народов, объединенных в братстве Союза Советских Социалистических Республик.

За эти десятилетия не проходило ни одной дискуссии, посвященной судьбам советской поэзии, в которой бы ее участники не отправлялись от новаторского наследия, оставленного нам Маяковским. И это не удивительно. Ведь кроме того, что за минувшие годы в поэзии звучали голоса поэтов, прямо ориентирующихся на поэтическую манеру и интонацию Маяковского, ни один из советских поэтов, как бы его манера, его интонация, его стиль ни разнились с интонационно-трибуальным стихом Маяковского, не избежал благотворного воздействия его смелого новаторского опыта в расширении языковых, тематических, интонационных возможностей русского стиха.

Еще при жизни Маяковского установились его связи с наиболее прогрессивными поэтами за рубежом, уже были проложены первые тропинки к сердцу зарубежного читателя стиха.

Ныне, обозревая обширные дали современной мировой поэзии, без труда можно установить для себя, что стих Маяковского «через головы поэтов и правительства» из года в год завоевывает за рубежом — и среди наших друзей, строящих социализм, и в капиталистических странах — сердца миллионов читателей и почитателей стиха.

Самоотверженная работа лучших, прогрессивных поэтов за рубежом

приблизила Маяковского к сердцу зарубежного читателя, несмотря на все трудности перевода его стихов на другие языки.

Отечественная «маяковиана» получила подкрепление многими фундаментальными исследованиями и популяризаторскими работами, посвященными творчеству Маяковского, его стиху, его драматургии, его новаторским поискам, созданными во Франции и в Италии, в Англии и США, в странах Латинской Америки и Азии, во всех братских странах народной демократии.

И когда внимательно вчитываясь в стихи лучших, прогрессивных поэтов современного мира, без труда угадываешь их кровное родство с Маяковским. Вспомним произведения таких поэтов, как немцы Бехер, Брехт и Вайнерт, француз Арагон, чилиец Неруда, турок Хикмет, поляк Броневский, чехи Незвал и Тауфер, черногорец Зогович, болгары Гео Милев, Вапцаров, Радевский, венгр Гидаш. Можно еще и еще называть имена людей, связавших свою поэтическую судьбу с борьбой за лучшее будущее человечества, и безошибочно нащупать в их творчестве родство с поэзией Маяковского.

Это не эпигонство, не подражание учеников манере мастера, не «школа Маяковского». Это духовное родство товарищей по оружию, родство людей, стоящих в одном ряду в борьбе за будущее человечества и за будущее поэзии. Это боевое братство «хороших и разных» мастеров поэзии, объединенных общей исторической целью, часто общностью судьбы и общностью пути в поэзии от разных исходных «измов» («футуризм», «дадаизм», «сюрреализм», «экспрессионизм» и т. д.) к боевой поэзии человечества, пробивающего путь к справедливому будущему.

Такой поистине величественный итог жизни, tragически оборвавшейся на своем высоком взлете,— производное от большого и сложного пути поэта, его жизненной и литературной биографии, его заблуждений и открытий, его неутомимого новаторского поиска, вечной «езды в неизнаное», и постоянного ощущения себя « заводом, вырабатывающим счастье», его неистощимого гуманизма.

Недаром он в самом трудном своем произведении послеоктябрьских лет, в поэме «Про это», писал:

Что мне делать,
если я
вовсю,
всей сердечной мерою,
в жизнь сию,
сей
мир
верил.
верую.

Вам я
душу вытащу,
растопчу,
тебь большая! —
и окровавленную дам, как знамя.

Владимир Маяковский пришел в русскую поэзию в те годы, когда она, после поражения революции 1905 года, отражая духовный кризис русской буржуазной интеллигенции, переживала глубокий упадок. Это остро и болезненно чувствовал самый талантливый и исторически чуткий из символистов — Александр Блок. Но другие представители этой группы, от Мережковского до Сологуба, а также все младшие символисты и эпигоны символизма окончательно выхолостили из русской поэзии, богатой славными традициями XIX века, живую мысль и живое чувство, обесполтили и обескровили русский поэтический язык. К десятым годам, когда со своими первыми стихами и декларациями выступили акмеисты и футуристы, когда зазвучали на страницах «Звезды» и «Правды» первые, пускай еще негромкие, строки пролетарских революционных поэтов, все признаки предвещали близость освежающей очистительной бури, обусловленной на зарванием накануне первой мировой войны нового революционного кризиса. Должны были появиться поэты, способные вернуть русскому стиху славную традицию гражданственности, вывести его из заточения в «башне из слоновой кости» на улицу, в мир социальных страстей.

Эта великая задача была явно не по плечу поэтам группы акмеистов, выразителей тех же социальных сил, что и их духовные предшественники — символисты. Н. Гумилев, О. Мандельштам, А. Ахматова, С. Городецкий, В. Нарбут и другие поэты этой группы были способны преодолеть «бестелесность» символистской поэтики и образности, декларируя «адамизм» и «вещность» стиха, но не могли и не хотели вывести русский стих из узкого мира индивидуализма, не могли рассеять мистический туман, образовавшийся в поэзии в пору господства символистской школы.

Не под силу была эта задача и футуристам, в рядах и под знаменем которых пришел в поэзию молодой Маяковский.

Не в пример акмеистам, целью которых было реформировать символизм применительно к новым условиям, футуристы пришли с кажущейся на первый взгляд крайне революционной целью — не только взорвать и смести со своего пути мертвые формы и догмы современной им поэзии, но и «сбросить классиков с парохода современности», чтобы, освободив себя от всех традиций и канонов прошлого, создать на голом месте свою «поэзию будущего».

Футуристы вошли в поэзию шумно, с рассчитанной скандальностью. Они эпатировали читателя и слушателя максимализмом своих литературных манифестов, необычностью названий своих программных сборников («Пощечина общественному вкусу», «Взял» и т. д.), и «желтыми кофтами фата», и разрисованными лицами, и нарочитой скандальностью публичных выступлений. Декларативное заявление о том, что в строчках футуриста А. Крученых «дыр бул щур убещул» больше национально-русского, чем во всем Пушкине и Лермонтове, было заурядным ходом в их литературной полемике. И не было ничего удивительного, что в утверждении «планетарности», «всеобщности» своего течения талантливейший из футуристов, Велемир Хлебников, мог чувствовать и называть себя «председателем земного шара».

Владимир Маяковский, как и другие его товарищи по группе, также эпатировал буржуа и желтой кофтой, и эстрадными сарказмами, и боскими стихами, вроде:

Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.
А вы
покторн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?

Как и у других его сотоварищей по группе, у Маяковского тех лет было повышенное чувство личности, продиктовавшее ему и трагедию «Владимир Маяковский», и такие лирические стихи, как «Себе, любимому, посвящает эти строки автор». В первых стихах Маяковского, напечатанных в программных футуристических сборниках, так же много бравады и декларативного преувеличения личности поэта, как и в других стихах этих сборников.

И при всем этом уже с первых шагов Маяковского в поэзии есть нечто отчетливо выделяющее его из шумной и разношерстной футуристической компании. Да, он вместе с другими футуристами сочинял и подписывал хартии «самовитого слова», утверждающие примат формы над содержанием. Да, он искреннеставил свою подпись под призывом «сбросить Пушкина, Достоевского, Толстого с парохода современности». Да, в его стихах было выделено и подчеркнуто авторское «я»:

Я знаю —
гвоздь у меня в сапоге
кошмарней, чем фантазия у Гете!

Да, в молодых стихах и поэмах Маяковского было много строк и образов нарочито, подчеркнуто огрубленных, натуралистических, рассчитанных на то, чтобы резко противопоставить их выхолощенному, бесплотному стилю поэтов старшего поколения и эпигонов. Да, в молодых стихах и поэмах Маяковского, в известной мере и в последующем советском периоде его творчества, гиперболизм образов достигал поистине космических масштабов:

Если б был я
маленький,
как Великий океан,—
на цыпочки б воли встал,
приливом ласкался к луне бы.

Но при всем этом, повторяю, уже в самых ранних, дореволюционных стихах Маяковского своеобразно и сильно зазвучали ноты социального протеста. Это определялось и характером его таланта, и особенностями его биографии, и впечатлениями революции 1905 года на Кавказе, и кратко-временным, но активным его участием в работе московской большевистской партийной организации, и феноменально ранним развитием его политического сознания, наложившими неизгладимый отпечаток на всю жизнь поэта.

Подписывая формалистические декларации «самовитого слова», Маяковский-поэт в поэме «Облако в штанах», определяя для себя назначение новой поэзии, пишет:

Пока выкипячивают, рифмами пиликая,
из любней и соловьев какое-то варево,
улица корчится безъязыкая —
ей нечем кричать и разговаривать.

И разве не это же направление мыслей и чувств молодого Маяковского мы отмечаем, читая строки, адресованные «эгофутуристу» Игорю Северянину:

Как вы смеете называться поэтом
и, серенький, чирикать, как перепел!
Сегодня
надо
кастетом
кроиться миру в черепе!

Маяковский писал как будто индивидуалистические строки «о гвозде в сапоге», но тут же рядом утверждал:

мелчайшая пылинка живого
ценнее всего, что я сделаю и сделал!

Это острое ощущение себя во всем живом, человеком среди людей, подсказали Маяковскому в глухое, но уже чреватое грядущей революцией время строки, ярко подчеркивающие особый характер его «индивидуализма»:

Где глаз людей обрывается куцый,
главой голодных орд,
в терновом венце революций
грядет шестнадцатый год.

А я у вас — его предтеча;
я — где боль, везде;
на каждой капле слёзовой течи
распял себя на кресте.

Вчитайтесь, вдумайтесь, вчувствуйтесь в каждую строчку, в каждый образ поэмы «Облако в штанах», в сатирические «Гимны», вспомните исполненные острой сердечной муки и протesta антивоенные стихи поэта «Мама и убитый немцами вечер», строки поэмы «Война и мир» и другие, и вы увидите, что под пестрой оболочкой футуристических бравад под «желтой кофточкой фата» неугасимо пылало сердце гуманиста, наполненное горячей любовью к человеку улицы, замордованному несправедливым общественным строем. Это была не элегическая, платоническая любовь прекраснодушного интеллигента к «малым сим». Это была активная, призывающая к действию, к восстанию любовь поэта-гражданина, поэта-революционера:

Чтоб флаги трепались в горячке пальбы,
как у каждого порядочного праздника —
выше вздымайте, фонарные столбы,
окровавленные туши лабазников.

Таких мотивов, такой революционной энергии не содержали в себе не только стихи рядовых «самовитых» футуристов, но и дооктябрьское творчество талантливого друга и соратника Маяковского — Велемира Хлебникова.

Разделяя теоретические заблуждения и дореволюционного и послеоктябрьского футуризма, Маяковский — поэт революционных предчувствий, — как огромный одинокий утес над цепью холмов, возвышался над духовной средой своих единомышленников. И не случайно, что его именем обозначена вся плодотворная новаторская работа по обогащению содержательных, формотворческих и языковых возможностей русского стиха в предшествующие Октябрьской революции и послеоктябрьские годы.

Маяковский предреволюционных лет не был, конечно, пролетарским революционером большевистского склада. В его поэзии различимы и мессианская жертвенность, и анархическое, нигилистическое, огульное отри-

зание культуры прошлого, и утопичность идеала (финал поэмы «Война и мир»), и ультрагиперболизм, и подчеркнутый натурализм образов и языка.

Сложные вопросы, поставленные действительностью, чреватой на-длагающейся революционной бурей, не находят ясных ответов в душе поэта, оторванного от революционного авангарда народных масс. Это и определяет нарастание трагического начала в поэмах «Флейта-позвоночник» и «Человек». Но и в них, однако, все усиливаясь, продолжает звучать тот же мотив неиссякаемой любви к людям.

Я бы всех в любви моей выкупал,
да в дома обнесен океан ее!

С И Я Т Ъ В И А С Т А ЮЩЕ Е З А В Т Р А

Светить всегда,
светить везде,
до дней последних донца,
светить —
и никаких гвоздей!
Бот лозунг мой —
и солнца!

Если в предреволюционных стихах Маяковского все больше и больше усиливались трагические ноты, то после октябрьской победы рабочего класса начинает звучать боевое, призывное, мажорное начало, с особой силой выраженное в знаменитом стихотворении «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Заключительные строки этого стихотворения ложатся эпиграфом ко всему послеоктябрьскому творчеству поэта.

Новая боевая тональность звучит в кованых ритмах «Нашего марша» и «Левого марша». Солнечный свет гуманизма пронизывает лирическое стихотворение «Хорошее отношение к лошадям». Неистребимой верой в победоносное шествие революции насыщены и «ростинские» агитки Маяковского, и созданная им первая политическая советская пьеса «Мистерия-буфф».

Сказав революции:

Тебе обывательское
— о, будь ты проклята трижды! —
и мое,
поэто
— о, четырежды славься, благословенная! —

Маяковский отдает Октябрю, рабочему классу, народу «всю свою звонкую силу поэта». О себе и своих соратниках он пишет в стихотворении «С товарищеским приветом, Маяковский»:

Пусть
хотя б по капле,
по две
ваши души в мир вольются
и растят
рабочий подвиг,
именуемый
«Революция».

Под влиянием огромных событий революционных лет изменилась не только тональность стихов Маяковского. Появилась острая потребность говорить со вчера еще «безъязыкой улицей» новым, но обязательно понятным ей языком. Не теряя замечательных поэтических достижений предреволюционных лет, Маяковский настойчиво ищет новые формы, новые жанры, новые тематические пласти в революционной действительности. Для него работа над агитплакатами РОСТА становится не только его формой участия в революционном подвиге народа, но и лабораторией, в которой он, по собственному выражению, освобождал стих «от поэтической шелухи на темах, не допускающих многословия». И хотя впоследствии Маяковский справедливо предостерегал пролетарских поэтов от того, чтобы не возводили в поэтический сан «плоскость раешников и ерунду частушек», сам он, в поисках доходчивости до тогдашнего массового читателя, не гнушался и этими формами, неизменно поднимая их до уровня большой поэзии.

Послеоктябрьское поэтическое наследие Маяковского — это яркий, отмеченный печатью его новаторской гениальности лирический дневник подвигов и дел революционного народа, победившего в Октябре, разметавшего своим героизмом всех вооруженных врагов революции, победившего разруху и голод и первой пятилеткой сделавшего решительный шаг в социализм.

Как неутомимый «чернорабочий революции», Маяковский широко раздвигает рамки своих поэтических возможностей. Любая тема, на которой остановится его взгляд, превращается в лирическую тему поэта. Во всех формах и жанрах: в беспощадной, бичующей сатире, в лирико-эпическом строе своих поэм, в своей все пронизывающей лирике — Маяковский остается самим собой, от года к году освобождаясь от чрезмерностей своего футуристического вчера, настойчиво и последовательно двигаясь к новой, найденной в новом материале революционной жизни, простоте своего стиха, своего поэтического образа.

Осмысливая свой путь в революции, Маяковский в стихотворении «Домой!» написал:

Пролетарии
приходят к коммунизму
шизом —
шизом шахт,
серпов
и вил,—
я ж
с небес поэзии
бросаюсь в коммунизм,
потому что
нет мне
без него любви.

Зародившаяся еще в самых первых произведениях Маяковского любовь к человеку, скованная в дореволюционные годы отчаянием перед уродствами жизни, прорвала шлюзы и забушевала весенним половодьем в послеоктябрьских стихах поэта.

Именно любовь Маяковского к человеку, к человеку труда прежде всего, диктовала ему бескомпромисснейшие строки его сатирических стихов.

Во имя отечества, «которое будет», Маяковский казнит смертельными ударами своего карающего стиха Присыпкиных, Победоносиковых, всяческих не изгнанных из нашей жизни и до сего времени Оптимистенко, Мезальянсовых, Бельведонских и им подобных, так же как в годы гражданской войны он казнил предателей из соглашательского лагеря, обывателей, стремящихся отсидеться от революционной бури, и прочий человеческий сор.

Сатира в творчестве Маяковского, так же как и его лирика, опирается на опыт, заложенный еще в молодых стихах поэта. Великолепные «Гимны», опубликованные до революции в «Новом Сатириконе», находят свое, обогащенное временем продолжение в послереволюционных произведениях поэта. Поэт уверен в том, что

...газетчик —
старья прокурор,
строкой
и жизнью
стройки защитник.

Борясь с мещанами, обывателями, бюрократами, Маяковский беспощаден и к тем, кто на фронте культурной революции под разными псевдореволюционными предлогами защищает старье. Он борется не только против косных, обреченных на уничтожение форм жизни и их носителей, но и против косных форм искусства и литературы, против косных чувств, замедляющих движение людей вперед.

Маяковский-сатирик — непримиримый враг всего отжившего и косного, расчищающий путь человека в коммунистическое завтра. Стремление всемерно убыстрить движение вперед диктовал Маяковскому его гуманизм, его жажда увидеть человека освобожденным от всего, «что в нас ушедшим рабынм вбито».

Эта любовь Маяковского к человеку, не просто человеку, а человеку труда, к рабочему классу, гегемону революции, была источником неизменного исторического оптимизма поэта, делала его горячим патриотом своего социалистического отечества. Недаром он написал гордые строки:

Я в восторге
от Нью-Йорка города.
По
кепчинку
не сдерну с виска.
У советских
собственная гордость:
на буржуев
смотрим свысока.

Недаром свое элегическое стихотворение «Прощанье» он заканчивает признанием:

Я хотел бы
жить
если б не было и умереть в Париже,
такой земли —
Москва.

Свое первородство поэта пролетарской революции в мире, где еще большая часть человечества живет разделенная на меньшинство эксплуататоров и большинство эксплуатируемых — Маяковский последовательно утверждает и в заграничных стихах, и во всех стихах, прямо или косвенно посвященных политической злобе дня.

В Польше или во Франции, в Мексике или в Соединенных Штатах, он всюду видит и чувствует трещину, разделившую мир на две неравные части. Он борется, иногда впадая в примитивный нигилизм, с буржуазной культурой и попытками навязать ее новому, советскому обществу. Глядя открытыми глазами на огромные технические достижения американцев, он ни на минуту не забывает, не упускает из своего поля зрения того, что в этой стране «белую работу делает белый, черную работу — черный».

Пораженный, но не подавленный уровнем американской цивилизации, поэт верно угадывает скрывающуюся за ней провинциальность, духовное убожество:

Я стремился
за 7000 верст вперед,
а приехал
на 7 лет назад.

Все дары капиталистической цивилизации не заслоняют от его зрения того, что здесь:

Обирая,
лапя,
хапая,
выступает,
порфиroy надев Бродвей,
капитал —
его препохабие.

Поездки Маяковского за границу обостряли его чувство беспокойности за судьбу социалистической родины, порождали в его стихах двадцатых годов, как один из решающих лейтмотивов, призыв к бдительности. И еще в те дни, когда фашизм ползал волчым щенком по задворкам Европы, он, обращаясь к согражданам, предостерегал: «Когда перед тобою встают фашисты, обезоруженным не окажись ты».

И не удивительно, что задолго до того, когда родина в 1941 году позвала советских людей защищать завоевания революции, Маяковский писал предостерегающие, пророческие строки:

Мы
требуем мира.
Но если
тронете,
мы
в роты сожмемся,
сжавши рот.
Зачинщики бойни
увидят
на фронте
один
восставший
рабочий фронт.

Таков Маяковский во всем своем богатом наследстве, завещанном сущим и грядущим поколениям читателей. Во всем, что он написал, будь то широкие по размаху исторических обобщений поэмы «Владимир Ильич Ленин» или октябрьская поэма «Хорошо!», будь то патетические стихи «Товарищу Нетте — пароходу и человеку» или «Стихи о советском паспорте»,

будь то его заграничные циклы или горячие отклики на злобу дня многие из которых, по признанию поэта, писались в типографии «на талере», — сквозь все его произведения проходит, наполняя их солнцем и светом, тема безграничной веры в новое общество, созидающее в нашей стране по заветам Ленина.

Я СЕБЯ ПОД ЛЕНИНЫМ ЧИЩУ.
ЧТОБЫ ПЛЫТЬ В РЕВОЛЮЦИЮ ДАЛЬШЕ

Ленин
и теперь
живее всех живых.
Наше знанье —
сила
и оружие.

Окончание гражданской войны и выход страны в полосу решения будничных задач восстановительного периода в условиях новой экономической политики не прошли бесследно для значительной части советских поэтов. Не только Николаю Асееву показалось, что «крашено — ржим цветом, а не красным,— время». И у ряда пролетарских поэтов высокий романтический пафос сменился нотами растерянности и разочарования. Именно в это переходное время Маяковский создает свою полную трагических предчувствий поэму «Про это». В этой, отразившей серьезный духовный кризис поэма Маяковский дал волю тем чувствам, которые звучали в его предреволюционных произведениях — «Флейта- позвоночник» и «Человек». Свою поэму он закончил страстным призывом к будущему:

Воскреси
хотя б за то,
что я
поэтом
ждал тебя,
откинул будничную чушь!
Воскреси меня
хотя б за это!
Воскреси —
свое дожить хочу!

Невосполнимая утрата, понесенная пролетариатом, — смерть Владимира Ильича Ленина — отзывалась болью в миллионах человеческих сердец. Болью и приливом созидающей энергии. Это горе, опалившее сердце Маяковского, потрясшее все его существо, стало толчком к выходу в новую полосу высокого творческого подъема. Время услышало его страстный призыв о воскрешении, и, когда «резкая тоска стала ясною осознанною болью», поэт приступает к созданию произведения, венчающего все,

что было создано им за годы богатырского поэтического подвига. Ленинская смерть властно позвала его на пост «агитатора, горлана-главаря». И формулой перехода стали строки:

Я буду писать
и про то
и про это,
но пынче
не время
любовных ляс.
Я
всю свою
звонкую силу поэта
тебе отдаю,
атакующий класс.

Атакующему классу пролетариев в лице ленинской партии посвятил свою поэму о великом вождe Владимир Маяковский. И, создавая ее, он все время чувствовал неотрывность жизни и борьбы Ленина от жизни и борьбы созданной им большевистской партии, видя, зная, чувствуя, что

Партия —
спинной хребет рабочего класса.
Партия —
бессмертие нашего дела.

И оттого, что партия неразрывно связана с классом, ее породившим и выдвинувшим в авангард борьбы, поэт вне партии, вне ее исторической деятельности не видит человека, построившего боевые ряды большевиков и давшего в руки партии победоносное оружие революционной теории.

Партия и Ленин —
близнецы-братья —
кто более
матери-истории ценен?
Мы говорим Ленин,
подразумеваем —
партия,
мы говорим
партия,
подразумеваем —
Ленин.

Такое широкое и глубокое ощущение Маяковским ленинской темы позволило ему подняться над частностями житейской биографии до широчайших исторических обобщений, дать почувствовать и огромность утраты, понесенной партией и мировым рабочим движением, и бессмертие ленин-

низма, его неисчерпаемую силу, его преобразующее влияние на всю историю человеческого общества.

В поэме Ленин предстает и как «самый человечный человек», который

...к товарищу
милел
людскою лаской...
...к врагу
вставал
железа тверже...—

и как вождь всех людей труда на планете, носитель бессмертной идеи освобождения человечества от пут капиталистического рабства, и поэтому-то

стала
 величайшим
 даже
 сама
 коммунистом-организатором
 Ильичева смерть.

Поэма «Владимир Ильич Ленин» предопределила дальнейшее направление творческих исканий Маяковского, нашедших свое наиболее полное выражение в написанной через три года октябрьской поэме «Хорошо!».

И ПЕСНЯ, И СТИХ — ЭТО БОМБА И ЗНАМЯ

Поэзия —
та же добыча радия.
В грамм добыча,
в год труды.
Изводишь
единого слова ради
тысячи тонн
словесной руды.

Маяковский, как никто другой из поэтов, его современников, чувствовал пульс своего времени, энергию устремленности в будущее. Этого он требовал и от других советских поэтов, когда писал полные новаторской энергии строки: «У нас поэт событъя берет — опишет вчерашний гул, а надо рваться в завтра, вперед, чтоб брюки трещали в шагу».

Всю свою жизнь в поэзии Маяковский искал, иногда оступаясь на нехоженой целине новаторства, но как поражают новизной его поэтические находки, его поразительные открытия. Он писал о себе: «Говорят — я темой индивидуален». И некоторым кажется, что именно поэтому после

смерти Маяковского никого нельзя назвать преемником его поэтического опыта.

Но дело не в том, что «темой индивидуален», а в том, что легко подражать поэтической поступи Маяковского, но трудно продолжать с того места, где он остановился, *самостоятельное движение* вперед. И при всем этом нет ни одного мало-мальски талантливого советского поэта, который не испытал бы на себе косвенное влияние Маяковского.

Не все эстетические положения Маяковского может принять современный читатель и современный поэт. Иногда Маяковского, смелого поэт-новатора, оттеснял доктринер, не окончательно освободившийся от пережитков футуристического нигилизма. Несмотря на то что такими стихами, как «Юбилейное», во многом опрокинуты взгляды футуристов на классическое наследие, все же и в некоторых заграничных стихах, и в некоторых декларативных стихах, обращенных к современному искусству, нет-нет да и прозвучат старые погудки футуризма, лефовского рассудочного утилитаризма, резко контрастные всему послеоктябрьскому творчеству Маяковского. Новый материал революционной действительности властно устраивал из творчества поэта-новатора все, что тяготело к «эксперименту ради эксперимента», и вызывал все большую и большую простоту и ясность словесного и образного инструментария Маяковского.

Сколько было поломано копий в борьбе против «картавого» пушкинского ямба! А разве не торжественная медь ямбов пушкинского «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» звучит в поступи, в музыке гениального завещания потомкам «Во весь голос»?

Но в том-то и величие Маяковского-новатора, что «Во весь голос» насквозь пронизано личностью самого поэта. Традиционная ямбическая тональность преобразована неповторимыми интонациями голоса Маяковского, его лексикой, неповторимым образным строем его стиха. Новаторство Маяковского непрерывно поднималось к вершинам новой классической простоты и ясности.

КАК ЖИВОЙ С ЖИВЫМИ

Слушайте,
товарищи потомки,
агитатора,
горлана-главаря.

Незабываемыми останутся в моей памяти эти строки, впервые прочитанные зимой 1930 года перед московскими писателями в тесном зальце литературного клуба на улице Воровского, в том зальце, где несколько месяцев спустя тогдашние слушатели этих стихов стояли в почетном карауле у гроба безвременно ушедшего от нас поэта-трибуна.

В этом стихотворении, задуманном как пролог к ненаписанной поэме о пятилетке, но ставшем эстетической и гражданской исповедью и завещанием поэта-революционера. Маяковский с предельной лаконичностью поведал своим современникам и людям коммунистического будущего «о времени и о себе». Поведал честно, нелицеприятно, с высоким сознанием совершенного им подвига поэта и гражданина. «Во весь голос», задуманное как трамплин для прыжка в новую полосу творчества, предвещало новые гениальные находки, новые прозрения и новые широкие картины созидающего труда народа на лесах первой пятилетки. Предвестием этой ненаписанной поэмы были вынесенные поэтом впечатления от поездок по стране, черновыми набросками которых были такие стихи, как «Рассказ литецщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру», «Рассказ рабочего Павла Катушкина о приобретении одного чемодана», «Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка», «Марш ударных бригад» и некоторые другие. В них звучала созидающая тональность великого трудового подвига народа на поднимаемой им непаханной целине нового этапа истории человечества.

Чувствуя, что новая полоса истории общества требует иных слов, обновления эстетической позиции, Маяковский в это время резко и прямо переоценивает положения возглавляемой им группы РЕФ с ее деляческой ориентацией на «литературу факта», с ее примитивной позицией «социального заказа» и футуристическими пережитками. Маяковский идет на разрыв со своими догматически упорствующими вчерашними соратниками.

Чтобы утвердить себя на этих позициях, он организует выставку—показ своей двадцатилетней борьбы за новую поэзию новой действительности. Он ищет новых союзников и соратников и вступает в Российскую ассоциацию пролетарских писателей. Но ее руководители, зараженные наивными сектантства и догматизма, не могли создать для поэта атмосферу товарищеской чуткости и доброжелательства, не смогли уничтожить образавшийся вакuum одиночества, усугубленный болезнью и осложнениями личной жизни. И случилось так, что выстрел 14 апреля оборвал творческие замыслы поэта.

В чем секрет долгоживучести, неистребимой молодости стиха Маяковского, того стиха, который в двадцатых годах казался непонятным многим читателям и которому многие критики тех лет предвещали близкое забвение?

Трудно в короткой статье раскрыть все то особенное и неповторимое в содержании, в тематике, в проблематике, в строфе стиха Маяковского, что

переломило синопсис читателей и опрокинуло все предсказания критических горе-пророков.

Несомненно, что ростом популярности своей поэзии Маяковский отчасти обязан той культурной революции, которая совершилась и продолжает совершаться в нашей стране.

За послеоктябрьские годы неизмеримо расширился культурный кругозор и обогатился внутренний мир советского читателя. Но есть и другой фактор.

Многие читатели двадцатых годов еще только осваивали азбуку революции. Смелые не только по форме, но и по содержанию стихи Маяковского, нацеленные в наше социалистическое и коммунистическое завтра, казались, может быть, утопическими. По мере того как революционное развитие нашего общества из года в год подтверждало органическую реальность содержательного и эмоционального наполнения стихов поэта, они, естественно, начинали все больше и больше волновать сердца строителей социализма и коммунизма.

Есть и еще один секрет в стихах Маяковского, без понимания которого трудно объяснить непреходящую популярность его поэзии.

Многие поверхностно знакомые со стихами Маяковского, отпугнутые от них непривычной «лесенкой» построения, обостренной, иногда гиперболической образностью, преобладанием ораторской, трибунной интонации, отворачивались от него как от чересчур «громкого» поэта. С ростом общей культуры читателя и культуры чтения стиха, мне кажется, все большее и большее число людей стало понимать такую особенность стиха Маяковского как органическое, слиянное сочетание в них трубного баса поэта-трибуна с глубоко интимной доверительностью «тихих» интонаций лирика.

Это сочетание отмечает все самые сильные и самые «маяковские» стихи поэта. Приведу только два примера в обоснование своей догадки.

Пусть читатель вспомнит стихотворение «Сергею Есенину». Оно начинается в привычных для Маяковского иронических интонациях:

Вы ушли,
как говорится,
в мир иной.

Пустота...
Летите,
в звезды врезываясь.
Ни тебе аванса,
ни пивной.
Трезвость.

И сразу же вслед за этими строчками — лирическое признание, обращенное и ко всем, и к каждому в отдельности:

Нет, Есенин,
это
не насмешка.

В горле
горе комом,—
не смешок.

Вижу —
врезанной рукой помешкав,
собственных
костей
качаете мешок.

Из этого сочетания трибунной и лирически доверительной интонации и рождается тот сердечный контакт с читателем, который каждое открытое и откровенно гражданское по проблематике и тематике стихотворение поэта делает лирическим признанием. И происходит это потому, что Маяковский, вопреки его же строкам «я себя смирял, становясь на горло собственной песне», начиная издали, от первых своих стихов, от своей поэмы «Облако в штанах», никогда не разделял свою лирику на гражданскую и личную. Личное входило в его гражданский стих, и нота гражданская органически звучала в самых интимных его стихах.

В подтверждение этой же мысли я хочу напомнить читателю заключительные строки «Во весь голос».

После широких завещательных слов «товарищам потомкам» о своем стихе, о своем пути в революции и позиции в поэзии Маяковский, как бы выбрав среди несчетных миллионов потомков одного-единственного, уже не как оратор-трибун народу, а как человеку человек говорит:

Мне
и рубля
не накопили строчки,
краснодеревщики
не слали мебель на дом.
И кроме
свежевымытой сорочки,
скажу по совести,
мне ничего не надо.

И сразу же за этим интимным, человеческим признанием трубные слова обращены ко всем читателям, к миру, к истории:

Явившись
в Це Ка Ка
идаущих
над бандой светлых лет,
поэтических
я подыму, рвачей и выжиг
как большевистский партбилет,
все сто томов моих
моих партийных кипжек.

Таким Маяковский раскрылся мне с того времени, когда я, преодолев предубеждения многих современников, научился читать его стихи, заглянул сквозь все необычное и непривычное в глубину души этого величайшего из поэтов нашего революционного времени и сумел отделить плевелы футуристических пережитков от золотых зерен души неповторимого революционного новатора.

А.Л. С У Р К О В

СТИХОТВОРЕНИЯ

А В Ы М О Г Л И Б Ы?

Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?

1913

В Ы В Е С К А М

Читайте железные книги!
Под флейту золоченой буквы
полезут копченые сиги
и золотокудрые брюквы.

А если веселостью песьей
закружат созвездия «Магги» -
бюро похоронных процессий
свои проведут саркофаги.

Когда же, хмур и плачевен,
загасит фонарные знаки,
влюбляйтесь под небом харчевен
в фаянсовых чайников маки!

1913

По мостовой
 моей души изъезженной
 шаги помешанных
 вьют жестких фраз пяты.
 Где города
 повешены
 и в петле облака
 застыли
 башен
 кривые выи —
 иду
 один рыдать,
 что перекрестком
 распяты
 городовые.

НЕ СКОЛЬКО СЛОВ О МОЕЙ ЖЕНЕ

Морей неведомых далеким пляжем
 идет луна —
 жена моя.
 Моя любовница рыжеволосая.
 За экипажем
 крикливо тянется толпа созвездий пестрополосая.
 Венчается автомобильным гаражем,
 целуется газетными киосками,
 а шлейфа млечный путь моргающим пажем
 украшен мишурными блестками
 А я?
 Несло же, палимому, бровей коромысло
 из глаз колодцев студеные ведра.
 В шелках озерных ты висла,
 янтарной скрипкой пели бедра?
 В края, где злоба крыш,
 не кинешь блесткой лесни.

В бульварах я тону, тоской песков овеян:
весь это ж дочь твоя —
моя песня
в чулке ажурном
у кофеен!

3

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О МОЕЙ МАМЕ

У меня есть мама на васильковых обоях.
А я гуляю в пестрых павах,
вихрастые ромашки, шагом меряя, мучу.
Заиграет вечер на гобоях ржавых,
подхожу к окошку,
веря,
что увижу опять
севшую
на дом
тучу.
А у мамы больной
пробегают народа шорохи
от кровати до угла пустого.
Мама знает —
это мысли сумасшедшей ворохи
вылезают из-за крыш завода Шустова.
И когда мой лоб, венчанный шляпой фетровой,
окровавит гаснущая рама,
я скажу,
раздвинув басом ветра вой:
«Мама.
Если станет жалко мне
вазы вашей муки,
сбитой каблуками облачного танца,—
кто же изласкает золотые руки,
вывеской заломленные у витрин Аванцо?..»

4

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О БОМНЕ САМОМ

Я люблю смотреть, как умирают дети.
Вы прибоя смеха мглистый вал заметили
за тоски хоботом?

А я —
в читальне улиц —
так часто перелистывал гробы том.
Полночь
промокшими пальцами щупала
меня
и забитый забор,
и с каплями ливня на лысине купола
скакал сумасшедший собор.
Я вижу, Христос из иконы бежал,
хитона оветренный край
целовала, плача, слякоть.
Кричу кирпичу,
слов исступленных вонзаю кинжал
в неба распухшего мякоть:
«Солнце!
Отец мой!
Сжалься хоть ты и не мучай!
Это тобою пролитая кровь моя льется

дорогою дольней.

Это душа моя
ключьями порванной тучи
в выжженном небе
на ржавом кресте колокольни!

Время!
Хоть ты, хромой богомаз,
лик намалюй мой
в божницу уродца века!
Я одинок, как последний глаз
у идущего к слепым человека!»

1913

О Т У С Т А Л О С Т И

Земля!
Дай исцелую твою лысеющую голову
лохмотьями губ моих в пятнах чужих позолот.
Дымом волос над пожарами глаз из олова
дай обовью я впалые груди болот.
Ты! Нас — двое,
ораненных, загнанных ланями,
вздыбилось ржанье оседланных смертью коней.

Дым из-за дома догонит нас длинными дланями,
мутью озлобив глаза догнивающих в ливнях огней.
Сестра моя!

В богадельнях идущих веков,
может быть, мать мне сыщется;
бросил я ей окровавленный песнями рог.
Квакая, скакет по полю
канава, зеленая сыщица,
нас заневолить
веревками грязных дорог.

1913

А Д И Щ Е Г О Р О Д А

Адище города окна разбили
на крохотные, сосущие светами адки.
Рыжие дьяволы, вдымались автомобили,
над самым ухом взрывая гудки.

А там, под вывеской, где сельди из Керчи —
сбитый старикашка шарил очки
и заплакал, когда в вечереющем смерче
трамвай с разбега взметнул зрачки.

В дырах небоскребов, где горела руда
и железо поездов громоздило лаз —
крикнул аэроплан и упал туда,
где у раненого солнца вытекал глаз.

И тогда уже — скомкав фонарей одеяла —
ночь излюбилась, похабна и пьяна,
а за солнцами улиц где-то ковыляла
никому не нужная, дряблая луна.

1913

Н А Т Е!

Через час отсюда в чистый переулок
вытечет по человеку ваш обрюзгший жир,
а я вам открыл столько стихов шкатулок,
я — бесценных слов мот и транжир.

Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста
где-то недокушенных, недоеденных щей;
вот вы, женщина, на вас белила густо,
вы смотрите устрицей из раковин вешней.

Все вы на бабочку поэтиного сердца
взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош.
Толпа озвеет, будет теряться,
ощетинит ножки стоглавая вонь.

А если сегодня мне, грубому гунну,
кривляться перед вами не захочется — и вот —
я захоочу и радостно плюну,
плюну в лицо вам
я — бесценных слов транжир и мот.

1913

НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮТ

Вошел к парикмахеру, сказал — спокойный:
«Будьте добры, причешите мне уши».
Гладкий парикмахер сразу стал хвойный,
лицо вытянулось, как у груши.
«Сумасшедший!
Рыжий!» —
запрыгали слова.
Ругань металась от писка до писка,
и до-о-о-о-лго
хихикала чья-то голова,
выдергиваясь из толпы, как старая редиска.

1913

КОФТА ФАТА

Я сошью себе черные штаны
из бархата голоса моего.
Желтую кофту из трех аршин заката.
По Невскому мира, по лощеным полосам его,
профланирую шагом Дон-Жуана и фата.

Пусть земля кричит, в покое обабившись:
«Ты зеленые весны идешь насиловать!»
Я брошу солнцу, нагло осклабившись:
«На глади асфальта мне хорошо грассировать!»

Не потому ли, что небо голубоё,
а земля мне любовница в этой праздничной чистке,
я дарю вам стихи, веселые, как би-ба-бо,
и острые и нужные, как зубочистки!

Женщины, любящие мое мясо, и эта
девушка, смотрящая на меня, как на брата,
закидайте улыбками меня, поэта,—
я цветами нашью их мне на кофту фата!

1914

П О С Л У Ш А Й Т Е!

Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — кто-то хочет, чтобы они были?
Значит — кто-то называет эти плевочки
жемчужиной?
И, надрываясь
в метелях полуденной пыли,
врываются к богу,
боится, что опоздал,
плачут,
целует ему жилистую руку,
просит —
чтоб обязательно была звезда! —
клянется —
не перенесет эту беззвездную муть!
А после
ходит тревожный,
но спокойный наружно.
Говорит кому-то:
«Ведь теперь тебе ничего?
Не страшно?
Да?!»

Послушайте!
Ведь, если звезды
зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — это необходимо,
чтобы каждый вечер
над крышами
загоралась хоть одна звезда?!

1914

А В С Е - Т А К И

Улица провалилась, как нос сифилитика.
Река — сладострастье, растекшееся в слюни.
Отбросив белье до последнего листика,
сады похабно развалились в июне.

Я вышел на площадь,
выжженный квартал
надел на голову, как рыжий парик.
Людям страшно — у меня изо рта
шевелит ногами непрожеванный крик.

Но меня не осудят, но меня не облают,
как пророку, цветами устелят мне след.
Все эти, провалившиеся носами, знают:
я — ваш поэт.

Как трактир, мне страшен ваш страшный суд!
Меня одного сквозь горящие здания
проститутки, как святыню, на руках понесут
и покажут богу в свое оправдание.

И бог заплачет над моей книжкой!
Не слова — судороги, слипшиеся комом;
и побежит по небу с моими стихами под мышкой
и будет, задыхаясь, читать их своим знакомым.

1914

В О Й Н А О Б Ъ Я В Л Е П А

«Вечернюю! Вечернюю! Вечернюю!
Италия! Германия! Австрия!»
И на площадь, мрачно очерченную чернью,
багровой крови пролилась струя!

Морду в кровь разбила кофейня,
зверьим криком багрина:
«Отравим кровью игры Рейна!
Громами ядер на мрамор Рима!»

С неба, изодранного о штыков жала,
слёзы звезд просеивались, как мука в сите,
и подошвами скатая жалость визжала:
«Ах, пустите, пустите, пустите!»

Бронзовые генералы на граненом цоколе
молили: «Раскуйте, и мы поедем!»
Прощающейся конницы поцелуи цокали,
и пехоте хотелось к убийце — победе.

Громоздящемуся городу уродился во сне
хохочущий голос пушечного баса,
а с запада падает красный снег
сочными клочьями человечьего мяса.

Вздувается у площади за ротой рота,
у злящейся на лбу вздеваются вены.
«Постойте, шашки о шелк кокоток
вытрем, вытрем в бульварах Вены!»

Газетчики надрывались: «Купите вечернюю!
Италия! Германия! Австрия!»
А из ночи, мрачно очерченной чернью,
багровой крови лилась и лилась струя.

20 июля 1914 г.

МАМА
И УБИТЫЙ НЕМЦАМИ ВЕЧЕР

По черным улицам белые матери
судорожно простерлись, как по гробу глазет.
Вплакались в орующих о побитом неприятеле:
«Ах, закройте, закройте глаза газет!»

Письмо.

Мама, громче!

Дым.

Дым.

Дым еще!

Что вы мямлите, мама, мне?

Видите —

весь воздух вымощен

громыхающим под ядрами камнем!

Ма — а — а — ма!

Сейчас притащили израненный вечер.

Крепился долго,

кургузый,

шершавый,

и вдруг,—

надломивши тучные плечи,

расплакался, бедный, на шее Варшавы.

Звезды в платочках из синего ситца

визжали:

«Убит,

дорогой,

дорогой мой!»

И глаз новолуния страшно косится
на мертвый кулак с зажатой обоймой.

Сбежались смотреть литовские села,

как, поцелуем в обрубок вкована,

слезя золотые глаза костелов,

пальцы улиц ломала Ковна.

А вечер кричит,

безногий,

безрукий:

«Неправда,

я еще могу-с —
хе! —
выбрязав шпоры в горящей мазурке,
выкрутить русый ус!»

Звонок.

Что вы,
мама?
Белая, белая, как на гробе глазет.
«Оставьте!
О нем это,
об убитом, телеграмма.
Ах, закройте,
закройте глаза газет!»

1914

С К Р И П К А
И Н Е М И Н О Ж К О Н Е Р В И О

Скрипка издергалась, упрашивая,
и вдруг разревелась
так по-детски,
что барабан не выдержал:
«Хорошо, хорошо, хорошо!»
А сам устал,
не дослушал скрипкиной речи,
шмыгнул на горящий Кузнецкий
и ушел.
Оркестр чужо смотрел, как
выплакивалась скрипка
без слов,
без такта,
и только где-то
глупая тарелка
вылязгивала:
«Что это?»
«Как это?»
А когда геликон —
меднорожий,
потный,
крикнул:

«Дура,
плакса,
вытри!» —
я встал,
шатаясь полез через ноты,
сгибающиеся под ужасом пюпитры,
зачем-то крикнул:
«Боже!»,
бросился на деревянную шею:
«Знаете что, скрипка?
Мы ужасно похожи:
я вот тоже
ору —
а доказать ничего не умею!»
Музыканты смеются:
«Влип как!
Пришел к деревянной невесте!
Голова!»
А мне — наплевать!
Я — хороший.
«Знаете что, скрипка?
Давайте —
будем жить вместе!
А?»

1914

Я И НАПОЛЕОН

Я живу на Большой Пресне,
36, 24.
Место спокойненькое.
Тихонькое.
Ну?
Кажется — какое мне дело,
что где-то
в буре-мире
взяли и выдумали войну?

Ночь пришла.
Хорошая.
Вкрадчивая.
И чего это барышни некоторые

дрожат, пугливо поворачивая
глаза громадные, как прожекторы?
Уличные толпы к небесной влаге
припали горящими устами,
а город, вытряпав ручонки-флаги,
молится и молится красными крестами.
Простоволосая церковка бульварному изголовью
припала,— набитый слезами куль,—
а у бульвара цветники истекают кровью,
как сердце, изодранное пальцами пуль.
Тревога жиреет и жиреет,
жрет зачерствевший разум.
Уже у Ноева оранжереи
покрылись смертельно-бледным газом!

Скажите Москве —
пускай удержится!
Не надо!
Пусть не трясетсѧ!
Через секунду
встречу я
неб самодержца,—
возьму и убью солнце!
Видите!
Флаги по небу полощет.
Вот он!
Жирен и рыж.
Красным копытом грохнув о площадь,
въезжает по трупам крыш!

Тебе,
орущему:
«Разрушу,
разрушу!»,
вырезавшему ночь из окровавленных карнизов,
я,
сохранивший бесстрашную душу,
бросаю вызов!

Идите, изъеденные бессонницей,
сложите в костер лица!
Все равно!
Это нам последнее солнце —
солнце Аустерлица!

Идите, сумасшедшие, из России, Польши.
Сегодня я — Наполеон!
Я полководец и больше.
Сравните:
я и — он!

Он раз чуме приблизился троном,
смелостью смерть поправ,—
я каждый день иду к зачумленным
по тысячам русских Яфф!
Он раз, не дрогнув, стал под пули
и славится столетий сто,—
а я прошел в одном лишь июле
тысячу Аркольских мостов!
Мой крик в граните времени выбит,
и будет греметь и гремит
оттого, что
в сердце, выжженном, как Египет,
есть тысяча тысяч пирамид!

За мной, изъеденные бессонницей!
Выше!
В костер лица!
Здравствуй,
мое предсмертное солнце,
солнце Аустерлица!

Люди!
Будет!
На солнце!
Прямо!
Солнце съежится аж!
Громче из сжатого горла храма
хрипи, похоронный марш!
Люди!
Когда канонизируете имена
погибших,
меня известней,—
помните:
еще одного убила война —
поэта с Большой Пресни!

Вам, проживающим за оргией оргию,
имеющим ванную и теплый клозет!
Как вам не стыдно о представленных к Георгию
вычитывать из столбцов газет?!

Знаете ли вы, бездарные, многие,
думающие, нажраться лучше как,—
может быть, сейчас бомбой ноги
выдрало у Петрова поручика?..

Если б он, приведенный на убой,
вдруг увидел, израненный,
как вы измазанной в котлете губой
похотливо напеваете Северянина!

Вам ли, любящим баб да блюда,
жизнь отдавать в угоду?!

Я лучше в баре блядям буду
подавать ананасную воду!

1915

Г И М Н С У ДЬ Е

По Красному морю плывут каторжане,
трудом выгребая галеру,
рыком покрыв кандалальное ржанье,
орут о родине Перу.

О рае Перу орут перуанцы,
где птицы, танцы, бабы
и где над венцами цветов померанца
были до небес баобабы.

Бапан, анаасы! Радостей груда!
Вино в запечатанной посуде...
Но вот неизвестно зачем и откуда
на Перу наперли судьи!

И птиц, и танцы, и их перуанок
кругом обложили статьями.

Глаза у судьи — пара жестяночек
мерцают в помойной яме.

Попал павлин оранжево-синий
под глаз его строгий, как пост,—
и вылинял моментально павлиний
великолепный хвост!

А возле Перу летали по прерии
птички такие — колибри;
судья поймал и пух и перья
бедной колибри выбрил.

И нет ни в одной долине ныне
гор, вулканом горящих.
Судья написал на каждой долине:
«Долина для некурящих».

В бедном Перу стихи мои даже
в запрете под страхом пыток.
Судья сказал: «Те, что в продаже,
тоже спиртной напиток».

Экватор дрожит от кандалльных звонов.
А в Перу бесптичье, безлюдье...
Лишь, злобно забившись под своды законов,
живут унылые судьи.

А знаете, все-таки жаль перуанца.
Зря ему дали галеру.
Судьи мешают и птице, и танцу,
и мне, и вам, и Перу.

1915

В О Е И Н О - М О Р С К А Я Л Ю Б О В Ъ

По морям, играя, носится
с миноносцем миноносица.

Льнет, как будто к меду осочки,
к миноносцу миноносочка.

И конца б не довелось ему,
благодушью миноносъему.

Вдруг прожектор, вздев на нос очки,
впился в спину миноносочки.

Как взревет медноголосина:
«Р-р-р-астакая миноносина!»

Прямо ль, влево ль, вправо ль бросится,
а сбежала миноносица.

Но ударить удалось ему
по ребру по миноносъему.

Плач и вой морями носится:
овдовела миноносица.

И чего это несносен нам
мир в семействе миноносином?

1915

Г И М И О Б Е Д У

Слава вам, идущие обедать миллионы!
И уже успевшие наесться тысячи!
Выдумавшие каши, бифштексы, бульоны
и тысячи блюдищ всяческой пищи.

Если ударами ядр
тысячи Реймсов разбить удалось бы —
по-прежнему будут ножки у пулярд,
и дышать по-прежнему будет ростбиф!

Желудок в панаме! Тебя ль заразят
величием смерти для новой эры?!

Желудку ничем болеть нельзя,
кроме аппендицита и холеры!

Пусть в сале совсем потонут зрачки —
все равно их зря отец твой выделал;
на слепую кишку хоть надень очки,
кишка все равно ничего б не видела.

Ты так не хуже! Наоборот,
если б рот один, без глаз, без затылка —
сразу могла б поместиться в рот
целая фаршированная тыква.

Лежи спокойно, безглазый, безухий,
с куском пирога в руке,
а дети твои у тебя на брюхе
будут играть в крокет.

Спи, не тревожась картиной крови
и тем, что пожаром мир опоясан,—
молоком богаты силы коровьи,
и безмерно богатство бычьего мяса.

Если взрежется последняя шея бычья
и злак последний с камня серого,
ты, верный раб твоего обычая,
из звезд сфабрикуешь консервы.

А если умрешь от котлет и бульонов,
на памятнике прикажем высечь:
«Из стольких-то и стольких-то котлет миллионов —
твоих четыреста тысяч».

1915

В О Т Т А К Я С Д Е Л А Л С Я С О Б А К О Й

Ну, это совершенно невыносимо!
Весь как есть искусан злобой.
Злюсь не так, как могли бы вы:
как собака лицо луны гололобой —
взял бы
и все обвил.

Нервы, должно быть...
Выйду,
погуляю.
И на улице не успокоился ни па ком я.
Какая-то прокричала про добрый вечер.
Надо ответить:

она — знакомая.

Хочу.

Чувствую —

не могу по-человечьи.

Что это за безобразие!

Сплю я, что ли?

Ощупал себя:

такой же, как был,

лицо такое же, к какому привык.

Тронул губу,

а у меня из-под губы —

клык.

Скорее закрыл лицо, как будто сморкаюсь.

Бросился к дому, шаги удвоив.

Бережно огибаю полицейский пост,

вдруг оглушительное:

«Городовой!

Хвост!»

Провел рукой и — осталбенел!

Этого-то,

всяких клыков почище,

я и не заметил в бешеном скаче:

у меня из-под пиджака

развеерился хвостище

и вьется сзади,

большой, собачий.

Что теперь?

Один заорал, толпу растя.

Второму прибавился третий, четвертый.

Смяли старушонку.

Она, крестясь, что-то кричала про черта.

И когда, ощетинив в лицо усища-венники,

толпа навалилась,

огромная,

злая,

я стал на четвереньки

и залаял:

Гав! гав! гав!

Бросьте!

Конечно, это не смерть.

Чего ей ради ходить по крепости?

Как вам не стыдно верить

нелепости?!

Просто именинник устроил карнавал,
выдумал для шума стрельбу и тир,
а сам, по-жабьи присев на вал,
вымаргивается, как из мортир.

Ласков хозяина бас,
просто — похож на пушечный.

И не от газа маска,
а ради шутки игрушечной.

Смотрите!

Небо мерить
выбежала ракета.

Разве так красиво смерть
бежала б в небе паркета!

Ах, не говорите:

«Кровь из раны».

Это — дико!

Просто избранных из бранных
одаривали гвоздикой.

Как же иначе?

Мозг не хочет понять
и не может:

у пушечных шей
если не целоваться,

то — для чего же

обвиты руки траншей?

Никто не убит!

Просто — не выстоял.

Лег от Сены до Рейна.

Оттого что цветет,

одуряет желтолистая

на клумбах из убитых гангрена.

Не убиты,

нет же,

нет!

Все они встанут

просто —
вот так,
вернутся
и, улыбаясь, расскажут жене,
какой хозяин весельчак и чудак.
Скажут: не было ни ядр, ни фугасов
и, конечно же, не было крепости!
Просто именинник выдумал массу
каких-то великолепных нелепостей!

1915

ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ВЗЯТОЧНИКАМ

Неужели и о взятках писать поэтам!
Дорогие, нам некогда. Нельзя так.
Вы, которые взяточники,
хотя бы поэтому,
не надо, не берите взяток.
Я, выколачивающий из строчек штаны,—
конечно, как начинающий, не очень часто,
я — еще и российский гражданин,
беззаветно чтущий и чиновника и участок.
Прихожу и выплакиваю все мои просьбы,
приникши щекою к светлому кителю.
Думает чиновник: «Эх, удалось бы!
Этак на двести птичку вытель».
Сколько раз под сень чиновник,
приносил обиды им.
«Эх, удалось бы,— думает чиновник,—
этак на триста бабочку выдоим».
Я знаю, надо и двести и триста вам —
возьмут, все равно, не те, так эти;
и руганью ни одного не обижу пристава:
может быть, у пристава дети.
Но лишний труд — доить поодиночно,
вы и так ведете в работе года.
Вот что я выдумал для вас нарочно —
господа!
Взломайте шкатулки, сундуки и ларчики,
берите деньги и драгоценности мамашин,

чтоб последний мальчионка в потненьком кулачике
зажал сбереженный рубль бумажный.

Костюмы соберите. Чтоб не было рваных.

Мамаша! Вытряхивайтесь из шубы беличьей!

У старых брюк обшарьте карманы —
в карманах копеек на сорок мелочи.

Все это узлами уложим и свяжем,
а сами, без денег и платья,
придем, поклонимся и скажем:
Нате!

Что нам деньги, транжирам и мотам!

Мы даже не знаем, куда нам деть их.

Берите, милые, берите, чего там!

Вы наши отцы, а мы ваши дети.

От холода не попадая зубом на зуб,
станем голые под голые небеса.

Берите, милые! Но только сразу.

Чтоб об этом больше никогда не писать.

1915

Э Й!

Мокрая, будто ее облизали,
толпа.

Прокисший воздух плесенью веет.

Эй!

Россия,
нельзя ли
чего поновее?

Блажен, кто хоть раз смог,
хотя бы закрыв глаза,
забыть вас,
ненужных, как насморк,
и трезвых,
как нарзан.

Вы все такие скучные, точно
во всей вселенной нету Капри.

А Капри есть.

От сияний цветочных
весь остров, как женщина в розовом капоре.

Помчим поезда к берегам, а берег забудем, качая тела в пароходах.
Наоткрываем десятки Америк.
В неведомых полюсах вынежим отдых.

Смотри какой ты ловкий,
а я —
вон у меня рука груба как.
Быть может, в турнирах,
быть может, в боях
я был бы самый искусный рубака.

Как весело, сделав удачный удар,
смотреть, растопырил ноги как.
И вот врага, где предки,
туда
отправила шпаги логика.

А после в огне раззолоченных зал,
забыв привычку спанья,
всю ночь напролет провести,
глаза
уткнув в желтоглазый коньяк.

И, наконец, ощетинясь, как еж,
с похмельем прия поутру,
неверной любимой грозить, что убьешь
и в море выбросишь труи.

Сорвем ерунду пиджаков и манжет,
крахмальные груди раскрасим под панцырь,
загнем рукоять на столовом ноже
и будем все хоть на день, да испанцы.

Чтоб все, забыв свой северный ум,
любились, дрались, волновались.
Эй!
Человек,
землю саму
зови на вальс!

Возьми и небо заново вышай,
новые звезды придумай и выставь,
тоб, исступленно царапая крыши,
в небо карабкались души артистов.

1916

КО ВСЕМ У

Нет.
Это неправда.
Нет!
И ты?
Любимая,
за что,
за что же?!
Хорошо —
я ходил,
я дарил цветы,
я ж из ящика не выкрадл серебряных ложек!

Белый,
спатался с пятого этажа.
Ветер щеки ожег.
Улица клубилась, визжа и ржала.
Похотливо взлезил рожок на рожок.

Вознес над суетой столичной одури
строгое —
древних икон —
чело.
На теле твоем — как на смертном одре —
сердце
дни
кончило.

В грубом убийстве не пачкала рук ты.
Ты
уронила только:
«В мягкой постели
он,
фрукты,
вино на ладони ночного столика».

Любовь!
Только в моем
воспаленном
мозгу была ты!
Глупой комедии остановите ход!
Смотрите —
срываю игрушки-латы
я,
величайший Дон-Кихот!

Помните:
под ношей креста
Христос
секунду
усталый стал.
Толпа орала:
«Марала!
Маааррааала!»

Правильно!
Каждого,
кто
об отдыхе взмолится,
оплюй в его весеннем дне!
Армии подвижников, обреченным добровольцам
от человека пощады нет!

Довольно!

Теперь —
клянусь моей языческой силою! —
дайте
любую
красивую,
юную, —
души не растрочу,
изнасилую
и в сердце насмешку плону ей!

Око за око!

Севы мести в тысячу крат жни!
В каждое ухо ввой:

вся земля —
каторжник
с наполовину выбритой солнцем головой!

Око за око!

Убьете,
похороните —
выроюсь!
Об камень обточаться зубов ножи еще!
Собакой забьюсь под нары казарм!
Буду,
бешеный,
вгрызаться в ножища,
пахнущие потом и базаром.

Ночью вскбчите!
Я
звал!
Белым быком возрос над землей:
Муууу!
В ярмо замучена шея-язва,
над язвой смерчи мух.

Лосем обернусь,
в провода
впутаю голову ветвистую
с налитыми кровью глазами.
Да!
Затравленным зверем над миром выстою.

Не уйти человеку!
Молитва у рта,—
лег на плиты просящ и грязен он.
Я возьму
намалюю
на царские врата
на божьем лице Разина.

Солнце! Лучей не кинь!
Сохните, реки, жажду утолить не дав ему,—
чтоб тысячами рождались мои ученики
трубить с площадей анафему!

И когда,
наконец,
на веков верхъ став,
последний выйдет день им,—
в черных душах убийц и анархистов
зажгусь кровавым видением!

Светает.
Все шире разверзается неба рот.
Ночь
пьет за глотком глоток он.
От окон зарево.
От окон жар течет.
От окон густое солнце льется на спящий город.

Святая месть моя!
Опять
над уличной пылью
ступенями строк ввысь поведи!
До края полное сердце
вылью
в исповеди!

Грядущие люди!
Кто вы?
Вот — я,
весь
боль и ушиб.
Вам завещаю я сад фруктовый
моей великой души.

1916

Л И Л И Ч К А!
ВМЕСТО ПИСЬМА

Дым табачный воздух выел.
Комната —
глава в крученыховском аде.
Вспомни —
за этим окном
впервые
руки твои, исступленный, гладил.

Сегодня сидишь вот,
сердце в железе.
День еще —
выгонишь,
может быть, изругав.
В мутной передней долго не влезет
сломанная дрожью рука в рукав.
Выбегу,
тело в улицу брошу я.
Дикий,
обезумлюсь,
отчаяньем иссечась.
Не надо этого,
дорогая,
хорошая,
дай простимся сейчас.
Все равно
любовь моя —
тяжкая гиря ведь —
висит на тебе,
куда ни бежала б.
Дай в последнем крике выреветь
горечь обиженных жалоб.
Если быка трудом умбрят —
он уйдет,
разляжется в холодных водах.
Кроме любви твоей,
мне
нету моря,
а у любви твоей и плачем не вымолишь отдых.
Захочет покоя уставший слон —
царственный ляжет в опожаренном песке.
Кроме любви твоей,
мне
нету солнца,
а я и не знаю, где ты и с кем.
Если б так поэта измучила,
он
любимую на деньги б и славу выменял,
а мне
ни один не радостен звон,
кроме звона твоего любимого имени.
И в пролет не брошусь,

и не выпью яда,
и курок не смогу над виском нажать.
Надо мною,
кроме твоего взгляда,
не властно лезвие ни одного ножа.
Завтра забудешь,
что тебя короновал,
что душу цветущую любовью выжег,
и суетных дней взметенный карнавал
растярпляет страницы моих книжек...
Слов моих сухие листья ли
заставят остановиться,
жадно дыша?

Дай хоть
последней нежностью выстелить
твой уходящий шаг.

26 мая 1916 г., Петроград

Н А Д О Е Л О

Не высидел дома.
Анненский, Тютчев, Фет.
Опять,
тоскою к людям ведомый,
иду
в кинематографы, в трактиры, в кафе.

За столиком.
Сияние.
Надежда сияет сердцу глупому.
А если за неделю
так изменился россиянин,
что щеки сожгу огнями губ ему.

Осторожно поднимаю глаза,
роюсь в пиджачной куче.
«Назад,

наз-зад,
назад!»

Страх орет из сердца.
Мечется по лицу, безнадежен и скучен.

Не слушаюсь.

Вижу,
вправо немножко,
неведомое ни на суше, ни в пучинах вод,
старатально работает над телячьей ножкой
загадочнейшее существо.

Глядишь и не знаешь: ест или не ест он.

Глядишь и не знаешь: дышит или не дышит он.
Два аршина безлицего розоватого теста:
хоть бы метка была в уголочке вышита.

Только колышутся спадающие на плечи
мягкие складки лоснящихся щек.

Сердце в исступлении,
рвет и мечет.

«Назад же!
Чего еще?»

Влево смотрю.

Рот разинул.

Обернулся к первому, и стало йпаче:
для увидевшего вторую образину
первый —
воскресший Леонардо да Винчи.

Нет людей.

Понимаете
крик тысячедневных мук?
Душа не хочет немая идти,
а сказать кому?

Брошусь на землю,
камня корою
в кровь лицо изотру, слезами асфальт омывая.
Истомившимися по ласке губами тысячу поцелуев
покрою
умную морду трамвая.

В дом уйду.
Прилипну к обоям.
Где роза есть нежнее и чайнее?
Хочешь —
тебе
рябое
прочту «Простое как мычание»?

для истории

Когда все расселятся в раю и в аду,
земля итогами подведена будет —
помните:
в 1916 году
из Петрограда исчезли красивые люди.

1916

ДЕШЕВАЯ РАСПРОДАЖА

Женщину ль опутываю в трогательный роман,
просто на прохожего гляжу ли —
каждый опасливо придерживает карман.
Смешные!
С нищих —
что с них сжулить?

Сколько лет пройдет, узнают пока —
кандидат на сажень городского морга —
я
бесконечно больше богат,
чем любой Пьерпонт Морган.

Через столько-то, столько-то лет
— словом, не выживу —
с голода сдохну ль,
стану ль под пистолет —
меня,
сегодняшнего рыжего,
профессорá разучат до последних иот,
как,

когда,
где явлеи.
Будет
с кафедры лобастый идиот
что-то молоть о богодьяволе.

Склонится толпа,
лебезяща,
суетна.
Даже не узнаете —
я не я:
облысевшую голову разрисует она
в рога или в сияния.

Каждая курсистка,
прежде чем лечь,
она
не забудет над стихами моими замлеть.
Я — пессимист,
знаю —
вечно
будет курсистка жить на земле.

Слушайте ж:

все, чем владеет моя душа,
— а ее богатства пойдите смерьте ей! —
великоление,
что в вечность украсит мой шаг
и самое мое бессмертие,
которое, громыхая по всем векам,
коленопреклоненных соберет мировое вече, —
все это — хотите? —
сейчас отдам
за одно только слово
ласковое,
человечье.

Люди!

Пыля проспекты, топоча рожь,
идите со всего земного лона.
Сегодня
в Петрограде

на Надеждинской
ни за гроши
продается драгоценнейшая корона.
За человечье слово —
не правда ли, дешево?
Пойди,
попробуй,—
как же,
найдешь его!

1916

Х В О И

Не надо.
Не просите.
Не будет елки.
Как же
в лес
отпустите папу?
К нему
из-за леса
ядер осколки
протянут,
чтоб взять его,
хищную лапу.

Нельзя.
Сегодня
горящие блестки
не будут лежать
под елкой
в вате.
Там —
миллион смертоносных бсок,
ужалят,
а раненым ваты не хватит.

Нет.
Не зажгут.
Свечей не будет.
В море
железные чудища лазят.

А с этих чудищ
злые люди
ждут:
не блеснет ли у бокон в глазе.

Не говорите.
Глупые речь заводят:
чтоб дед пришел,
чтоб игрушек ворох.
Деда нет.
Дед на заводе.
Завод?
Это тот, кто делает порох.

Не будет музыки.
Рученек
где взять ему?
Не сядет, играя.
Ваш брат
теперь,
безрукий мученик,
идет, сияющий, в воротах рая.

Не плачьте.
Зачем?
Не хмурьте личек.
Не будет —
что же с того!
Скоро
все, в радостном кличе
голоса сплетая,
встретят новое Рождество.

Елка будет.
Да какая —
не обхватишь ствол.
Навесят на елку сиянья разного.
Будет стоять сплошное Рождество.
Так что
даже —
надоест его праздновать.

С Е Б Е, Л Ю Б И М О М У,
П О С В Я Щ А Е Т Э Т И С Т Р О К И А В Т О Р

Четыре.
Тяжелые, как удар.
«Кесарево кесарю — богу богово».
А такому,
как я,
ткнуться куда?
Где для меня уготовано логово?

Если б был я
маленький,
как Великий океан,—
на цыпочки б волн встал,
приливом ласкался к луне бы.
Где любимую найти мне,
такую, как и я?
Такая не уместилась бы в крохотное небо!

О, если б я нищ был!
Как миллиардер!
Что деньги душё?
Ненасытный вор в ней.
Моих желаний разнузданной орде
не хватит золота всех Калифорний.

Если б быть мне косноязычным,
как Дант
или Петрарка!
Душу к одной зажечь!
Стихами велеть истлеть ей!
И слова
и любовь моя —
триумфальная арка:
пышно,
бесследно пройдут сквозь нее
любовницы всех столетий.

О, если б был я
тихий,
как гром,—
ныл бы,
дрожью объял бы земли одряхлевший скит.

Я

если всей его мощью
выреву голос огромный —
кометы заломят горящие руки,
бросятся вниз с тоски.

Я бы глаз лучами грыз ночи —
о, если б был я
тусклый,
как солнце!
Очень мне надо
сияньем моим поить
земли отощавшее лонце!

Пройду,
любовищу мою волоча.
В какой ночи,
бредовой
недужной,
какими Голиафами я зачат —
такой большой
и такой ненужный?

1916

П О С Л Е Д Н Я Я
П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Я С К А З К А

Стоит император Петр Великий,
думает:
«Запишу на просторе я!» —
а рядом
под пьяные клики
строится гостиница «Астория».

Сияет гостиница,
за обедом обед она
дает.
Завистью с гранита снят,
слез император.
Тroe медных
слазят
тихо,
чтоб не спугнуть Сенат.

Прохожие стремились войти и выйти.
Швейцар в поклоне не уменьшил рост.
Кто-то
рассеянный
бросил:
«Извините»,
наступив нечаянно на змейин хвост.

Император,
лошадь и змей
неловко
по карточке
спросили гренадин.
Шума язык не смолк, немея.
Из пивших и евших не обернулся ни один.

И только
когда
над пачкой соломинок
в коне заговорила привычка древняя,
толпа сорвáлась, криком сломана:
— Жует!
Не знает, зачем они.
Деревня!

Стыдом овихрены шаги коня.
Выбелена грива от уличного газа.
Обратно
по Набережной
гонит гиканье
последнюю из петербургских сказок.

И вновь император
стоит без скипетра.
Змей.
Унынье у лошади на морде.
И никто не поймет тоски Петра —
узника,
закованного в собственном городе.

Вот иду я,
заморский страус,
в перьях строф, размеров и рифм.
Спрятать голову, глупый, стараюсь,
в оперенье звенящее врыв.

Я не твой, снеговая уродина.
Глубже
в перья, душа, уложись!
И иная окажется родина,
вижу —
выжжена южная жизнь.

Остров зноя.
В пальмы овазился.
«Эй,
дорогу!»
Выдумку минут.
И опять
до другого оазиса
вью следы песками минут.

Иные жмутся —
уйти б,
не кусается ль? —
Иные изогнуты в низкую лесть.
«Мама,
а мама,
несет он яица?» —
«Не знаю, душечка.
Должен бы несть».

Ржут этажия.
Улицы пялятся.
Обдаают водой холода.
Весь истыканый в дымы и в пальцы,
переваливаю года.
Что ж, бери меня хваткой мёрзкой!

Бритвой ветра перья обрёй.
Пусть исчезну,
чужкой и заморский,
под неистовства всех декабрей.

1916

Р Е В О Л Ю Ц И Я
ПОЭТОХРОНИКА

26 февраля. Пьяные, смешанные с полицией,
солдаты стреляли в народ.

27-е.

Разлился по блескам дул и лезвий
рассвет.
Рдел багрян и долог.
В промозглой казарме
суворый
трезвый
молился Волынский полк.

Жестоким
солдатским богом божились
роты,
бились об пол головой многолобой.
Кровь разжигалась, висками жилясь.
Руки в железо сжимались злобой.

Первому же,
приказавшему —
«Стрелять за голод!» —
заткнули пулей орущий рот.
Чье-то — «Смирно!»
Не кончил.
Заколот.
Вырвалась городу буря рот.

9 часов.

На своем постоянном месте
в Военной автомобильной школе
 стоим,
зажатые казарм оградою.

Рассвет растет,
сомненьем колет,
предчувствием страха и радуя.

Окну!
Вижу —
оттуда,
где режется небо
дворцов иззубленной линией,
взлетел,
простерся орел самодержца,
черней, чем раньше,
злей,
орлинее.

Сразу —
люди,
лошади,
фонари,
дома
и моя казарма
толпами
поб сто
ринулись на улицу.
Шагами ломаемая, звенит мостовая.
Уши крушит невероятная поступь.

И вот неведомо,
из пенья толпы ль,
из рвущейся меди ли труб гвардейцев
нерукотворный,
сияньем пробивая пыль,
образ взрос.
Горит.
Рдеется.

Шире и шире крыл окружис.
Хлеба нужней,
воды изжажданней,
Вот она:
«Граждане, за ружья!
К оружию, граждане!»

На крыльях флагов
стоглавой лавою
из горла города ввысь взлетела.
Штыков зубами вгрызлась в двуглавое
орла императорского черное тело.

Граждане!
Сегодня рушится тысячелетнее «Прежде».
Сегодня пересматривается миров основа.
Сегодня
до последней пуговицы в одежде
жизнь переделаем снова.

Граждане!
Это первый день рабочего потопа.
Идем
запутавшемуся миру на выручу!
Пусть толпы в небо вбивают топот!
Пусть флоты ярость сиренами вырычут!

Горе двуглавому!
Пенится пенье.
Пьянит толпу.
Площади плещут
На крохотном форде
мчим,
обгоняя погони пуль.
Взрывом гудков продираемся в городе.

В тумане.
Улиц река дымит.
Как в бурю дюжина груженых барж,
над баррикадами
плывет, громыхая, марсельский марш.

Первого дня огневое ядро
жуужжа скатилось за купол Думы.
Нового утра новую дрожь
встречаем у новых сомнений в бреду мы.

Что будет?
Их ли из окон выломим,
или на нарах
ждать,

чтоб снова
Россию
могилами
выгорбил монарх?!

Душу глушу об выстрел резкий.
Дальние,
в шинели орыт.
Рассыпав дома в пулеметном треске,
город грохочет.
Город горит.

Везде языки.
Взовьются и лягут.
Вновь взвиваются, искры рассея.
Это улицы,
взяв по красному флагу,
призывом зарев зовут Россию.

Еще!
О, еще!
О, ярче учи, красноязыкий оратор!
Зажми и солнца
и лун лучи
мстящими пальцами тысячерукого Марата!

Смерть двуглавому!
Каторгам в двери
ломись,
когтями ржавые выев.
Пучками черных орлиных перьев
подбитые надают городовые.

Сдается столицы горящий остов.
По чердакам раскинули поиск.
Минута близко.
На Троицкий мост
вступают толпы войск.

Скрип содрогает устои и скрепы.
Стиснулись.
Бьемся.
Секунда! —

и в лак
заката
с фортоў Петропавловской крепости
взвился огнем революции флаг.

Смерть двуглавому!
Шеищи глав
рубите наотмашь!
Чтоб большие не бжил.
Вот он!
Падает!
В последнего из-за угла! — вцепился.
«Боже,
четыре тысячи в лоно твое прими!»

Довольно!
Радость трубите всеми голосами!
Нам
до бога
дело какое?
Сами
со святыми своих упокоим.

Что ж не поете?
Или
души задушены Сибирей саваном?
Мы победили!
Слава нам!
Сла-а-ав-в-ва нам!

Пока на оружии рук не разжали,
повелевается воля иная.
Новые несем земле скрижали
с нашего серого Синая.

Нам,
Поселянам Земли,
каждый Земли Поселянин родной.
Все
по станкам,
по конторам,
по шахтам братья.

Мы все
на земле
солдаты одной,
жизнь созидающей рати.

Пробеги планет,
держав бытие
подвластны нашим волям.
Наша земля.
Воздух — наш.
Наши звезд алмазные копи.
И мы никогда,
никогда!
никому,
никому не позволим!
землю нашу ядрами рвать,
воздух наш раздирать остриями отточенных копий.

Чья злоба нáдвоем землю сломала?
Кто вздыбил дымы над заревом боен?
Или солнца
одного
на всех мало?!
Или небо над нами малó голубое?!

Последние пушки грохочут в кровавых спорах,
последний штык заводы гранят.
Мы всех заставим рассыпать порох.
Мы детям раздарим мячи гранат.

Не трусость вопит под шинелью серою,
не крики тех, кому есть нечего;
это народа огромного громбое:
— Верую
величию сердца человечьего! —

Это над взбитой битвами пылью,
над всеми, кто грызся, в любви изверясь,
днесь
небывалой сбывается былью
социалистов великая ересь!

17 апреля 1917 г., Петроград

К О Т В Е Т У!

Гремит и гремит войны барабан.
Зовет железо в живых втыкать.
Из каждой страны
за рабом раба
бросают на сталь штыка.
За что?
Дрожит земля
голодна,
раздета.
Выпарили человечество кровавой баней
только для того,
чтоб кто-то
где-то
разжился Албанией.
Сцепилась злость человечьих свор,
падает на мир за ударом удар
только для того,
чтоб бесплатно
Босфор
проходили чьи-то суда.
Скоро
у мира
не останется неполоманного ребра.
И душу вытащат.
И растопчат там ее
только для того,
чтоб кто-то
к рукам прибрал
Месопотамию.
Во имя чего
сапог
землю растаптывает, скрипящ и груб?
Кто над небом боев —
свобода?
бог?
Рубль!
Когда же встанешь во весь свой рост,
ты,
отдающий жизнь свою им?
Когда же в лицо им бросишь вопрос:
за что воюем?

Ешь ананасы, рябчиков жуй,
день твой последний приходит, буржуй.

1917

НАШ МАРШ

Бейте в площади бунтов топот!
Выше, гордых голов гряда!
Мы разливом второго потопа
перемоем миров города.

Дней бык пег.
Медленна лет арба.
Наш бог бег.
Сердце наш барабан.

Есть ли наших золот небесней?
Нас ли сжалит пули оса?
Наше оружие — наши песни.
Наше золото — звенящие голоса.

Зеленью ляг, луг,
выстели дно дням.
Радуга, дай дуг
лет быстролётным коням.

Видите, скучно звезд небу!
Без него наши песни въем.
Эй, Большая Медведица! требуй,
чтоб на небо нас взяли живьем.

Радости пей! Пой!
В жилах весна разлита.
Сердце, бей бой!
Грудь наша — медь литавр.

1917

ХОРОШЕЕ ОТНОШЕНИЕ К ЛОШАДЯМ

Били копыта.

Пели будто:

— Гриб.

Грабь.

Гроб.

Груб.—

Ветром опита,

льдом обута,

улица скользила.

Лошадь на круп

грохнулась,

и сразу

за зевакой зевака,

штаны пришедшие Кузнецким клешить,

сгрудились,

смех зазвенел и зазвякал:

— Лошадь упала! —

— Упала лошадь! —

Смеялся Кузнецкий.

Лишь один я

голос свой не вмешивал в вой ему.

Подошел

и вижу

глаза лошадиные...

Улица опрокинулась,

течет по-своему...

Подошел и вижу —

за каплищей каплища

по морде катится,

прячется в шерсти...

И какая-то общая

звериная тоска

плеща вылилась из меня

и расплылась в шелесте.

«Лошадь, не надо.

Лошадь, слушайте —

чего вы думаете, что вы их плоше?

Деточка,
все мы немножко лошади,
каждый из нас по-своему лошадь».
Может быть
— старая —
и не нуждалась в няньке,
может быть, и мысль ей моя казалась пошла,
только
лошадь
рванулась,
встала на ноги,
ржанула
и пошла.
Хвостом помахивала.
Рыжий ребенок.
Пришла веселая,
стала в стойло.
И все ей казалось —
она жеребенок,
и стоило жить,
и работать стоило.

1918

О Д А Р Е В О Л Ю Ц И И

Тебе,
освистанная,
осмеянная батареями,
тебе,
изъязвленная злословием штыков,
восторженно возношу
над руганью реемой
оды торжественное
«О!»
О, звериная!
О, детская!
О, копеечная!
О, великая!
Каким названьем тебя еще звали?
Как обернешься еще, двуликая?
Стройной постройкой,
грудой развалин?

Машинисту,
пылью угля овеянному,
шахтеру, пробивающему толщи руд,
кадишь,
кадишь благоговейно,
славишь человечий труд.

А завтра
Блаженный
стропила соборовы
тщетно возносит, пощаду молл,—
твоих шестидюймовок тупорылые боровы
взрывают тысячелетия Кремля.
«Слава».

Хрипит в предсмертном рейсе.

Визг сирен придушенно тонок.

Ты шлешь моряков
на тонущий крейсер,
туда,
где забытый
мяукал котенок.

А после!

Пьяной толпой орала.

Ус залихватский закручен в форсе.

Прикладами гонишь седых адмиралов
вниз головой

с моста в Гельсингфорсе.

Вчерашние раны лижет и лижет,
и снова вижу вскрытые вены я.

Тебе обывательское
— о, будь ты проклята трижды! —
и мое,
поэтово
— о, четырежды славься, благословенная! —

1918

ПРИКАЗ
ПО АРМИИ ИСКУССТВА

Канителят стариков бригады
канитель одну и ту ж.
Товарищи!
На баррикады! —

баррикады сердец и душ.
Только тот коммунист истый,
кто мосты к отступлению сжег.
Довольно шагать, футуристы,
в будущее прыжок!
Паровоз построить мало —
накрутил колес и утек.
Если песнь не громит вокзала,
то к чему переменный ток?
Громоздите за звуком звук вы
и вперед,
поя и свища.
Есть еще хорошие буквы:
Эр,
Ша,
Ща.
Это мало — построить парами,
распушить по штанине канты.
Все совдепы не сдвинут армий,
если марш не дадут музыканты.
На улицу тащите рояли,
барабан из окна багром!
Барабан,
рояль раскро́й ли,
но чтоб грохот был,
чтоб гром.
Это что — корпеть на заводах,
перемазать рожу в копоть
и на роскошь чужую
в отдых
осовелыми глазками хлопать.
Довольно грошовых истин.
Из сердца старое вытри.
Улицы — наши кисти.
Площади — наши палитры.
Книгой времени
тысячелистой
революции дни не воспеты.
На улицы, футуристы,
барабанщики и поэты!

1918

РАДОВАТЬСЯ РАНО

Будущее ишем.
Исходили вёрсты торцов.
А сами
расселились кладбíщем,
придавлены плитами дворцов.
Белогвардейца
найдете — и к стенке.
А Рафаэля забыли?
Забыли Растрелли вы?
Время
пулям
по стенке музеев тенькать.
Стодюймовками глоток старье расстреливай!
Сеете смерть во вражьем стане.
Не попадись капитала наймиты.
А царь Александр
на площади Восстаний
стоит?
Туда динамиты!
Выстроили пушки по опушке,
глухи к белогвардейской ласке.
А почему
не атакован Пушкин?
А прочие
генералы классики?
Старье охраняем искусства именем.
Или
зуб революций ступился о короны?
Скорее!
Дым разведите над Зимним —
фабрики макаронной!
Попалили денек-другой из ружей
и думаем —
старому нос утрем.
Это что!
Пиджак сменить снаружи —
мало, товарищи!
Выворачивайтесь нутром!

Орут поэту:
 «Посмотреть бы тебя у токарного станка.
 А что стихи?
 Пустое это!
 Небось работать — кишка тонка».
 Может быть,
 нам
 труд
 всяких занятий роднее.
 Я тоже фабрика.
 А если без труб,
 то, может,
 мне
 без труб труднее.
 Знаю,
 не любите праздных фраз вы.
 Рубите дуб — работать дабы.
 А мы
 не деревообделочники разве?
 Голов людских обделываем дубы.
 Конечно,
 почтенная вещь — рыбачить.
 Вытащить сеть.
 В сетях осетры б!
 Но труд поэтов — почтенный паче —
 людей живых ловить, а не рыб.
 Огромный труд — гореть над горном,
 железа шипящие класть в закал.
 Но кто же
 в безделье бросит укор нам?
 Мозги шлифуем рашипилом языка.
 Кто выше — поэт
 или техник,
 который
 ведет людей к вещественной выгоде?
 Оба.
 Сердца — такие же моторы.
 Душа — такой же хитрый двигатель.
 Мы равные.
 Товарищи в рабочей массе.
 Пролетарии тела и духа.

Лишь вместе
вссленную мы разукрасим
и маршами пустим ухать.
Отгородимся от бурь словесных молом.
К делу!
Работа жива и нова.
А праздных ораторов —
на мельницу!
К мукомолам!
Водой речей вертеть жернова.

1918

ТОЙ СТОРОНЕ

Мы
не вопль гениальничанья —
«все дозволено»,
мы
не призыв к ножовой расправе,
мы
просто
не ждем фельдфебельского
«вольно!»,
чтоб спину искусства размять,
расправить.

Гарпуют скелеты всемирного Рима
на спинах наших.
В могилах малб им.
Так что ж удивляться,
что непримиримо
мы
мир обложили сплошным «долоем».

Характер различен.
За целость Венеры вы
готовы щадить веков камарилью.
Вселенский пожар размочалил нервы.
Орете:
«Пожарных!
Горит Мурильо!»

А мы —
не Корнеля с каким-то Расином —
отца,—
предложи на старье меняться,—
мы
и его
обольем керосином
и в улицы пустим —
для иллюминаций.
Бабушка с дедушкой.
Папа да мама.
Чинопочитанья проклятого тина.
Лачуги рушим.
Возносим дома мы.
А вы нас —
«ловить арканом картинок!?).

Мы
не подносим —
«Готово!
На блюде!
Хлебайте сладкое с чайной ложицы!»
Клич футуриста:
были б люди —
искусство приложится.

В рядах футуристов пусто.
Футуристов возраст — призыв.
Изрубленные, как капуста,
мы войн,
революций призы.
Но мы
не зовем обывателей гроба.
У пьяной,
в кровавом пунше,
земли —
смотрите! —
взбухает утроба.
Рядами выходят юноши.
Идите!
Под ноги —
топчите ими —
мы
бросим

себя и свои творенья.
Мы смерть зовем рожденья во имя.
Во имя бега,
паренья,
реянья.
Когда ж
прорвемся сквозь заставы
и праздник будет за болью боя,—
мы
все украшенья
расставить заставим —
любите любое!

1918

Л Е В Ы Й М А Р Ш
(МАТРОСАМ)

Разворачивайтесь в марше!
Словесной не место кляuze.
Тише, ораторы!
Ваше
слово,
товарищ маузер.
Довольно жить законом,
данным Адамом и Евой.
Клячу историю загоним.
Левой!
Левой!
Левой!

Эй, синеблузые!
Рейте!
За океаны!
Или
У броненосцев на рейде
ступлены острые кили?!

Пусть,
оскалясь короной,
вздымаает британский лев вой.
Коммуне не быть покоренной.
Левой!
Левой!
Левой!

Там
за горами гбря
солнечный край непочатый.
За голод,
за мора море
шаг миллионный печатай!
Пусть бандой окружат нанятой,
стальной изливаются лёвой,—
России не быть под Антантою.
Левой!
Левой!
Левой!

Глаз ли померкнет орлий?
В старое ль станем плятися?
Крепи
у мира на горле
пролетариата пальцы!
Грудью вперед бравой!
Флагами небо оклеивай!
Кто там шагает правой?
Левой!
Левой!
Левой!

1918

МЫ ИДЕМ

Кто вы?
Мы
разносчики новой веры,
красоте задающей железный тон.
Чтоб природами хилыми не сквернили скверы,
в небеса шаражаем железобетон.
Победители,
шествуем по свету
сквозь рев старииков злючий.
И всем,
кто против,
советуем
следующий вспомнить случай.
Раз
на радугу

кулаком
замахнулся городовой:
— чего, мол, меня нарядней и чище! —
а радуга
вырвалась
и давай
опять сиять на полицейском кулачище.
Коммунисту ль
распластываться
перед тем, кто старей?
Беречь сохранность насиженных мест?
Это революция
и на Страстном монастыре
начертила:
«Не трудящийся не ест».
Революция
отшвырнула
тех, кто
рушащееся
оплакивал тысячию родов,
ибо знает:
новый грядет архитектор —
это мы,
иллюминаторы завтраших городов.
Мы идем
нерушимо,
бодро.
Эй, двадцатилетние!
взываем к вам.
Барабаня,
тащите красок вёдра.
Заново обкрасимся.
Сияй, Москва!
И пускай
с газеты
какой-нибудь выродок
сражается с нами
(не на смерть, а на живот).
Всех младенцев перебили по приказу Ирода;
а молодость,
ничего —
живет.

Я знаю —
не герои
низвергают революций лаву.
Сказка о героях —
интеллигентская чушь!
Но кто ж
удержится,
чтоб славу
нашему не воспеть Ильичу?

Ноги без мозга — вздорны.
Без мозга
рукам нет дела.
Металось
во все стороны
мира безголовое тело.
Нас
продавали на вырез.
Военный вздымался вой.
Когда
над миром вырос
Ленин
огромной головой.
И земли
сели на бси.
Каждый вопрос — прост.
И выявилось
два
в хабсе
мира
во весь рост.
Один —
животище на животище.
Другой —
непреклонно скалистый —
влил в миллионы тыщи.
Встал
горой мускулистой.

Тещерь
не промахнемся мимо.
Мы знаем кого — мети!
Ноги знают,
чьими
трупами
им идти.

Нет места сомненьям и воям
Долой улитье — «подождем»!
Руки знают,
кого им
крыть смертельный дождем.

Пожарами землю дымя,
везде,
где народ исплёнен,
взрывается
бомбой
имя:
Ленин!
Ленин!
Ленин!

И это —
не стихов вееру
обмахивать юбиляра уют.—
Я
в Ленине
мира веру
славлю
и веру мою.

Поэтом не быть мне бы,
если б
не это пел —
в звездах пятиконечных небо
безмерного свода РКП.

НЕ ОБЫЧАЙНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ,
БЫВШЕЕ С ВЛАДИМИРОМ МАЯКОВСКИМ
ЛЕТОМ НА ДАЧЕ

(ПУШКИНО, АКУЛОВА ГОРА, ДАЧА РУМЯНЦЕВА,
27 ВЕРСТ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ЖЕЛ. ДОР.)

В сто сорок солнц закат пылал,
в июль катилось лето,
была жара,
жара плыла —
на даче было это.
Пригородок Пушкино горбил
Акуловой горою,
а низ горы —
деревней был,
кривился крыш корою.
А за деревнею —
дыра,
и в ту дыру, наверно,
спускалось солнце каждый раз,
медленно и верно.
А завтра
снова
мир залить
вставало солнце ало.
И день за днем
ужасно злить
меня
вот это
стало.
И так однажды разозлясь,
что в страхе все поблекло,
в упор я крикнул солнцу:
«Слазь!
довольно шляться в пекло!»
Я крикнул солнцу:
«Дармоед!
занежен в облака ты,
а тут — не знай ни зим, ни лет,
сиди, рисуй плакаты!»
Я крикнул солнцу:
«Погоди!

послушай, златолобо,
чем так,
без дела заходить,
ко мне
на чай зашло бы!»
Что я наделал!
Я погиб!
Ко мне,
по доброй воле,
само,
раскинув луч-шаги,
шагает солнце в поле.
Хочу испуг не показать —
и ретируюсь задом.
Уже в саду его глаза.
Уже проходит садом.
В окошки,
в двери,
в щель войдя,
валилась солнца масса,
ввалилось;
дух переведя,
заговорило басом:
«Гоню обратно я огни
впервые с сотворенья.
Ты звал меня?
Чай гони,
гони, поэт, варенье!»
Слеза из глаз у самого —
жара с ума сводила,
но я ему —
на самовар:
«Ну что ж,
садись, светило!»
Черт дернул дерзости мои
орать ему,—
сконфужен,
я сел на уголок скамьи,
боюсь — не вышло б хуже!
Но странная из солнца ясь
струилась,—
и степенность
забыв,

сижу, разговорясь
с светилом постепенно.
Про то,
про это говорю,
что-де засела Роста,
а солнце:
«Ладно,
не горюй,
смотри на вещи просто!
А мне, ты думаешь,
светить
легко? —
— Поди, попробуй! —
А вот идешь —
взялось идти,
идешь — и светишь в оба!»
Болтали так до темноты —
до бывшей ночи то есть.
Какая тьма уж тут?
На «ты»
мы с ним, совсем освоясь.
И скоро,
дружбы не тая,
бью по плечу его я.
А солнце тоже:
«Ты да я,
нас, товарищ, двое!
Пойдем, поэт,
взорим,
вспоем
у мира в сером хламе.
Я буду солнце лить свое,
а ты — свое,
стихами».
Стена теней,
ночей тюрьма
под солнцем двустволкой пала.
Стихов и света кутерьма —
сияй во что попало!
Устанет то,
и хочет ночь
прилечь,
тупая сонница.

Вдруг — я
во всю светаю мочь —
и снова день трезвонится.
Светить всегда,
светить везде,
до дней последних донца,
светить —
и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой —
и солнца!

1920

О Т Н О Ш Е Н И Е К Б А Р Y Ш Н Е

Этот вечер решал —
не в любовники выйти ль нам? —
темно,
никто не увидит нас.
Я наклонился действительно,
и действительно
я,
наклоняясь,
сказал ей,
как добный родитель:
«Страсти крут обрыв —
будьте добры,
отойдите.
Отойдите,
будьте добры».

1920

Г Е Й Н Е О Б Р А З Н О Е

Молнию метнула глазами:
«Я видела —
с тобой другая.
Ты самый низкий,
ты подлый самый...» —

И пошла,
и пошла,
и пошла, ругая.
Я ученый малый, милая,
громыханья оставьте ваши.
Если молния меня не убила —
то гром мне,
ей-богу, не страшен.

1920

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЧКА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Слава тебе, краснозвездный герой!
Землю кровью вымыв,
во славу коммуны,
к горе за горой
шедший твердынями Крыма.
Они проползали танками рвы,
выпятив пушек шеи,—
телами рвы заполняли вы,
по трупам перейдя перешеек.
Они
за окопами взрыли окоп,
хлестали свинцовой рекою,—
а вы
отобрали у них Перекоп
чуть не голой рукою.
Не только тобой завоеван Крым
и белых разбита орава,—
удар твой двойной:
завоевано им
трудиться великое право.
И если
в солнце жизнь суждена
за этими днями хмурыми,
мы знаем —
вашей отвагой она
взята в перекопском штурме.

В одну благодарность сливаем слова
тебе,
краснозвездная лава
Во веки веков, товарищи,
вам —
слава, слава, слава!

1920—1921

О Д Р Я П И

Слава, Слава, Слава героям!!!

Впрочем,
им
довольно воздали дани.
Теперь
поговорим
о дряни.

Утихомирились бури революционных лон.
Подернулась тиной советская мешанина.
И вылезло
из-за спины РСФСР
мурло
мещанина.

(Меня не поймаете на слове,
я вовсе не против мещанского сословия.
Мещанам
без различия классов и сословий
моё славословие.)

Со всех необъятных российских нив,
с первого дня советского рождения
стеклись они,
наскоро оперенья переменив,
и засели во все учреждения.

Намозолив от пятилетнего сидения зады,
крепкие, как умывальники,
живут и поныне
тише воды.
Свили уютные кабинеты и спаленки.

И вечером
та или иная мразь,
на жену,
за пианином обучающуюся, глядя,
говорит,
от самовара разморясь:
«Товарищ Надя!
К празднику прибавка —
24 тыщи.
Тариф.
Эх,
и заведу я себе
тихоокеанские галифиша,
чтоб из штанов
выглядывать
как коралловый риф!»

А Надя:
«И мне с эмблемами платья.
Без серпа и молота не покажешься в свете!
В чем
сегодня
буду фигуриять я
на балу в Реввоенсовете?!»

На стенке Маркс.
Рамочка ала.
На «Известиях» лежа, котенок греется.
А из-под потолочки
верещала
оголтелая канареица.

Маркс со стенки смотрел, смотрел...
И вдруг
разинул рот,
да как заорет:
«Опутали революцию обывательщины нити.
Страшнее Врангеля обывательский быт.
Скорее
головы канарейкам сверните —
чтоб коммунизм
канарейками не был побит!»

1920—1921

ТИХОТВОРЕНИЕ О МЯСНИЦКОЙ, О БАБЕ
ПО ВСЕРОССИЙСКОМ МАСШТАБЕ

Сапоги почистить — 1 000 000.

Состояние!

Раньше б дом купил —
и даже неплохой.

Привыкли к миллионам.

Даже до луны расстояние
советскому жителю кажется чепухой.

Дернул меня черт
писать один отчет.
«Что это такое?» —
спрашивает с тоскою
машинистка.

Ну, что отвечу ей?!

Черт его знает, что это такое,

если сзади

у него

тридцать семь нулей.

Недавно уверяла одна дура,

что у нее

тридцать девять тысяч семь сотых температура.

Так привыкли к таким числам,

что меньше сажени число и не мыслим.

И нам,

если мы на митинге ревем,

рамки арифметики, разумеется, узки —

все разрешаем в масштабе мировом.

В крайнем случае — масштаб общерусский.

«Электрификация!?» — масштаб всероссийский.

«Чистка!» — во всероссийском масштабе.

Кто-то

даже,

чтоб избежать переписки,

предлагал —

сквозь землю

до Вашингтона кабель.

Иду.

Мясницкая.

Ночь глуха.

Скачу трясогузкой с ухаба на ухаб.

Сзади с тележкой баба.

С вещами

на Ярославский

хлюпает по ухабам.

Сбивают ставшие в хвост на галоши;

то грузовик обдаст,

то лошадь.

Балансируя

— четырехлетний навык! —

тащусь меж канавиш,

канав,

канавок.

И то

— на лету вспоминая маму —

с размаху

у почтамта

плюхаюсь в яму.

На меня тележка.

На тележку баба.

В грязи ворочаемся с боку на бок.

Что бабе масштаб грандиозный наш?!

Бабе грязью обдало рыло,

и баба,

взбирайся с этажа на этаж,

сверху

и меня

и власти крыла.

Правдив и свободен мой вещий язык

и с волей советскою дружиной,

но, натолкнувшись на эти пизы,

даже я запнулся, сконфужен.

Я

на сложных агитвопросах рос,

а вот

не могу объяснить бабе,

почему это

о грязи

на Мясницкой

вопрос

никто не решает в общемясницком масштабе!?

ПРИКАЗ № 2
АРМИИ ИСКУССТВ

Это вам —
упитанные баритоны —
от Адама
до наших лет,
потрясающие театрами именуемые притоны
ариями Ромеов и Джулльетт.

Это вам —
пентры¹,
раздобревшие как кони,
жрущая и ржущая России краса,
прячущаяся мастерскими,
по-старому драконя
цветочки и телеса.

Это вам —
прикрывшиеся листиками мистики,
лбы морщинками изрыв —
футуристики,
имажинистики,
акмеистики,
запутавшиеся в паутине рифм.
Это вам —
на растрепанные сменившим
гладкие прически,
на лапти — лак,
пролеткульты,
кладущие заплатки
на вылинявший пушкинский фрак.

Это вам —
пляшущие, в дуду дующие,
и открыто предающиеся,
и грешащие тайком,

¹ Художники (франц. peintres). — Ред.

рисующие себе грядущее
огромным академическим пайком.
Вам говорю
я —
гениален я или не гениален,
бросивший безделушки
и работающий в Росте,
говорю вам —
пока вас прикладами не прогнали:
Бросьте!

Бросьте!
Забудьте,
плюньте
и на рифмы,
и на арии,
и на розовый куст,
и на прочие мелехлюндии
из арсеналов искусств.
Кому это интересно,
что — «Ах, вот бедненький!
Как он любил
и каким он был несчастным...»?
Мастера,
а не длинноволосые проповедники
нужны сейчас нам.
Слушайте!
Паровозы стонут,
дует в щели и в пол:
«Дайте уголь с Дону!
Слесарей,
механиков в депо!»

У каждой реки на истоке,
лежа с дырой в боку,
пароходы провыли доки:
«Дайте нефть из Баку!»

Пока канителим, спорим,
смысл сокровенный ища:
«Дайте нам новые формы!» —
несется вопль по вещам.

Нет дураков,
ждя, что выйдет из уст его,
стоять перед «маэстрами» толпой разинь.
Товарищи,
дайте новое искусство —
такое,
чтобы выволочь республику из грязй.

1921

ПРОЗАСЕДАНИЯ

Чуть почь превратится в рассвет,
вижу каждый день я:
кто в глав,
кто в ком,
кто в полит,
кто в просвет,
расходится народ в учрежденъя.
Обдают дождем дела бумажные,
чуть войдешь в здание:
отобрав с полсотни —
самые важные! —
служащие расходятся на заседания.

Заявишься:
«Не могут ли аудиенцию дать?
Хожу со временем ба». —
«Товарищ Иван Ваныч ушли заседать —
объединение Тео и Гукона».

Исколесишь сто лестниц.
Свет не мил.
Опять:
«Через час велели придти вам.
Заседают:
покупка склянки чернил
Губкооперативом».

Через час:
ни секретаря,
ни секретарши нет —
блло!

Все до 22-х лет
на заседании комсомола.

Снова взбираюсь глядя на ночь
на верхний этаж семиэтажного дома.
«Пришел товарищ Иван Ваныч?» —
«На заседании
А-бе-ве-ге-де-е-же-зе-кома».

Взъянный,
на заседание
врываюсь лавиной,
дикие проклятья дорогой изрыгая.
И вижу:
сидят людей половины.
О дьявольщина!
Где же половина другая?
«Зарезали!
Убили!»
Мечусь, оря.
От страшной картины свихнулся разум.
И слышу
спокойнейший голосок секретаря:
«Оне на двух заседаниях сразу.
В день
заседаний на двадцать
надо поспеть нам.
Поневоле приходится раздвояться.
До пояса здесь,
а остальное
там».

С волнения не уснешь.
Утро раннее.
Мечтой встречаю рассвет ранний:
«О, хотя бы
еще
одно заседание
относительно искоренения всех заседаний!»

Гвоздимые строками,
стойте нёмы!
Слушайте этот волчий вой,
еле прикидывающийся поэмой!
Дайте сюда
самого жирного,
самого плешишего!
За шиворот!
Ткну в отчет Помгола.
Смотри!
Видишь —
за цифрой голой...

Ветер рванулся.
Рванулся итише...
Снова снегами огрёб
тысяче-
миллионно-крыший
волжских селений гроб.
Трубы —
гробовые свечи.
Даже вороны
исчезают,
чуя,
что, дымясь,
тянется
слащавый,
тошнотворный
дух
зажариваемых мяс.
Сына?
Отца?
Матери?
Дочери?
Чья?!
Чья в людоедчестве очередь?!

Помохи не будет!
Отрезаны снегами.
Помохи не будет!
Воздух пуст.

Помохи не будет!
Под ногами
даже глина сожрана,
даже куст.

Нет,
не помогут!
Надо сдаваться.
В 10 губерний могилу вымеряйте!
Двадцать
миллионов!
Двадцать!
Ложитесь!
Вымрите!..

Только одна,
осипшим голосом,
сумасшедшие проклятия метелями меля,
рек,
дорог снеговые волосы
ветром рвя, рыдает земля.

Хлеба!
Хлебушка!
Хлебца!

Сам смотрящий смерть воочию,
еле едящий,
только б не сдох,—
тянет город руку рабочую
горстью сухих крох.

«Хлеба!
Хлебушка!
Хлебца!»
Радио ревет за все границы.
И в ответ
за нелепицей нелепица
сыплется в газетные страницы.

«Лондон.
Банкет.
Присутствие короля и королевы.
Жрущих — не вместишь в раззолоченные хлевы».

Будьте прокляты!
Пусть
за вашей головою венчанной
из колоний
дикари придут,
питаемые человечиной!
Пусть
горят над королевством
бунтов зарева!
Пусть
столицы ваши
будут выжжены дотла!
Пусть из наследников,
из наследниц варево
варится в коронах-котлах!

«Париж.
Собрались парламентарии.
Доклад о голоде.
Фритиоф Нансен.
С улыбкой слушали.
Будто соловьиные арии.
Будто тенора слушали в модном романсе».

Будьте прокляты!
Пусть
вовеки
вам
не слышать речи человечьей!
Пролетарий французский!
Эй,
стягивай петлею вместо речи
толпъ непроходимых шей!

«Вашингтон.
Фермеры,
доевшие,
допившие
до того,
что лебедками подымают пузы,
в океане
пшеницу
от излишества топившие,—
топят паровозы грузом кукурузы».

Будьте прокляты!
Пусть
ваши улицы
бунтом будут запрúжены.
Выбрав
место, где более больно,
пусть
по Америке —
по Северной,
по Южной —
гонят
брюх ваших
мячище футбольный!

«Берлин.
Оживает эмиграция.
Банды радуются:
с голодными драяться им.
По Берлину,
закручивая усики,
ходят,
хвастаются:
— Патриот!
Русский!»

Будьте прокляты!
Вечное «вон!» им!
Всех отвращая иудьим видом,
французского золота преследуемые звоном,
скитайтесь чужбинами Вечным Жидом!
Леса российские,
соберитесь все!
Выберите по самой большой осине,
чтоб образ ихний
вечно висел,
под самым небом качался, синий.

«Москва.
Жалоба сборщицы:
в «Ампирах» морщатся
или дадут
тридцати рублевку,
вышедшую из употребления в 1918 году».

Будьте прокляты!
Пусть будет так,
чтоб каждый проглоченный
глоток
желудок жёг!
Чтоб ножницами оборачивался бифштекс сочный,
вспарывая стенки кишок!

Вымрет.
Вымрет 20 миллионов человек!
Именем всех упокоенных тут —
проклятие отныне,
проклятие вовек
от Волги отвернувшим морд толстоту.
Это слово не к жирному пузу,
это слово не к царскому трону,—
в сердце таком
слова ничего не тронут:
трогают их революций штыком.

Вам,
несметной армии частицам малым,
порох мира,
силой чьей,
силой,
брошенной по всем подвалам,
будет взорван
мир несметных богачей!
Вам! Вам! Вам!
Эти слова вот!
Цифрами верстовыми,
вмещающимися едва,
запишите Волгу буржуазии в счет!

Будет день!
Пожар всехсветный,
чистящий и чадный.
Выворачивая богачей палаты,
будьте так же,
так же беспощадны
в этот час расплаты!

МОЯ РЕЧЬ
НА ГЕНУЭЗСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Не мне российская делегация вверена.

Я —

самозванец на конференции Генуэзской.

Дипломатическую вежливость товарища Чичерина
дополню по-моему —

просто и резко.

Слушай!

Министерская компанийка!

Нечего заплывшими глазками мерцать.

Сквозь фраки спокойные вижу —
паника

трясет лихорадкой ваши сердца.

Неужели

без смеха

думать в силе,

что вы

на конференцию
нас пригласили?

В штыки бросаясь на Перекоп идти,
мятежных склоняя под красное знамя,
трудом сгибаясь в фабричной копоти,—
мы знали —

заставим разговаривать с нами.

Не просьбой просителей язык замер,
не нищие, жмурящиеся от господского света,—
мы ехали, осматривая хозяйствами глазами
грядущую

Мировую Федерацию Советов.

Болтают язычишки газетных строк:

«Испытать их сначала...»

Хватили лицшку!

Не вы на испытание даете срок —
а мы на время даем передышку.

Лишь первая фабрика взвила дым —
враждой к вам

в рабочих

вспыхнули души.

Слюной ли речей пожары вражды
на конференции

нынче
затушим?!
Долги наши,
каждый медный грош,
считают «Матэны»,
считают «Таймы».
Считаться хотите?
Давайте!
Что ж!
Посчитаемся!
О вздернутых Врангелем,
о расстрелянном,
о заколотом
память на каждой крымской горе.
Какими пудами
какого золота
оплатите это, господин Пуанкаре?
О вашем Колчаке — Урал спросите!
Зверством — аж горы вгонялись в дрожь.
Каким золотом —
хватит ли в Сити?! —
оплатите это, господин Ллойд-Джордж?
Вонзите в Волгу ваше зрение:
разве этот
голодный ад,
разве это
мужицкое разорение —
не хвост от ваших войн и блокад?
Пусть
кладбищами голодной смерти
каждый из вас протащится сам!
На каком —
на железном, что ли, эксперте
не встанут дыбом волоса?
Не защититесь пунктами резолюций-плотин.
Мировая —
ночи пальбой веселя —
революция будет —
и велит:
«Плати
и по этим российским векселям!»
И розовые краснеют мало-помалу.
Тише!

Не дыша!
Слышите
из Берлина
первый шаг
трех Интернационалов?
Растя единство при каждом ударе,
идем.
Прислушайтесь —
вздрагивает здание.

Я кончил.
Милостивые государи,
можете продолжать заседание.

1922

П А Р И Ж
(РАЗГОВОРЧИКИ С ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНЕЙ)

Обшаркан миллионом ног.
Исшелестен тыщей шин.
Я борожжу Париж —
до жути одинок,
до жути ни лица,
до жути ни души.
Вокруг меня —
авто фантастят танец,
вокруг меня —
из зверорыбых морд —
еще с Людовиков
свистит вода, фонтанясь.
Я выхожу
на Place de la Concorde¹.
Я жду,
пока,
подняв резную главку,
домовьей слежкою умаяна,
ко мне,
к большевику,
на явку
выходит Эйфелева из тумана.

¹ Площадь Согласия (франц.). — Ред.

— Т-ш-ш-ш,
башия,
тишь шлепайте! —
увидят! —
луна — гильотинная жуть.
Я вот что скажу
(пришипился в шепоте,
ей
в радиоухо
шепчу,
жужжу):
— Я разагитировал вещи и здания.
Мы —
только согласия вашего ждем.
Башня —
хотите возглавить восстание?
Башня —
мы
vas выбираем вождем!
Не вам —
образцу машинного гения —
здесь
таять от аполлинеровских вирш.
Для вас
не место — место гниения —
Париж проституток,
поэтов,
бирж.
Метро согласились,
метро со мною —
они
из своих облицованных нутр
публику выплюют —
кровью смоют
со стен
плакаты духов и пудр.
Они убедились —
не ими литься
вагонам богатых,
Они не рабы!
Они убедились —
им
более к лицам

наши афиши,
плакаты борьбы.
Башня —
улиц не бойтесь!
Если
метро не выпустит уличный грунт —
грунт
исполосуют рельсы.
Я подымаю рельсовый бунт.
Бойтесь?
Трактиры заступятся стаями?
Бойтесь?
На помошь придет Рив-гош¹.
Не бойтесь!
Я уговорился с мостами.
Вплавь
реку
переплыть
не легко ж!
Мосты,
распалясь от движения злого,
подымутся враз с парижских боков.
Мосты забунтуют.
По первому зову —
прохожих ссыпят на камень быков.
Все вещи вздыбятся.
Вещам невмоготу.
Пройдет
пятнадцать лет
иль двадцать,
обдрябнет сталь,
и сами
вещи
тут
пойдут
Монмартрами на ночи продаваться.
Идемте, башня!
К нам!
Вы —
там,

¹ Левый берег (*франц.*). — Реб.

у нас,
нужней!
Идемте к нам!
В блестенье стали,
в дымах —
мы встретим вас.
Мы встретим вас нужней,
чем первые любимые любимых.
Идем в Москву!
У нас
в Москве
простор.
Вы
— каждой! —
будете по улице иметь.
Мы
будем холить вас:
раз сто
за день
до солнц расчистим вашу сталь и медь.
Пусть
город ваш,
Париж франтих и дур,
Париж бульварных ротозеев,
кончается один, в сплошной складбищась Лувр,
в старье лесов Булонских и музеев.
Вперед!
Шагни четверкой мощных лап,
прибитых чертежами Эйфеля,
чтоб в нашем небе твой изradiило лоб,
чтоб наши звезды пред тобою сдрейфили!
Решайтесь, башня,—
нынче же вставайте все,
разворотив Париж с верхушки и до низу!
Идемте!
К нам!
К нам, в СССР!
Идемте к нам —
я
вам достану визу!

1923

МЫ НЕ ВЕРИМ!

Тенью истемня весенний день,
выклеен правительственный бюллетень.

Нет!
Не надо!
Разве молнии велишь
не литься?
Нет!
не оковать язык грозы!
Вечно будет
тысячестраницый
грохотать
набатный
ленинский язык.

Разве гром бывает немотою болен?!
Разве сдержишь смерч,
чтоб вихрем не кипел?!

Нет!
не ослабеет ленинская воля
в миллионосильной воле РКП.

Разве жар
такой
термометрами меряется?!

Разве пульс
такой
секундами гудит?!

Вечно будет ленинское сердце
клокотать
у революции в груди.

Нет!
Нет!
Не-е-т...
Не хотим,
не верим в белый бюллетень.
С глаз весенних
сгинь, навязчивая тень!

В О Р О В С К И Й

Сегодня,

пролетариат,

гром голосов раскуй,

забудь

о всепрощенье-воске.

Приконченный

фашистской шайкой воровской,

в последний раз

Московой

пройдет Воровский.

Сколько не станет...

Сколько не стало...

Сколькох — в клочья...

Сколькох — в дым...

Где б ни сдали.

Чья б ни сдала.

Мы не сдали,

мы не сдадим.

Сегодня

гнев

скругли

' в огромный

Сегодня

бомбы мяч.

голоса

размолний штычым блеском.

В глазах

в капиталистовых маяч.

Чертись

по королевским занавескам.

Ответ

в миллион шагов

пошли

на наглость нот.

Миллионную толпу

у стен кремлевских вызмей.

Пусть

смерть товарища

сегодня

подчеркнет

бессмертье

дела коммунизма.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

Дело земли —
вертесья.

Литься —
дело вод.

Дело
молодых гвардейцев —
бег,

галоп
вперед.

Жизнь шажком
старá нам.

Бегом
под знаменем алым.

Ксмосольским
миллионным тараном

вперед!
Но этого мало.

Полкáми
по полкам книжным,
чтоб буквы
и то смяло.

Мысль
засеем
и выжнем.

Вперед!
Но этого мало.
Через самую
высочайшую высь
махни атакующим валом.

Новым
чувством
мысль
будоражь!
Но и этого мало.

Ковром
вселенную взвей.

Моль
из вселенной
выбей!
Вели
лететь
левей
всей
вселенской
глыбе!
1923

П О Р Д Е Р Н Е Й

Дыра дырой,
ни хорошая, ни дрянная —
немецкий курорт,
живу в Нордернее.
Небо
то луч,
то чайку роняет.
Море
блестящей, чем ручка дверная.
Полон рот
красот природ:
то волны
приливом
полберега выроют,
то краб,
то дельфины выплеснет тельце,
то примусом волны фосфоресцируют,
то в море
закат
кислем раскиселится.
Тоска!..
Хоть бы,
что ли,
громовий раскат.

Я жду не дождусь
и не в силах дождаться,
но верую в ярную,
верую в скорую.

И чудится:

из-за островочка

кронштадтцы

уже выплывают

и целят «Авророю».

По море в терпенье,

и буре не вывести.

Волну

и не гладят ветровы пальчики.

По пляжу

впластались в песок

и в ленивости

купальщицы млеют,

млеют купальщики.

И видится:

буря вздымается с дюны.

Купальщики,

жиром набитые бочки,

спасайтесь!

Покроет,

измелет

и сдунет.

Песчинки — пули,

песок — пулеметчики».

Но пляж

буржуйкам

Но ветер,

ласкает подошвы.

песок

в ладу с грудастыми.

С улыбкой:

— как всё в Германии дешево!

валютчики

греют катары и астмы.

Но это ж,

наверно,

красные роты.

Шаганья знакомая разноголосица.

Сейчас на табльдотчиков,

сейчас на табльдоты

накинутся,

врежутся,

ринутся,

бросятся.

Но обер
на барыню
косится рабы:
фашистский
на барыньке
знак муссолинится.

Сося
и вгрызаясь в щупальцы крабьи,
глядят,
как в море
закатище вклинился.

Чье сердце
октябрьскими бурями вымыто,
тому ни закат,
ни моря революциые,
тому ничего,
ни красот,
ни климатов,
не надо —
кроме тебя,
Революция!

4 августа 1923 г., Нордерней

К И Е В

Лапы елок,
лапки,
лапушки...
Все в снегу,
а теплые какие!
Будто в гости
к старой,
старой бабушке
я
вчера
приехал в Киев.
Вот стою
на горке
на Владимирской.

Ширь вовсю —
не вымчать и перу!

Так

когда-то,
рассиявшись в выморозки,
Киевскую
Русь
оглядывал Перун.

А потом —

когда
и кто,
не помню толком,
только знаю,
что сюда вот
по льду,
да и по воде,
в порогах,
волоком —

шли

с дарами
к Дику и Аскольду.
Дальше
было солнце
— На колени, Русь!
куполам в литавры.
Согнись и стой.—

До сегодня

нас
Владимир гонит в лавры.
Плеть креста
сжимает
каменный святой.

Шли

из мест
таких,
которых нету глуше,—
прадеды,
прапрадеды
Много
всяческих
кровавых безделушек

здесь у бабушки
моей
по берегам Днепра.
Был убит
и снова встал Столыпин,
памятником встал,
вложивши пальцы в китель.
Снова был убит,
и вновь
дрожали липы
от пальбы
двенадцати правительств.
А теперь
встают
с Подола
дымы,
киевская грудь
гудит,
котлами грета.
Не святой уже —
другой,
земной Владимир
крестит нас
железом и огнем декретов.
Даже чуть
зарусофильтровал
от этой шири!
Русофильтво,
да другого сорта.
Вот
моя
рабочая страна,
одна
— Эй! в огромном мире.
Пуанкаре!
возьми нас?..
Черта!
Пусть еще
последний,
старый батька
содрогает
плачем
лавры звонницы.

Пусть
еще
врезается с Крецатика
волчий вой:
«Даю-беру червонцы!»
Наша сила —
правда,
ваша —
лавры и звоны.
Ваша —
дым кадильный,
наша —
фабрик дым.
Ваша мощь —
червонец,
наша —
стяг червонный.
— Мы возьмем,
займем
и победим.
Здравствуй
и прощай, седая бабушка!
Уходи с пути!
скорее!
ну-ка!
Умирай, старуха,
спекулянтка,
нáбожка.
Мы идем —
ватага юных внуков!

1924

КОМСОМОЛЬСКАЯ

Смерть —
не сметь!
Строит,
рушит,
кроит
и рвет,
тихнет,
кипит
и пенится,

гудит,
говорит,
молчит
и ревет —
юная армия:
ленинцы.

Мы
новая кровь
городских жил,
тело нив,
ткацкой идей
нить.

Ленин —
жил,
Ленин —
жив,
Ленин —
будет жить.

Залили горем.
Свезли в мавзолей
частицу Ленина —
тело.
Но тленью не взять —
ни земле,
ни золе --
первейшее в Ленине --
дело.

Смерть,
косу положи!
Приговор лжив.
С таким
небесам
не блажить.

Ленин —
жил.
Ленин —
жив.
Ленин —
будет жить.

Ленин —
жив
шаганьем Кремля —
вождя
капиталовых пленников.
Будет жить,
и будет
земля
гордиться именем:
Ленинка.

Еще
по миру
пройдут мятежи —
сквозь все межи
коммуне
путь проложить.

Ленин —
жил.
Ленин —
жив.
Ленин —
будет жить.

К сведению смерти,
старой карги,
гонящей в могилу
и старящей:
«Ленин» и «Смерть» —
слова-враги.
«Ленин» и «Жизнь» —
товарищи.

Тверже
печаль держи.
Грудью
в горе прилив.
Нам —
не ныть.
Ленин —
жил.
Ленин —
жив.
Ленин —
будет жить.

Ленин рядом.

Вот

он.

Идет

и умрет с нами.

И снова

в каждом рожденном рожден —
как сила,

как знанье,

как знамя.

Земля,

под ногами дрожки.

За все рубежи

слова —

взвивайтесь кружить.

Ленин —

жил.

Ленин —

жив.

Ленин —

будет жить.

Ленин ведь

тоже

начал с азов,—

жизнь —

мастерская геннина.

С низа лет,

с класса низов —

рвись

разгромадиться в Ленина.

Дрожите, дворцов этажи!

Биржа нажив,

будешь

битая

выть.

Ленин —

жил.

Ленин —

жив.

Ленин —

будет жить.

Ленин
больше
самых больших,
но даже
и это
диво
создали всех времен
малыши —
мы,
малыши коллектива.
Мускул
узлом вяжи.
Зубы-пожки —
в знанье —
вонзай крошить,
Ленин —
жил.
Ленин —
жив.
Ленин —
будет жить.

Строит,
рушит,
кроит
и рвет,
тихнет,
кипит
и пенится,
гудит,
молчит,
говорит
и ревет —
юная армия:
ленинцы.
Мы
новая кровь
городских жил,
тело нив,
ткацкой идей
нить.

Ленин —
жил.
Ленин —
жив.
Ленин —
будет жить.

31 марта 1924 г.

Ю Б И Л Е Й Н О Е

Александр Сергеевич,
разрешите представиться.

Маяковский.

Дайте руку!
Вот грудная клетка.
Слушайте,
уже не стук, а стоп;
тревожусь я о нем,
в щенка смиренном львенке.
Я никогда не знал,
что столько
тысяч тонн
в моей
позорно легкомыслой головенке.
Я тащу вас.
Удивляетесь, конечно?
Стиснул?
Больно?
Извините, дорогой.
У меня,
да и у вас,
в запасе вечность.
Что нам
потерять
часок-другой?!

Будто бы вода —
давайте
мчать, болтая,

будто бы весна —
свободно
и раскованно!

В небе вон
луна
такая молодая,
что ее
без спутников
и выпускать рискованно.

Я
теперь
свободен
от любви
и от плакатов.

Шкурой
ревности медведь
лежит когтист.

Можно
убедиться,
что земля поката,—
сядь
на собственные ягодицы
и катись!

Нет,
не навяжуясь в меланхолиишке черной,
да и разговаривать не хочется
ни с кем.

Только
жабры рифм
топырит учащёйно
у таких, как мы,
на поэтическом песке.

Вред — мечта,
и бесполезно грезить,
падо
весть
служебную нуду.

Но бывает —
жизнь
встает в другом разрезе,
и большое
понимаешь
через ерунду.

Пами
лирика
в штыки
неоднократно атакована,
ищем речи
точной
и нагой.

Но поэзия —
пресволовнейшая штуковина:
существует —
и ни в зуб ногой.

Например
вот это —
говорится или блеется?

Синемордое,
в оранжевых усах,
Навуходоносором
бibilейцем —

«Коопсах».
Дайте нам стаканы!
знаю
способ старый

в горе
дуть винице,
но смотрите —
из

выплывают
Red и White Star'ы
с ворохом
разнообразных виз.

Мне приятно с вами,—
рад,
что вы у столика.

Муза это
ловко
за язык вас тянет.

Как это
у вас
говаривала Ольга?..

Да не Ольга!
из письма
Онегина к Татьяне.

— Дескать,
муж у вас
дурак
и старый мерин,

я люблю вас,
будьте обязательно моя,
я сейчас же
утром должен быть уверен,
что с вами днем увижусь я.—
Было всякое:
и под окном стояние,
письма,
тряски нервное желе.

Вот
когда
и горевать не в состоянии —

это,
Александр Сергеич,
много тяжелей,

Айда, Маяковский!
Маячъ на юг!

Сердце
рифмами вымучь —

вот
и любви пришел каюк,
дорогой Владимиц.
Нет,

не старость этому имя!
Тушу
вперед стремя,

я
с удовольствием
справлюсь с двоими,
а разозлить —
и с тремя.

Говорят —
я темой и-н-д-и-в-и-д-у-а-л-е-н!
Entre nous...¹

чтоб цензор не нацыкал.

¹ Между нами (франц.). — Ред.

Передам вам —
даже говорят —
двух видали
влюбленных членов ВЦИКа.

Вот —
пустили сплетню,
тешат душу ею.

Александр Сергеич,
да не слушайте ж вы их!

Может,
я
один
действительно жалею,
что сегодня
нету вас в живых.

Мне
при жизни
с вами
сговориться б надо.

Скоро вот
и я
умру
и буду нем.

После смерти
нам
стоять почти что рядом:

вы на Пе,
а я
на эМ.
Кто меж нами?
с кем велите знаться?!

Чересчур
страна моя
поэтами нищá.

Междú нами
— вот беда —
позатесался Нáдсон.

Мы попросим,
чтоб его
куда-нибудь
на Ща!

Л Некрасов
Коля,
сын покойного Алеши,—
он и в карты,
он и в стих,
и так
неплох на вид.

Знаете его?
вот он
мужик хороший.

Этот
нам компания —
пускай стоит.
Что ж о современниках?!
Не просчитались бы,
за вас
полсотни отдав.

От зевоты
скулы
разворачивает аж!

Дорогойченко,
Герасимов,
Кириллов,
Родов —

какой
однародный пейзаж!
Ну Есенин,
мужиковствующих свора.

Смех!
Коровою
в перчатках лаечных.

Раз послушаешь...
но это ведь из хора!

Балалаечник!
Надо,
чтоб поэт
и в жизни был мастак.

Мы крепки,
как спирт в полтавском штофе.
Ну, а что вот Безыменский?!

Так...

ничего...

морковный кофе.

Правда,

есть

у нас

Асеев

Колька.

Этот может.

Хватка у него

моя.

Но ведь надо

заработать сколько!

Маленькая,

но семья.

Были б живы —

стали бы

по Лефу соредактор.

Я бы

и агитки

вам доверить мог.

Раз бы показал:

— вот так-то, мол,

и так-то...

Вы б смогли —

у вас

хороший слог.

Я дал бы вам

жиркость

и сукна,

в рекламу б

выдал

гумских дам.

(Я даже

ямбом подсююкнул,

чтоб только

быть

приятней вам.)

Вам теперь

пришлось бы

бросить ямб картавый.

Нынче
наши перья —
штык
да зубья вил,—
битвы революций
посерьезнее «Полтавы»,
и любовь
пограндиознее
онегинской любви.
Бойтесь пушкинистов.
Старомозгий Плюшкин,
перышко держа,
полезет
с перержавленным.
— Тоже, мол,
у лефов
появился
Пушкин.
Вот арап!
а состязается —
с Державиным...—
Я люблю вас,
но живого,
а не мумию.
Навели
хрестоматийный глянец.
Вы
по-моему
при жизни
— думаю —
тоже бушевали.
Африканец!
Сукин сын Данте!
Великосветский шкода.
Мы б его спросили:
— А ваши *кто* родители?
Чем вы занимались
до 17-го года? —
Только этого Дантеса бы и видели.
Впрочем,
что ж болтанье!
Сpirитизма вроде.

Так сказать,
невольник чести...
пулею сражен...

Их
и по сегодня
много ходит —
всяческих
охотников
до наших жен.

Хорошо у нас
в Стране Советов.

Можно жить,
работать можно дружно.

Только вот
поэтов,
к сожалению, нету —
впрочем, может,
это и не нужно.

Ну, пора:
рассвет
лучища выкалил.

Как бы
милиционер
разыскивать не стал.

На Тверском бульваре
очень к вам привыкли.

Ну, давайте,
подсажу
на пьедестал.

Мне бы
памятник при жизни
полагается по чину.

Заложил бы
динамиту
— ну-ка,
дрызнь!

Ненавижу
всяческую мертвчину!

Обожаю
всяческую жизнь!

С Е В А С Т О П О Л Ь — Я Л Т А

В авто
насажали
разных армян,

рванулись —
и мы в пути.

Дорога до Ялты
будто роман:
все время
надо крутить.

Сначала
авто
подступает к горам,
охаживая кряжевые.
Вот так и у нас
влюбленья пора:

наметишь —
и мчишь, ухаживая.

Авто
начинает
по солнцу трясть,
то жаренней ты,
то варённей:

так сердце
тебе
распаляет страсть,

и грудь —
раскаленной жаровней.

Привал,
шашлык,
не вяжешь лык,

с кружением
нету сладу.

У этих
у самых
гроздьев шамплы —
совсем поцелуйная сладость.

То солнечный жар,
 то ущелий тоска,—
не верь
 ни единой версийке.
Который москит
 и который мускат,
и кто персюкай
 и персики?
И вдруг вопьешься,
 любовью залив
и душу,
 и тело,
 и рот.
Так разом
 встают
 облака и залив
в разрыве
 Байдарских ворот.
И сразу
 дорога
 нудней и нудней,
в туннель,
 тормозами тужась.
Вот куча камня,
 и церковь над ней —
ужасом
 всех супружеств.
И снова
 почти
 о скалы скулой,
с боков
 побелелой глядит.
Так ревность
 тебя
 обступает скалой —
за камнем
 любовник бандит.
А дальше —
 тишь;
 крестьяне, короля,
лозой
 разделали скаты.

Так,
свой виноградник
пóтом кропя,
и я
рисую плакаты.
Потóм,
пропылясь,
проплывают года,
трусят
суетнею мышиной,
и лишь
развлекает
семейный скандал
случайно
лопнувшей шиной.
Когда ж
окончательно
это доест,
распух
от моторного гвалта —
— Стоп! —
И склепом
отдельный подъезд:
— Пожалте
червонец!
Ялта.

1924

В Л А Д И К А В К А З — Т И Ф Л И С

Только
нога
ступила в Кавказ,
я вспомнил,
что я —
грузин.

Эльбрус,
Казбек.
И еще —
как вас?!

На гору
горы грузи!
Уже
на мне
никаких рубах.
Бродягой,—
один архалух.

Уже
подо мной
такой карабах,
что Ройльсу —
и то б в похвалу.

Было:
с ордой,
загорел и носат,
старее
всего старья,
я влез,
веков девятнадцать назад,
вот в этот самый
в Дарьял.

Лезгинщик
и гитарист душой,
в многовековом поту,
я землю
прошел
и возделал мушой
отсюда
по самый Батум.

От этих дел
не вспомнят ни зги.

История —
врун даровитый,
бубнит лишь,
что были
царьки да князьки:

Ираклии,
Нины,
Давиды.

Стена —
и то
знакомая что-то.

В тахтах
вот этой вот башни —
я помню:
я вел
Руставели Шотой
с царицей
с Тамарою
шашни.

А после
катился,
костями хрустя,
чтоб в пену
Тереку врыться.
Да это что!
Любовный пустяк!

И лучше
розвилась царица.
А дальше
я видел —
в пробоину скал

вот с этих
тропиночек узких
на сакли,
звеня,
опускались войска
золотопогонников русских.

Лениво
от жизни
взбирайась ввысь,
гитарой
душу отверз —
«Мхолот шен эртс
рац, ром чемтвис
Моуция
маглидган гмертс...»¹.

И утро свободы
в кровавой росе
сегодня
встает поодаль.

¹ Лишь тебе одной все, что дано мне с высоты богом (грузинск.). — Ред.

И вот
я мечу,
я, мститель Арсен,
бомбы
5-го года.
Живились
в пажах
князёвы сынки,

а я
ежедневно
и наново
опять вспоминаю
все синяки
от плеток
всех Алихановых.

И дальние
история наша
хмурá.

Я вижу
правящих кучку.
Какие-то люди,
мутней, чем Курá,
французов чмокают в ручку.
Двадцать,

а может,
больше веков

волок
угнетателей узы я,
чтоб только
под знаменем большевиков
воскресла
свободная Грузия.

Да,
я грузин,
но не старенькой нации,
забитой
в ущелье в это.

Я —
равный товарищ
одной Федерации
грядущего мира Советов.

Еще
омрачается
день иной
ужасом
крови и яри.
Мы бродим,
мы
еще
не вино,
ведь мы еще
только мадчари.

Я знаю:
глупость — эдемы и рай!
Но если
пелось про это,
должно быть,
Грузию,
радостный край,
подразумевали поэты.
Я жду,
чтоб аэро
в горы взвились.

Как женщина,
мною
лелеема
надежда,
что в хвост
со словом «Гифлис»

вобьем
фабричные клейма.

Грузин я,
но не кинто озорной,
острящий
и пьющий после.

Я жду,
чтоб гудки
взревели зурной,
где шли
лишь кинто
да ослик.

Я чту
поэтов грузинских дар,

но ближе
всех песен в мире,
мне ближе
всех
и зурн
и гитар
лебедок
и кранов шаири.
Строй
во всю трудовую прыть,
для стройки
не жаль ломаний!
Если
даже
Казбек помешает —
срыть!
Все равно
не видать
в тумане.

1924

ТАМАРА И ДЕМОН

От этого Терека
в поэтах
истерика.
Я Терек не видел.
Большая потерийка.
Из омнибуса
вразвалку
сошел,
поплевывал
в Терек с берега,
совал ему
в пену
палку.
Что же хорошего?
Полный развал!
Шумит,
как Есенин в участке.

Как будто бы
Терек
согранизовал,
проездом в Боржом,
Луначарский.
Хочу отвернуть
заносчивый нос
и чувствую:
стыну на грани я,
овладевает
мною
гипноз,
воды
и пены играние.
Вот башня,
револьвером
небу к виску,
разит
красотою нетроганой.
Поди,
подчини ее
преду искусств —
Петру Семенычу
Когану.
Стою,
и злоба взяла меня,
что эту
дикость и выступы
с такой бездарностью
я
променял
на славу,
рецензии,
диспуты.
Мне место
не в «Красных нивах»,
а здесь,
и не построчно,
а даром
реветь
стараться в голос во весь,
срывая
струны гитарам.

Я знаю мой голос:
паршивый тон,
но страшен
силою ярой.
Кто видывал,
не усомнится,
что

я
был бы услышен Тамарой.
Царица крепится,
взвинчена хоть,
величественно
делает пальчиком.

Но я ей
сразу:
— А мне начхать,
царица вы
или прачка!
Тем более
с несен —
какой гонорар?!

А стирка —
в семью копейка.

А даром
немного дарит гора:
лишь воду —
поди,
попей-ка! —

Взъярилась царица,
к кинжалу рука.

Козой,
из берданки ударенной.
Но я ей
по-своему,
вы ж знаете как —
под ручку...
любезно...
— Сударыня!

Чего кипятитесь,
как паровоз?

Мы
общей лирики лента.

Я знаю давно вас.
 мне
 много про вас
говаривал
 некий Лермонтов.
Он клялся,
 что страстью
 и равных нет...
Таким мне
 мерещился образ твой.
Любви я заждался,
 мне 30 лет.
Полюбим друг друга.
 Попросту.
Да так,
 чтоб скала
 распостелилась в пуч.
От черта скраду
 и от бога я!
Ну что тебе Демон?
 Фантазия!
 Дух!
К тому ж староват —
 мифология.
Не кинь меня в пропасть,
 будь добра.
От этой ли
 струшу боли я?
Мне
 даже
 пиджак не жаль ободрать,
а грудь и бока —
 тем более.
Отсюда
 дашь
 хороший удар —
и в Терек
 замертво треснется.
В Москве
 больнее спускают...
 куда!
ступеньки считаешь —
 лестница.

Я кончил,
и дело мое сторона.
Н пусть,
о зверев от помарок,
про это
пишет себе Пастернак.
А мы...
соглашайся, Тамара!
История дальше
уже не для книг.
Я скромный,
и я
бастую.
Сам Демон слетел,
подслушал,
и сник,
и скрылся,
смердя
впустую.
К нам Лермонтов сходит,
презрев времена.
Сияет —
«Счастливая парочка!»
Люблю я гостей.
Бутылку вина!
Налей гусару, Тамарочка!

1924

Х У Л И Г А Н Щ И Н А

Только
солнце усядется,
канув
за опустевшие
фабричные стройки,
стонут
окраины
от хулиганов
вроде вот этой
милой тройки.

Человек пройдет
и — марш поодаль.
Таким попадись!
Ежовые лапочки!
От них ни проезда,
от них
ни женшине,
ни мужчине,
ни прохода
ни электрической лампочке.
«Мадамочка, стой!
Провожу немножко...
Клуб?
Почему?
Ломай стулья!
Он возражает?
В лопатку ножиком!
Зубы им вычити!
Помноожь им скулья!»
Гудят
в башке
пивные пары,
тощая мысль
самогоном
смята,
и в воздухе
даже не тоноры,
а целые
небоскребы
стоэтажного
мата.

Рабочий,
этим ли
кровь наших жил?!

Наши дочки
этим разве?!

Пока не поздно —
конец положки
этой горланной
и грязной язве!

1924

ПАРИЖ

ЕДУ

Билет —

щелк.

Шека —

чмок.

Свисток —

и рванулись туда мы,
куда,
как сельди,
в сети чулок
плывут
кругосветные дамы.

Сегодня приедет —

уродом-урод,
а завтра —
узнать посмейте-ка:
в одно
разубран
и город и рот —
помады,
огней косметика.

Веселых

тянет в эту вот даль.
В Париже грустить?
Едва ли!

В Париже

площадь
и та Этуаль,
а звезды —
так сплошь этаули.
Засвистывай,
трист,
врезайся и режь
сквозь Льежи
и об Брюссели.

Но нож —
и Париж,
и Брюссель,
и Льеж —
тому,
кто, как я, обрусили.
Сейчас бы
в сани
с ногами —
в снегу,
как в газетном листе б...
Свисти,
заноси снегами
меня,
прихерсонская степь...
Вечер,
поле,
огоньки,
дальняя дорога,—
сердце рвется от тоски,
а в груди —
тревога.
Эх, раз,
еще раз,
стих — в пляс.
Эх, раз,
еще раз,
рифм хряск.
Эх, раз,
еще раз,
еще много, много раз...
Люди
разных стран и рас,
копая порядков грядки,
увидев,
как я
себя протряс,
скажут:
в лихорадке.

1925

Один Париж —
 адвокатов,
 казарм,
 другой —
 без казарм и без Эррио.
 Не оторвать
 от второго глаза —
 от этого города серого.
 Со стен обещают:
 «Un verre de Koto
 donne de l'energie»¹.
 Вином любви
 каким
 и кто
 мою взбудоражит жизнь?
 Может,
 критики
 знают лучше.
 Может,
 их
 и слушать надо.
 Но кому я, к черту, попутчик!
 Ни души
 не шагает
 рядом.
 Как раньше,
 свой
 раскачивай горб
 впереди
 поэтовых арб —
 неси,
 один,
 и радость,
 и скорбь,
 и прочий
 людской скарб.
 Мне скучно
 здесь
 одному
 впереди, —

¹ Стакан Кото дает энергию (франц.). — Ред.

поэту
не надо многого, —
пусты
только
время
скорей родит
такого, как я,
быстроногого.

Мы рядом
пойдем
дорожной пыльцой.

Одно
желанье
путит:
мне скучно —
желаю
видеть в лицо,
кому это
я
попутчик?!
«Je suis un chameau»,
в плакате стоят
литеры,
каждая — фут.
Совершенно верно:
«je suis», —
это
«я»,
а «chameau» — это
«я верблюд».

Лиловая туча,
скорей нагнись,
меня
и Париж полей,
чтоб только
скорей
зацвели огни
длинной
Елисейских полей.

Во все огонь —
и небу в темь,
и в чернь промокшей пыли.

В огне
жукаами
всех систем
жужжат
автомобили.
Горит вода,
земля горит,
горит
асфальт
до жжения,
как будто
зубрят
фонари
таблицу умножения.
Площадь
красивей
и тысяч
дам-болонок.
Эта площадь
оправдала б
каждый город.
Если б был я
Вандомская колонна,
я б женился
на Place de la Concorde¹.
1925

В Е Р Л Е Н И С Е З А И

Я стукаюсь
о стол,
о шкафа остря —
четыре метра ежедневно меръ.
Мне тесно здесь
в отеле Istria —
на коротышке
rue Campagne-Première².

¹ Площадь Согласия (франц.). — Ред.

² Улица Кампань-Премьер (франц.). — Ред.

Мне жмет.

Парижская жизнь не про нас —
в бульвары

тоску рассыпай.

Направо от нас —

Boulevard Montparnasse¹,
налево —

Boulevard Raspail².

Хожу и хожу,

не щадя каблука,—
хожу

и ночь и день я,—
хожу трафаретным поэтом, пока
в глазах

не встанут виденья.

Туман — парикмахер,

он делает гениев —
загrimировал

одного

бородой —

Добрый вечер, м-р Тургенев.

Добрый вечер, м-ре Виардо.

Пошел:

«За что боролись?

А Рудин?..

А вы,

имене

возьми подпальни...»

Мне

их разговор эмигрантский

нуден,

и юркаю

в кафе от скульни.

Да.

Это он,

бот эта сова —

не тронул

великого

тлен.

¹ Бульвар Монпарнас (*франц.*). — Ред.

² Бульвар Распай (*франц.*). — Ред.

Приподнял шляпу:
«Comment ça va,
cher camarade Verlaine? ¹
Откуда вас знаю?

Вас знают все.

И вот
довелось состукаться.
Лет сорок
вы тянете
свой абсент
из тысячи репродукции.
Я раньше
vas
почти не читал,
а нынче —
вышло из моды,—
и рад бы прочесть —
не поймешь ни черта:
по-русски дрянь,—
переводы.
Не злитесь,—
со мной,
должно быть, и вы
знакомы
лишь ионастышке.
Поговорим
о пустяках путевых,
о нашинах ремеслишке.
Теперь
плохие стихи —
труха.
Хороший —
себе дороже.
С хорошим
и я б
свои потроха
сложил
под забором
тоже.

¹ Как поживаете, дорогой товарищ Верлен? (франц.) — Ред.

Бумаги
гладь
облевывая
пером,
концом губы —
поэт,
как блядь рублевая,
живет
с словцом любым.
Я жизнь
отдать
за сегодня
рад.

Какая это громада!
Вы чуете
слово —
пролетариат? —
ему
грандиозное надо.
Из кожи
надо
вылезить тут,
а нас —
к журнальчикам
премией.

Когда ж поймут,
что поэзия —
труд,
что место нужно
и время ей.
«Лицом к деревне» —
заданье дано,—
за гусли,
поэты-други!
Поймите ж —
лицо у меня
одно —
оно лицо,
а не флюгер.
А тут и ГУС
отверзает уста:
вопрос не решен.
«Который?

Поэт?

Так ведь это ж —

просто кустарь,

простой кустарь,

без мотора».

Поро

такому

в язык вонзи,

прибей

к векам кунсткамер.

Ты врешь.

Еще

не найден бензин,

что движет

сердец кусками.

Идею

нельзя

замешать на воде.

В воде

отсыреет идеяка.

Поэт

никогда

и не жил без идей.

Что я —

попугай?

индейка?

К рабочему

надо

идти серьезней —

недооценили их мы.

Поэты,

покайтесь,

во всех пока не поздно,

отглагольных рифмах.

У нас

поэт

события берет —

опишет

вчерашний гул,

а надо

рваться

в завтра,

вперед,

чтоб брюки
трещали
в шагу.
В садах коммуны
вспомнят о барде —
какие
птицы
зальются им?
Что
будет
с веток
товарищ Вардин
рассвистывать
свои резолюции?!
За глотку возьмем.
«Теперь поори,
несбитая быта морда!»
И вижу,
зависть
зажглась и горит
в глазах
моего натюрморта.
И каплет
с Верлена
в стакан слеза.
Он весь —
как зуб на сверлē.
Тут
к нам
подходит
«Я
так
напишу вас, Верлен».
Он пишет.
Смотрю,
как краска свежа.
Monsieur,
простите вы меня,
у нас
старикам,
как под хвост вожжка,
бывало
от вашего имени.

Бывало —
сезон,
наш бог — Ван-Гог,
другой сезон — Сезан.

Теперь
ушли от искусства
вбок —
не краску любят,
а сан.

Птенцы —
у них
молоко на губах,—
а с детства
к смирению падки.
Большущее имя взяли
АХРР,
а чешут
ответственным
пяtkи.

Небось
не напишут
мой портрет,—
не трут
понапрасну
кисти.
Ведь то же
лицо как будто,—
ан нет,
рисуют
кто поцекистей.

Сезан
остановился на линии,
и весь
размерсился — тронутый.
Париж,
фиолетовый,
Париж в анилине,
вставал
за окном «Ротонды».

1925

Другие здания
 лежат,
 как грязная кора,
 в воспоминании
 о Notre-Dame'е.
 Прошедшего
 возвышенный корабль,
 о время зацепившийся
 и севший на мель.
 Раскрыли дверь —
 тоски тяжелей;
 желе
 из железа —
 нелепее.
 Прошли
 сквозь монаший
 служилый елей
 в соборное великолепие.
 Читал
 письмена,
 украшавшие храм,
 про боговы блага
 на небе.
 Спускался в партер,
 подымался к хорам,
 смотрел удобства
 и мебель.
 Я вышел —
 со мной
 переводчица-дура,
 щебечет
 бантиком-ротиком:
 «Ну, как вам
 нравится архитектура?
 Какая небесная готика!»
 Я взвесил все
 и обдумал,—
 ну вот:
 он лучше Блаженного Васьки.

¹ Собор Парижской Богоматери (*франц.*). — Ред.

Конечно,
под клуб не пойдет —
темноват, —
об этом не думали
классики.

Не стиль...
Я в этих делах не мастак.

Не дался
старью на съедение.

Но то хорошо,
что уже места
готовы тебе
для сидения.

Его
ни к чему
перестраивать заново —
приладим
с грехом пополам,
а в наших —
ни стульев нет,
ни органов.

Кониёшь —
одни купола.
И лучше б оркестр,
да игра дорога —
сначала
не будет финанс,—
а то ли дело
когда орган —
играй
хоть пять сеансов.

Ясно —
репертуар иной —
фокстроты,
а не сопенье.

Нельзя же
французскому госкино
духовные песнопения.

А для рекламы —
не храм,
а краса —
старайся
во все тяжкие.

Электрореклама —
лучший фасад:
меж башен
пустить перетяжки,
да буквами разными:
«Signe de Zoro»¹,
чтоб буквы бежали,
как мышь.
Такая реклама
так заорет,
что видно
во весь Boulmiche².
А если
и лампочки
химерам вставить в глаза
в углах собора,
тогда — никто не уйдет назад:
подряд — битковые сборы!
Да, надо быть
ядром бережливым тут,
чего не попортив.
В особенности, если пойдут
громить префектуру
напротив.

1925

В Е Р С А Л Ъ

По этой
дороге,
спеша во дворец,
бесчисленные Людовики
трясли
в шелках
золоченых каретц

¹ Знак Зоро (франц.). — Ред.

² Бульвар Сен-Мишель (франц.). — Ред.

телес

десятипудовики.

И ляжек

своих

отмахав шатуны,

по ней,

марсельезой пропет,

плюя на корону,

теряя штаны,

бежал

из Парижа

Капет.

Теперь

по ней

веселый Париж

гоняет

авто рассияв,—

кокотки,

рантье, подсчитавший барыш,

американцы

и я.

Версаль.

Возглас первый:

«Хорошо жили, стервы!»

Дворцы

на тыщи спален и зал —

и в каждой

и стол

и кровать.

Таких

вторых

и построить нельзя —

хоть целую жизнь

воровать!

А за дворцом,

и сюды

и туды,

чтоб жизнь им

была

свежа,

пруды,

фонтаны,

и снова пруды

с фонтаном
из медных жаб.
Вокруг,
в поощренье
жантильных манер,
дорожки
полны статуями —
везде Аполлоны,
а этих
безруких, — Венер
так целые уймы.
А дальше —
жилья
для их Помпадурш —
Большой Трианон
и Маленький.
Вот тут
Помпадуршу
водили под душ,
вот тут
помпадуршины спаленки.
Смотрю на жизнь —
ах, как не нова!
Красивость —
аж дух выматывает!
Как будто
влип
в акварель Бенуа,
к каким-то
стишкам Ахматовой.
Я все осмотрел,
поощупал вещи.
Из всей
красотищи этой
мне
больше всего
понравилась трещина
на столике
Антуанетты.
В него
штыка революции
клин

вотнали,
пляша под распевку,
когда
санкюлоты
поволокли
на эшафот
королевку.
Смотрю,
а все же —
завидные видики!
Сады завидные —
в розах!
Скорей бы
культуру
такой же выделки,
но в новый,
машинный рбзмах!
В музеи
вот эти
лачуги б вымести!
Сюда бы —
стальной
и стекольный
рабочий дворец
миллионной вместимости,—
такой,
чтоб и глазу больно.
Всем,
еще имеющим
купоны
и монеты,
всем царям —
еще имеющимся —
в назидание:
с гильотины неба,
головой Антуанетты,
солнце
покатилось
умирать на зданиях.
Расплылась
и лип
и каштанов толпа,

слегка
листочки ворся.
Прозрачный
вечерний
закрыл
музейный Версаль.

1925

Ж О Р Е С

Ноябрь,
а народ
зажат до жары.
Стою
и смотрю долго:
на шинах машинных
мимо —
шары
катаются
в треуголках.
Войной обагренные
руки
умыв
и красные
шансы
взвесив,
коммерцию
новую
вбили в умы —
хотят
спекульнуть на Жоресе.
Покажут рабочим —
смотрите,
и он
с великими нашими
тоже.
Жорес
настоящий француз.
Пантеон
не станет же
он
тревожить.

Готовы
потоки
слезливых фраз.
Эскорт,
колесницы —
эффект!
Ни с места!
Скажите,
кем из вас
в окне
пристрелен
Жорес?
Теперь
пришли
панихидами выть.
Зорче,
рабочий класс!
Товарищ Жорес,
не дай убить
себя
во второй раз.
Не даст.
Подняв
 знамен мачтовый лес,
 спаяв
 людей
 в один
 плывущий флот,
 громовый и живой,
 по-прежнему
 Жорес
 проходит в Пантеон
 по улице Суфло.
Он в этих криках,
 несущихся вверх,
 в знаменах,
 в шагах,
 в горбах.
«Vivent les Soviets!..
 A bas la guerre!..
 Capitalisme à bas!..»¹

¹ Да здравствуют Советы!.. Долой войну!.. Долой капитализм!..
(франц.) — Ред.

И вот —
взбегает огонь
и горит,
и песня
краснеет у рта.
И кажется —
снова
в дыму
пушкари
идут
к парижским фортам.
Спиною
к витринам отжали —
и вот
из книжек
выжались
тени.
И снова
71-й год
встает
у страниц в шелестении.
Гора
на груди
могла б подняться.
Там
гневный окрик орет:
«Кто смел сказать,
что мы
в семнадцатом
предали
французский народ?
Неправда,
мы с вами,
французские блузники.
Забудьте
этот
поклеп дрянной.
На всех баррикадах
мы ваши союзники,
рабочий Крезо
и рабочий Рено».

1925

ПРОЩАНИЕ
(КАФЕ)

Обыкновенно
мы говорим:
все дороги
приводят в Рим.
Не так
у монпарнаса.
Готов поклясться.
И Рем
и Ромул,
и Ремул и Ром
в «Ротонду» придут
или в «Дом»¹.
В кафе
идут
по сотням дорог,
плывут
по бульварной реке.
Вплываю и я:
«Carçon,
un grog
americain!»²
Сначала
слова
и губы
и скулы
кафейный гомон сливал.
Но вот
пошли
вылупляться из гула
и лепятся
фразой
слова.
«Тут
проходил
Маяковский давеча,
хромой —
не видали рази?» —

¹ Кафе на Монпарнасе.

² Официант, грог по-американски! (франц.) — Ред.

«А с кем он шел?» — «С Николай Николаичем». —
«С каким?» — «Да с великим князем!» —
«С великим князем?»
Будет врать!
Он кругл
и лыс,
как ладонь.
Чекист он,
послан слюда
взорвать...» —
«Кого?» — «Буа-дю-Булонь ¹.
Езжай, мол, Мишка...»
Другой поправил:
«Вы врете,
противно слушать!
Совсем и не Мишка он,
а Павел.
Бывало, сядем —
Павлуша! —
а тут же
его супруга,
княжна,
брюнетка,
лет под тридцать...» —
«Чья?
Маяковского?
Он не женат». —
«Женат —
и на императрице». —
«На ком?
Ее же расстреляли...» —
«И он
поверил...
Сделайте милость!
Ее же Маяковский спас
за трильон!
Она же же
омолодилась!»

¹ Булонский лес (*франц.* Bois du Bologne). — Ред.

Благоразумный голос:
«Да нет,
вы врете —
Маяковский — поэт». —
«Ну, да,—
вмешалось двое саврасов,—
в конце
семнадцатого года
в Москве
чекой конфискован Некрасов
и весь
Маяковскому отдан.
Вы думаете —
сам он?
Сбондил до йот —
весь стих,
с занятными,
скраден.
Достанет Некрасова
и продает —
червонцев по десять
на день».
Где вы,
свахи?
Подымись, Агафья!
Предлагается
жених невиданный.
Видано ль,
чтоб человек
с такою биографией
был бы холост
и старел невыданный?!
Париж,
тебе ль,
столице столетий,
к лицу
эмигрантская нудь?
Смахни
за ушми
эмигрантские сплетни.
Провинция! —
не прдохнуть.

Я вышел
в раздумье —
черт его знает!
Отплюнулся —
тъфу, напасть!
Дыра
в ушах
не у всех сквозная —
другому
может занесть!
Слушайте, читатели,
когда прочтете,
что с Черчиллем
Маяковский
или
дружбу вертит
что женился я
на кулиджевской тете,
то, покорнейше прошу,—
не верьте.

1925

ПРОЩАНЬЕ

В авто,
последний франк разменяв.
— В котором часу на Марсель? —
Париж
бежит,
во всей провожая меня,
невозможной красе.
Подступай
к глазам,
сердце разлуки жижа,
мне сентиментальностью расквась!
Я хотел бы
жить и умереть в Париже,
если б не было такой земли —
Москва.

1925

СТИХИ ОБ АМЕРИКЕ

ИСПАНИЯ

Ты — я думал —
райский сад.

Ложь
подпивших бардов.

Нет —
живьем я вижу

склад
«ЛЕОПОЛЬДО ПАРДО».

Из прилипших к скал
опусься с опаской,
чистокровнейший осёл
шпарит по-испански.

Всё плебейство выбив вон,
в шляпы влезла по нос.

Стал

простецкий

гордым «телефон»

«телефонос».

Черны волос

в цветах горит.

Щеки в шаль орамив,
сотня с лишним сеньорит
машет веерами.

От медуз

воде синё.

Глуби —

вёрсты мера.

Из товарищей

«сеньор»

стал

и «кабальеро».

Кастаньеты гонят сонь.

Визги...

пенье...

страсти!

А на что мне это все?

Как собаке — здрасите!

6 МОНАХИНЬ

Воздев

печенье

картошки личек,

черней,

чем негр,

не видавший башь,

шестеро благочестивейших католичек
влезло

на борт

парохода «Эспань».

И сзади

и спереди

ровней, чем веревка.

Шали,

как с гвоздика,

с плеч висят,

а лица

обвила

белейшая гофрировка,

как в пасху

гофрируют

ножки поросят.

Пусть заполнится годами

жизни квота —

стоит

только

вспомнить это диво,

раздирает

рот

зевота

шире Мексиканского залива.

Трезвые,

чистые,

как раствор борной,

вместе,

эскадроном, садятся есть.

Пообедав, сообща

скрываются в уборной.

Одна зевнула —

зевают шесть.

Вместо известных

симметричных мест,

где у женщин выпуклость,—
у этих выем:
в одной выемке —
серебряный крест,
в другой — медали
со Львом
и с Пием.

Продрав глазенки
раньше, чем можно,--
в раю
(ужо!)
отоспятся лишек,—
оркестром без дирижера
шесть дорожных
вынимают
евангелишек.

Придешь ночью —
сидят и бормочут.
Рассвет в розы —
бормочут, стервозы!
И днем,
и ночью, и в утра, и в полдни
сидят
и бормочут,
дурь господни.

Если же
день
чуть-чуть
помрачнеет с виду,
сойдут в кабину,
12 галош
наденут вместе
и снова выйдут,
и снова
идет
елейный скулёж.

Мне б
язык испанский!
— Ангелицы.
Я б спросил, взъяненный:
напросту
ответ поэту дайте —

если
люди вы,
то кто ж
тогда

А если воробы?
вы вороны,
почему вы не летаете?

Агитпропщики!
не лезьте вон из кожи.

Весь земной обревизуйте шар.

Самый замечательный безбожник
не придумает кощунственнее шарж!

Радуйся, распятый Иисусе,
не слезай с гвоздей своей доски,
а вторично явишься —

сюда

не суйся —

всё равно:
повесишься с тоски!

1925

А Т Л А Н Т И Ч Е С К И Й О К Е А Н

Испанский камень
слепящ и бел,

а стены —
зубьями пил.

Пароход
до двенадцати
уголь ел

и пресную воду пил.

Повел пароход
окованным носом

и в час,
сопя,
вобрал якоря
и понесся.

И снова

вода

и нет присмирила сквозная,

никаких сомнений ни в ком.

И вдруг,

откуда-то —

встает черт его знает! —

из глубин

воднячий Ревком.

И гвардия капель —

воды партизаны —

взбираются

ввысь

с океанского рва,

до неба метнутся

и падают заново,

порфиру пены в клочки изодрав.

И снова

спаялись воды в одно,

волне

повелев

разбурлиться вождем.

И прет волница

с-под тучи

приказы

на дно —

и лозунги

сыплет дождем.

И волны

клянутся

всеводному Цику

оружие бурь

до победы не класть.

И вот победили —

экватору в циркуль

Советов-капель бескрайняя власть.

Последних волн небольшие митинги
шумят

о чем-то

И вот в возвышенном стиле.

океан

улыбнулся умытенький

и замер
на время

в покое и в штиле.

Смотрю за перила.

Страйтесь, приятели!

Под трапом,

нависшим

ажурным мостком,

при океанском предприятии

шотеет

над чем-то

волновий местком.

И под водой

деловито и тихо

дворцом

растет

кораллов плетенка,

чтоб легие жилось

трудовой китихе

с рабочим китом

и дошкольным китенком.

Уже

и луну

положили дорожкой.

Хоть прямо

на пузе,

как посуху, лазь.

Но враг не сунется —

в небо

сторожко

глядит,

не сморгнув,

Атлантический глаз.

То стынешь

в блеске лунного лака,

то стонешь,

облитый пеновою ран.

Смотрю,

смотрю —

и всегда одинаков,

любим,

близок мне океан.

Бовек
твой грохот
удержит ухо.
В глаза
тебя
опрокинуть рад.
По шири,
по делу,
по крови,
по духу —
моей революции
старший брат.
1925

М Е Л К А Я Ф И Л О С О Ф И Я
Н А Г Л У Б О К ИХ М Е С Т А X

Превращусь
не в Толстого, так в толстого,—
см,
пишу,
от жары балда.

Кто над морем не философствовал?
Вода.

Вчера
океан был злой,
сегодня как черт,
смиренней
голубицы на яйцах.

Какая разница!
Все течет...

Все меняется.

Есть
у воды
своя пора:
часы прилива,
часы отлива.

А у Стеклова
вода
не сходила с пера.
Несправедливо.

Дохлая рыбка
пливет одна.
Висят
плавнички,
как подбитые крылышки.
Плынет недели,
и нет ей —
ни дна,
ни покрышки.

Навстречу
медленней, чем тело тюленье,
пароход из Мексики,
а мы —
туда.

Иначе и нельзя.
Разделение
труда.

Это кит — говорят.
Возможно, и так.
Вроде рыбьего Бедного —
обхвата в три.
Только у Демьяна усы наружу,
а у кита
внутри.

Годы — чайки.
Вылетят в ряд —
и в воду —
брюшко рыбешкой пичкать.
Скрылись чайки.
В сущности говоря,
где птички?

Я родился,
рос,
кормили соскою,—
жил,
работал,
стал староват...
Вот и жизнь пройдет,
как прошли Азорские
острова.

3 июля 1925 г., Атлантический океан.

Б Л Е К Э Н Д У А Й Т

Если
Гавану
окинуть мигом --
рай-страна,
страна что надо.
Под пальмой
на ножке
стоят фламинго.

Цветет
коларио
по всей Ведадо.

В Гаване
все
разграничено четко:
у белых доллары,
у черных — нет.

Поэтому
Вилли
стоит со щеткой
у «Энри Клей энд Бок, лимитед».
Много
за жизнь
повымел Вилли —
одних пылинок
целый лес,—

поэтому
волос у Вилли
вылез,
поэтому
живот у Вилли
влез.

Мал его радостей тусклый спектр:
шесть часов поспать на боку,
да разве что
вор,
кинет портовой инспектор,
негру
цент на бегу.
От этой грязи скроешься разве?

Разве что
стали б
ходить на голове.
И то
намели бы
больше грязи:
волосьев тыщи,
а ног —
две.
Рядом
шла
нарядная Прадо.
То зякнет,
то вспыхнет
трехверстный джаз.
Дурню покажется,
что и взаправду
бывший рай
в Гаване как раз.
В мозгу у Вилли
мало извилин,
мало всходов,
мало посева.
Одно-
единственное
вызубрил Вилли
твёрже,
чем камень
памятника Масео:
«Белый
ест
ананас спелый,
чёрный —
гнилью мочепый.
Белую работу
делает белый,
чёрную работу —
чёрный».
Мало вопросов Вилли сверлили.
Но один был
закорюка из закорюк.
И когда
вопрос этот
влезал в Вилли,

щетка

падала

из Виллиных рук.

И надо же случиться,

чтоб как раз тогда

к королю сигарному

Энри Клей

пришел,

белей, чем облаков стада,
величественнейший из сахарных королей.
Негр

подходит

к туще дебелой:

«Ай бэг ёр пárдон, мистер Брэгг!

Почему и сахар,

белый-белый,

должен делать

черный негр?

Черная сигара

не идет в усах вам —

она для негра

с черными усами.

А если вы

любите

кофий с сахаром,

то сахар

извольте

делать сами».

Такой вопрос

не проходит даром.

Король

из белого

становится желт.

Вывернулся

король

сообразно с ударом,

выбросил обе перчатки

и ушел.

Цвели

кругом

чудеса ботаники.

Бананы

сплетали

сплошной кров.

Вытер

негр

о белые подштанники
руку,

с носа утершую кровь.

Негр

посопел подбитым носом,
поднял щетку,

держась за скулу.

Откуда знать ему,

что с таким вопросом
надо обращаться

в Коминтерн,

в Москву?

5 июля 1925 г., Гавана

С И Ф И Л И С

Пароход подошел,

завыл,

погудел —

и скован,

как каторжник беглый.

На палубе

700 человек людей,

остальные —

негры.

Подплыл

катерок

с одного бочкá.

Вбежав

по лесенке хромой,

осматривал

врач в роговых очках:

«Которые с трахомой?»

Припудрив прыщи

и наружность вымыв,

с кокетством себя волоча,

первый класс
дефилировал
мимо
улыбавшегося врача.
Дым
голубой
из двустволки ноздрей
колечком
единным
свив,
первым
шел
в алмазной заре
свиной король —
Свифт.
Трубка
воняет,
в метр длиной.
Попробуй к такому —
полезь!
Под шелком кальсон,
под батистом-линоб
поди,
разбери болезнь.
«Остров,
дай
воздержанья зарок!
Остановить велите!»
Но взял
капитан
под козырек,
и спущен Свифт —
сифилитик.
За первым классом
шел второй.
Исследуя
этот класс,
врач
удивлялся,
что ноздри с дырой,—
лез
и в ухо
и в глаз.

Врач смотрел,
губу своротив,
нос
под очками
взмобрица.

Врач
троих
послал в карантин
из
второклассного сборища.

За вторым
надвигался
третий класс,
черный от негритья.

Врач посмотрел:
четвертый час,
время коктейлей
питья.

— Гоните обратно
трюому в щель!

Больные —
видно и так.

Грязный вид...
И вообще —
оспа не привита.—

У негра
виски
ревмя ревут.

Валится
в трюме
Том.

Назавтра
Тому
оспу привьют —
и Том
возвратится в дом.

На берегу
у Тома
жена.

Волоса
густые, как нефть.
И кожа ее
черна и жирна,

как вакса

«Черный лев».

Пока

по работам

Том болтается,

— у Кубы

губа не дура —

жену его

прогнали с плантаций

за неотработку

натурой.

Луна

в океан

накидала монет,

хоть сбrosisься,

вбежав на пасынь!

Недели

ни хлеба,

ни мяса нет.

Недели —

одни ананасы.

Опять

пароход

привинтило винтом.

Следующий —

через недели!

Как дождаться

с голодным ртом?

— Забыл,

разлюбил,

забросил Том!

С белой

рогожу

делит! —

Не заработать ей

и не скрасть.

Везде

полисмены под зонтиком.

А мистеру Свифту

последнюю страсть

раздула

эта экзотика.

Потело
тело
под бельецом
от чернечьего мясца.
Он тыкал
доллары
в руку, в лицо
в голодные месяца
Схватились —
желудок,
пустой давно,
и верности тяжеловес.
Она
решила отчетливо:
«No!» ¹, —
и глухо сказала:
«Yes!» ²
Уже
на дверь
плечом напирал
подгнивший мистер Свифт.
Его
и ее
наверх
в номера
взвинтил
услужливый лифт.
Явился
Том
через два денька.
Неделю
спал без просыпа.
И рад был,
что есть
и хлеб,
и деньги
и что не будет оспы.
Но день пришел,
и у кож
в темноте
узор непонятный вцеплен.

¹ Нет! (англ.) — Ред.

² Да! (англ.) — Ред.

И дети
 у матери в животе
онемевали
 и слепли.
Суставы ломая
 день ото дня,
года календарные вылистаны,
и кто-то
 у тел
 половину отнял
и вытянул руки
 для милостыни.

Внимание
 к негру
 стало особое.

Когда
 собиралась паства,
морали
 наглядное это пособие
показывал
 постный пастор:

«Карает бог
 и его
 и ее

за то, что
 водила гостей!»

И слазило
 черного мяса гнилье
с гнилых
 негритянских костей.

В политику
 этим
 не думал ввязаться я.
А так —
 срисовал для видика.
Одни говорят —
 «цивилизация»,
другие —
 «колониальная политика».

ХРИСТОФОР КОЛОМБ

Христофор Колумб был Христофор
Коломб — испанский еврей.

Из журналов

1

Вижу, как сейчас,
объедки да бутылки...

В портишке,
известном
лишь кабачком,

Коломб Христофор
и другие забулдыги
сидят,
нахлобучив

шляпы бочком.

Христофора злят,
пристают к Христофору:
«Что вы за нация?
Один Сион!

Любой португалишка
даст тебе фору!»

Вконец извели Христофора —
и он

покрыл
дисканточком
щелканье пробок

(задели
в еврее
больную струну):

«Что вы лезете:
Европа да Европа!
Возьму
и открою другую
страну».

Дивятся приятели:
«Что с Коломбом?

Вина не пьет,
не ходит гулять.

Надо смотреть —
не вывихнул ум бы.
Всю ночь сидит,
раздвигает циркуля».

Мертвая хватка в молодом еврее;
думает,
не ест,
недосыпает ночей.

Лакеев
оттягивает
за фалды ливреи,
лезет
аж в спальни
королей и богачей.
«Кораллами торгуете?!

Дешевле редиски.

Сам
наловит
каждый мальчуган.
То ли дело
материк индийский:
не барахло —
бирюза,
жемчуга!

Дело верное:
вот вам карта.

Это океан,
а это —
мы.

Пунктиром путь —
и бриллиантов караты
на каждый полтинник,
данный взаймы».

Тесно торгашиам.
Томятся непоседы.

Пóсуху
и в год
не обернется караван.

И закапали
флорины и пезеты
Христофору
в продырявленный карман.

Идут,
но свистывая,
отчаянные из отчаянных.

Сзади тюрьма.
Впереди —
ни рубля.

Арабы,
французы,
испанцы
и датчане

лезли
по трапам
Коломбова корабля.

«Кто здесь Коломб?
До Индии?
В ночку!

(Чего не откроешь,
если в пузе оргаи!)

Выкатывай на палубу
белого бочку,
а там
вези
хоть к черту на рога!»

Прощанье — что надо.
Не отъезд — а помпа:
день
не просыхали
капли на усах.

Время
меряли,
вперяясь в компас.

Сияна
путали штаны и паруса.

Чуть не сшибли
маяк зажженный.

Палубные
не держатся на полу,
и вот,
быть может, отсюда,
на всех парусах
рванулся Коломб.

Единая мысль мне сегодня люба,
что эти вот волны

Коломба лапили,
что в эту же воду
с Коломбова лба

стекали

пота

усталые капли.

Что это небо

землей обмеля,

на это вот облако,

вставшее с юга,—

«На мачты, братва!

глядите —

земля!» —

орал

рассудок теряющий юнга.

И вновь

океан

с простора раскосого

вбивал

в небеса

громыхающий клип,

а после

братался

с волной сарагосской,

и вместе

пучки травы волокли.

Он

этой же бури слушал лады.

Когда ж

затихает бури задор,

мерещатся

в водах

Коломба следы,

ведущие

на Сан-Сальвадор.

Вырастают дни
в бородатые месяцы.

Луны

мрут

у мачты на колу.

Надоело океану,

Атлантический бесится.

Взбешен Христофор,

извялся Коломб.

С тысячной волны трехпарусник

съехал.

На тысячу первую взбираться

надо.

Видели Атлантический?

Тут не до смеха!

Команда ярится —

устала команда.

Шепчутся:

«Черту ввязались в попутчики.

Дома плохо?

И стол и кровать.

Знаем мы

эти

жидовские штучки —

разные

Америки

закрывать и открывать!»

За капитаном ходят по пятам.

«Вернись! — говорят,

играют мушкой.—

Какой ты ни есть

капитан-раскапитан,

а мы тебе тоже

не фунт с осьмушкой».

Лазит Коломб

на бráмсель с фóка,

глаза аж навыкате,

исхудал лицом;

пустился вовсю:

придумал фокус

со знаменитым

Колумбовым яйцом.

Что яйцо? —
игрушка на день.
И день
не отянешь
у жизни-воровки.
Галдит команда,
на Коломба глядя:
«Крепка
петля
из генуэзской веревки.
Кончай,
Христофор,
собачий век!..»
И кортики
воздух
во тьме секут.
«Земля!» —
Горизонт в туманной
кайме.
Как я вот
в растущую Мексику
и в розовый
этот
песок на заре,
вглазелись.
Не смеют надеяться:
с кольцом экватора
в медной ноздре
вставал
материк индейцев.

6

Года прошли.
В старика
шипуна
смельчал Атлантический,
гордый смолоду.
С бортов «Мажестиков»
любая шпана
плюет
в твою
седоусую морду.

Коломб!

твое пропало наследство!
В вонючих трюмах
твои потомки
с машинным адом
в горящем соседстве
лежат,
под щеку
подложивши котомки.
А сверху,
в цветах первоклассных розеток,
катаясь пузом
от танцев
до пьянки,
в уюте читален,
кино
и клозетов
катаются донны,
сеньоры
и янки.
Ты балда, Коломб,—
скажу по чести.
Что касается меня,
то я бы
лично —
я б Америку закрыл,
слегка почистил,
а потом
опять открыл —
вторично.

1925

Т Р О П И К И
(ДОРОГА ВЕРА-КРУЦ — МЕХИКО-СИТИ)

Смотрю:
вот это —
тропики.
Всю жизнь
вдыхаю наново я.
А поезд
прет торопкий

сквозь пальмы,
сквозь банановые.

Их силуэты-веники
встают рисунком тошненьким:
не то они — священники,
не то они — художники.

Аж сам
не веришь факту:
из всей бузы и вара
встает

растенье — кактус
трубой от самовара.

А птички в этой печке
красивей всякой меры.

По смыслу —
воробейчики,
а видом —
шантеклеры.

Но прежде чем
осмыслил лес

и бред,
и жар,
и день я —

и день
и лес исчез
без вечера
и без

предупрежденья.
Где горизонта борозда?!
Все линии
потеряны.

Скажи,
которая звезда
и где
глаза пантерины?

Не счел бы
лучший казначей
звезды

тропических ночей,
настолько

ночи августа
звездой набиты
нагусто.

Смотрю:

ни зги, ни тропки.

Всю жизнь

вдыхаю наново я.

А поезд прет

сквозь тропики,

сквозь запахи

банановые.

1926

М Е К С И К А

О, как эта жизнь читалась взасос!
Идешь.

Наступаешь на ноги.

В руках

превращается

ранец в лассо,

а клячи пролеток —

мустанги.

Взаправду

игрушечный

рос магазин,

ревел

пароходный гудок.

Сейчас же

бегу

в страну мокасин —

лишь сбондио

рубль и бульдог.

А сегодня —

это не умора.

Сколько миль воды

винтом нарыто, —

и встает

живьем

страна Фениамора

Купера

и Майн Рида.

Рев сирен,

кончается вода.

Мы прикручены
к земле
о локоть локоть,

И берет
набитый «Лефом» чемодан
Монтигомо
Ястребиный Коготь.
Глаз торопится слезой налияться.
Как? чему я рад?
— Ястребиный Коготь!

Я ж
твой «Бледнолицый
Брат».
Где товарищи?
чего таишься?
Помнишь,
из-за клумбы
стрелами
отравленными
били
в Кутаисе
мы
по кораблям Колумба? —
Цедит
злобно
Коготь Ястребиный,
медленно,
как треснувшая крынка:
— Нету краснокожих — истребили
гачупины с гринго.
Ну, а тех из нас,
которых
пушечные пульки
пощадили,
просвистевши мимо,
кабаками
кактусовый «пульке»
добивает
по 12-ти сантимов.
Заменила
чемоданов куча
стрелы,
от которых
никуда не деться... —

Огрызнулся
и пошел,
сомбреро нахлобучा
вместо радуги
из перьев
птицы Кэтцаль.
Года и столетья!
Как ни косите
склоненные головы дней,—
корявые камни
Мехико-сити
прошедшее вышепчут мне.
Это
было
так давно,
как будто не было.
Бабушки столетних попугаев
не запомнят.
Здесь
из зыби озера
вставал Пуэбло,
дом-коммуна
в десять тысяч комнат.
И золото
между озерных зыбей
лежало,
аж рыть не надо вам.
Чего еще,
живи,
бронзовей,
вторая сестра Элладова!
Но очень надо
за морем
белым,
чего индейцу не надо.
Жадна
у белого
Изабелла,
жена
короля Фердинанда.
Тяжек испанских пушек груз.
Сквозь пальмы,
сквозь кактусы лез

по этой дороге
из Вера-Круц
генерал
Эриандо Кортéс.
Пришел.

Вода студеная
хочет
вскипеть кипятком
от огня.

Дерутся

72 ночи
и 72 дня.
Хранят

краснокожих
двумордые идолы.
От пушек
не видно вреда.
Как мышь на сало,
прельстясь на титулы,
своих

Моктецума преда́л.
Напрасно,
разбитых
в отряды спаяв,
Гватéмок
в озерной воде
мок.

Что

против пушек
стреленка твоя!..
Под пытками
умер Гватéмок.
И вот стоим,
индеец да я,
товарищ
далекого детства.
Он умер,

чтоб в бронзе
веками стоять
наискосок от полпредства.
Внизу
громыхает
столетий орда,

и горько стоять индейцу.

Что братьям его,

рабам,

чехарда

всех этих Хуэрт

и Диэцов?..

Прошла

годов трезначная сумма.

Героика

нынче не тема.

Пивною маркой стал Моктецума,
пивной маркой —

Гватемок.

Буржуи

всё

под одно стригут.

Вконец обесцветили мир мы.

Теперь

в утешенье земле-старику
лишь две

конкурентки фирмы.

Ни лиц пожелтых,

ни солица одежд.

В какую

огромную лупу,
в какой трущобе

теперь

найдешь

сарапе и Гваделупу?

Что Рига, что Мехико —

родственный жанр.

Латвия

тропического леса.

Вся разница:

зонтик в руке у рижан,
а у мексиканцев

«Смит и Вессон».

Две Латвии

с двух земных боков —
различные собой они
лишь тем,

что в Мексике

режут быков

в театре,
а в Риге —
на бойне.
И совсем как в Риге,
около пяти,
проклиная
мамову опеку,
фордом
разжигая жениховский аппетит,
кружат дочки
по Чапультапеку.

А то,
что тут урожай фуражка,
что в пальмы земля разодета,
так это от солнца,—
сиди
и рожай
бананы и президентов.
Наверху министры
в бриллиантовом огне.

Под —
народ.
Голейший зад виднеется.
Без штанов,
во-первых, потому, что нет,
во-вторых,—
не полагается:
индейцы.

Обнищало
моктецумье племя,
и стоит оно
там,
где город
выбег
на окраины прощаться
перед вывеской
муниципальной:
«Без штанов
в Мехико-сити
вход воспрещается».

Пятьсот
по Мексике
нищих племен,

а сытый

с одним языком:
одной рукой выжимает в лимон,
одним запирает замком.

Нельзя

борьбе

в племена рассекаться,
Нищий с нищими

рядом!

Несись

по земле

из страны мексиканцев,
роднящий крик:
«Камарада!»

Голод

мастер людей равнять.

Каждый индеец,

кто гол.

В грядущем огне

родня-головня

ацтек,

метис

и креол.

Мильон не угробят богатых лопаты.

Страна!

Поди,

покори ее!

Встают

взамен одного Запаты

Гальваны,

Морено,

Карйо.

Сметай

с горбов

толстопузых обузу,

ацтек,

креол

и метис!

Скорей

над мексиканским арбузом,
багровое знамя, взметись!

20 июля 1925 г., Мехико-Сити.

БОГОМОЛЬНОЕ

Большевики

надругались над верой православной.
В храмах-клубах —
словесные бои.

Колокола без языков —
немые словно.

По божьим престолам
похабничают воробыи.

Без веры
и нравственность ищем напрасно.
Чтоб нравственным быть —
кадилами вей.

Вот Мексика, например,
потому и нравственна,
что прут
богомолки
к вратам церквей.

Кафедраль —
богомольнейший из монашьих
институтцев.

Брат «Notre-Dame'а»
на площади,—
а около,
запруженна народом,
«Площадь Конституции»,
в простонародии —
«Площадь Сокола».

Елестяющий
двенадцатицилиндровый
пакард

остановил шофер,
простоватый хлопец.
— Стой,— говорит,—
помолюсь пока...—

донна Эсперанца Хуан-де-Лопец.
Нету донны
ни час, ни полтора.

Видно, замолилась.
Веровать так веровать.
И снится шоферу —
донна у алтаря.
Парит
голубочком
душа шоферова.
А в кафедрале
бездлюдно и тихо:
не занято
в соборе
ни единого стульца.
С другой стороны
у собора —
выход
сразу
на четыре гудящие улицы.
Донна Эсперанца
выйдет как только,
к донне
дон распаленный кинется.
За угол!
Улица «Изабелла Католика»,
а в этой улице —
гостиница на гостинице.
А дома —
растет до ужина
свирипость мужика.
У дона Лопеца
терпенье лопается.
То крик,
то стон
испускает дон.
Гремит
по квартире
тигровый соло:
— На восемь частей разрежу ее! —
И, выдрав из уса
в два метра волос,
он пробует
сабли своей острье.

— Скажу ей:
«Иначе, сеньора, лягте-ка!
Вот этот
кольт
ваш сожитель до гроба!» —
И в пумовой ярости
— все-таки практика! —
сбивает
с бутылок
дюжину пробок.
Гудок в два тона —
приехала донна.
Еще
и рев
не успел уйти
за кактусы
ближнего поля,
а у шоферских
виска и груди
нависли
клинок и пистоля.
— Ответ или смерть!
Не вертеть вола!
Чтоб донна
не могла
запираться,
ответь немедленно,
где была
жена моя
Эсперанца?
— О дон Хуан!
В вас дьяволы злобятся.
Не гневайте
божью милость.
Донна Эсперанца
Хуан-де-Лопец
сегодня
усердно
молилась.

Бежала
Мексика
от буферов

горящим,
сияющим бредом.

И вот
под мостом
река или ров,

делящая
два Ларедо.
Там доблести —
скачут,
коня загоня,

в пятак
попадают
из кольта,
и скачет конь,
и брюхо коня
о колкий кактус исколото.
А здесь
железо —
не расшатать!

Ни воли,
ни жизни,
ни нерва вам!

И сразу
рябит
тюрьма решета
вам
для знакомства
для первого.

По рельсам
поезд сыпет,
под рельсой
шпалы сыпятся.

И гладью
Миссисипи
под нами миссисипится.

По бокам
поезда
не устанут сновать:
или хвост мелькнет,
или нос.
На боках поездных
страновеют слова:
«Сан Луис»,
«Мичига́н»,
«Иллинбóйс!»
Дальше, поезд,
огнями расцвеченный!
Лез,
обгоняет,
храпит.
В Нью-Йорк несется
«Твéнти сéнчери
экспресс».
Курьерский!
Рапид!
Кругом дома,
в этажи затеряв
путей
и проволок множь.
Теряй шапочку,
глаза задеря,
все равно —
ничего не поймешь!

1926

Б Р О Д В Е Й

Асфальт — стекло.
Иду и звеню.
Леса и травинки —
сбриты.
На север
с юга
идут авеню,
на запад с востока —
стриты.

А между —
(куда их строитель завез!) —

дома
невозможной длины.

Одни дома
длиною до звезд,
другие —
длиной до луны.

Янки
подошвами шлепать
ленив:

простой
и курьерский лифт.

В 7 часов
человечий прилив,
в 17 часов —
отлив.

Скряжечет механика,
звук и гам,

а люди
немые в звоне.

И лишь замедляют
жевать чуингам,
чтоб бросить:
«Мек моней?»

Мамаша
грудь
ребенку дала.

Ребенок,
с каплями из носу,
сосет
как будто
не грудь, а доллár —

занят
серъезным
бизнесом.

Работа окончена.
Тело обвей
в сплошной
электрический ветер.
Хочешь под землю —
beri собвей,

на небо —

бери элевейтер.

Вагоны

едут

и дымам под рост,

и в пятках

домовых

трутся,

и вынесут

хвост

на Бруклинский мост,

и спрячут

в норы

под Гудзон.

Тебя ослепило,

ты

осовел.

Но,

как барабанная дробь,

из тьмы

по темени:

«Кофе Максвел

гуд

ту ди ласт дроп».

А лампы

как станут

ночь копать,

ну, я доложу вам —

пламечко!

Налево посмотришь —

мамочка мать!

Направо —

мать моя мамочка!

Есть что поглядеть московской братве.

И за день

в конец не дойдут.

Это Нью-Йорк.

Это Бродвей.

Гау ду ю ду!

Я в восторге

от Нью-Йорка города.

Но
кепчонку
не сдерну с виска.
У советских
собственная гордость:
на буржуев
смотрим свысока.

6 августа 1925 г., Нью-Йорк

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В У Ю

Вид индейцев таков:
пернат,
смешон
и нездешен.
Они
приезжают
из первых веков
сквозь лязг
«Пенсильвания Стэйшен».
Им
Кулиджи
пару пальцев суют.
Снимают
их
голливудцы.
На крыши ведут
в ресторанный уют.
Под ними,
гульбу разгудевши свою,
ниьюоркские улицы льются.
Кто их радует?
чем их злят?
О чем их дума?
куда их взгляд?
Индейцы думают:
«Ишь —
капитал!
Ну и домá застроил.
Всё отберем
ни за пятак

при
социалистическом строе.

Сначала
будут
бои клокотать.

А там
ни вражды,
ни начальства!

Тиши
да гладь
да божья благодать —
сплошное луначарство.

Иными
рейсами
вспенятся воды;

пойдут
пароходы зажаривать,
сюда

из Москвы
возить переводы
произведений Жарова.

И радио —
только мгла легла —
правду-матку вызвенит.

Придет
и расскажет
в чем на весь вигвам,
красота
жизни.

И к правде
пойдет
индейская рать,
вздымаясь
знаменной уймою...»

Впрочем,
зачем
про индейцев врать?

Индейцы
про это
не думают.

Индеец думает:
«Там,
где чернó

воде
у моста в оскале,
плескался
недавно
юркий членок
деда,
искателя скальпов.
А там,
где взвит
этажей коробок
и жгут
миллион киловатт,—
стоял
индейский
военный бог,
брюхат
и головат.
И все,
что теперь
вокруг течет,
все,
что отсюда видимо,—
все это
вытворил белый черт,
заморская
белая ведьма.
Их
всех бы
в лес прогнать
в один,
и мы чтоб
с копьем гонялись...»
Поди
под такую мысль
подведи
классовый анализ.
Мысль человечья
много сложней,
чем знают
у нас
о ней.
Тряхнув
оперенья нарядную рядъ

над пастью
облошаделой,
сошли
и — пока!
пошли вымирать.

А что им
больше
делать?

Подумай
о новом агит-винте.

Винти,
чтоб задор не гас его.

Ждут.
Переводи, Коминтерн,
расовый гнев
на классовый.

1926

Б А Р Ы Ш Н Я И В У Л Ь В О Р Т

Бродвей сдуруел.
Бегня и гу́лево.

Дома
с небес обрываются
и висят.

Но даже меж ними
заметишь Вульворт.

Корсетная коробка
этажей под шестьдесят.

Сверху
разведывают
звезд взводы,

в средних
тайпистки
стрекочут бешено.

А в самом нижнем —
«Дрогс сбода,
грет энд фэймус кóмпани-нéйшенал».

А в окошке мисс
семнадцати лет
сидит для рекламы
и точит ножи.

Ржавые лезвия
фирмы «Жиллет»
кладет в патентованный
железный зажим
и гладит
и водит

Хотя кожей ремня.
усов и не полагается ей,
но водит по губке,
усы возомни, —
дескать — готово,
наточил и брей.

Наточит один до сияния лучика
и новый ржавый берет для возни.
Наточит, вынет и сделает ручкой.
Дескать — зайди,
купи, возьми.

Буржуем не сделаешься с бритвенной точки.
Бегут без бород и без выражений на лице.
Богатств буржуйских особые источники:
работай на доллар, а выдадут цент.

У меня ни усов, ни долларов, ни шевелюра, —
и в горле застревают английского огрызки.
Но я подхожу и губами шевелю —
как будто через стекло разговариваю по-английски.

«Сидиши,
глазами буржуев охлопана.

Чем обнадежена?

Дура из дур».

А девушке слышится:

«Опен,
опен ди дор»¹.
«Что тебе заботиться
о чужих усах?

Вот...

посадили...
как дуру еловую».

А у девушки
фантазия раздувает паруса,
и слышится девушке:
«Ай лоб ю»².

Я злею:

«Выйди,
окно разломай,—
а бритвы раздай
для жирных горл».

Девушке мнится:

«Май,
май гёрл»³.

Выходит

фантазия из рамок и мерок —
и я
какусь

красивый и толстый.
И чудится девушке —

влюбленный клерк
на ней

жениться

приходит с Волстрит.

И верит мисс,

от счастья дрожка,
что я —

долларовый воротила,

¹ Откройте, откройте дверь (англ. Open, open the door). — Ред.

² Я люблю вас (англ. I love you). — Ред.

³ Моя, моя милая (англ. My, my girl). — Ред.

что ей
уже
в других этажах
готовы бесплатно
и стол
и квартира.
Как врезать ей
в голову
мысли-ножи,
что русским известно другое средство,
как влезть рабочим
во все этажи
без грязи,
без свадеб,
1925 без жданий наследства.

НЕБОСКРЕБ В РАЗРЕЗЕ

Возьми
разбольшущий
дом в Нью-Йорке,
взгляни
насквозь
на зданье на то.
Увидишь —
старейшие
горки да каморки —
совсем
дооктябрьский
Елец аль Конотоп.
Первый —
ювелиры,
караул бессменный,
замок
зацепился ставням о бровь.
В сером
герои кино,
лягут полисмены,
собаками
за чужое добро.
Третий —
спят бюро-конторы.

Ест

промокашки
рабий пот.

Чтоб мир

не забыл,
хозяин который,

на вывесках

золотом

«Вильям Шпрот».

Пятый.

Подсчитав

приданные сорочки,

мисс

перезрелая

в мечте о женихах.

Вздымая грудью

ажурные строчки,

почесывает

пышных подмышек меха.

Седьмой.

Над очагом

домашним

высясь,

сили сберегши

спортом смолоду,

сэр

своей законной миссис,

узнав об измене,

кровавит морду.

Десятый.

Медовый.

Пара легла.

Счастливей,

чем Ева с Адамом были.

Читают

в «Таймсе»

отдел реклам:

«Продажа в рассрочку автомобилей».

Тридцатый.

Акционеры

сидят увлечены,

делят миллиарды,

жадны и озабочены.

Прибыль
треста
из лучшей
дохлой
Сороковой.
У спальни
В скважину
мужа
Свободный художник,
да так,
А с крыши стаял
Лишь ест
на укрывшихся
Я смотрю,
Я стремился
а приехал
1925

«изготовле́нье ветчины
чикагской собачины».
опереточной дивы.
замочную,
сосредоточив прыть,
детективы
должны
в кровати накрыть.
рисующий задочки,
думает одно:
как бы ухажнуть
за хозяйской дочкой —
чтоб хозяину
всучить полотно.
скатертный снег.
в ресторанной выси
большие крохи
уборщик-негр,
а маленькие крошки —
крысы.
и злость меня берет
за каменный фасад.
за 7000 верст вперед,
на 7 лет назад.

ПОРЯДОЧНЫЙ ГРАЖДАНИИ

Если глаз твой
врага не видит,
пыл твой выпили
нэп и торг,
если ты
отвык ненавидеть,—
приезжай
сюда,
в Нью-Йорк.
Чтобы, в мили улиц опутан,
в боли игл
фонарных ежей,
ты прошел бы
со мной
лилипутом
у подножия
их этажей.

Видишь —
вон
выгребают мусор —
на объедках
с детьми пронянчиться,
чтоб в авто,
обгоняя «бусы»,
ко дворцам
неслись бриллиантщицы.
Загляни
в окошки в эти —
здесь
наряд им вышили княжий.
Только
сталью глушит элевейтер
хрип
и кашель
 чахотки портняжей.

А хозяин —
липкий студень —
с мордой,
вспухшой на радость чирю,
у работницы
щупает груди:

«Кто понравится —
удочерю!
Двести дам
(если сотни мало),
грусть
сгоню
навсегда с очей!
Будет
жизнь твоя — Кўни-Айланд,
луна-парк
в миллиард свечей».
Уведет —
а назавтра
звёryя,
волчья бапда
бесполых старух
проститутку —
в смолу и в перья,
и опять
в смолу и в пух.
А хозяин
в отеле Плаза,
через рюмку
и с богом сблизясь,
закатил
в поднебесье глазки:
«Сэнк'ю
за хороший бизнес!»
Успокойтесь,
вне опасения
ваша трезвость,
нравственность,
дети,
барабаны
«армий спасения»
вашу
в мир
трубят добродетель.
Бог
на вас
не разукоризнится:

с вас
и маме их —
на платок,
и ему
соберет для ризницы
божий мénаджер,
поп Платон.
Клоб полиций
на вас не свалится.
Чтобы ты
добрел, как кулич,
смотрит сквозь холеные пальцы
на тебя
демократ Кулíдж.
И, елозя
по небьим сводам
стражем ханжества,
центов
и сала,
пялит
руку
ваша свобода
над тюрьмою
Элис-Айланд.

1925

В Ы З О В

Горы злобы
аж ноги гнут.
Даже
шея вспухает зобом.
Лезет в рот,
в глаза и внутрь.
Оседая,
влезает злоба.
Весь в огне.
Стою на Риверсайде.
Сбоку
фордами
штурмуют мрака форта.
Небоскребы
локти скручивают сзади,

впереди
американский флот.
Я смеюсь
над их атакою тройною.
Ники Картеры
мою
педоглядели визу.

Я
полпред стиха —
и я
с моей страной
вашим штатишкам
бросаю вызов.

Если
кроха протухла,
плеснится,
выбрось
весь
прогнивший кус.

Слюнул я,
не доев и месяца
вашу доблесть,
законы,
вкус.

Посылаю к чертям свинячим
все доллары
всех держав.

Мне бы
кончить жизнь
в штанах,
в которых начал,
ничего
за век свой
не стяжав.

Нам смешны
дозволенного зоны.
Взвод мужей,
остолбеней,
цинизмом поражен!

Мы целуем
— беззаконно! —
над Гудзоном

ваших

длинноногих жеп.

День наш

шумен.

И вечер пышен.

Шлите

сыщиков

в щелки слушать.

Пьем,

плюя

на ваш прогибщен,
ежедневную

«Белую лошадь».

Вот и я

стихом побрататься
прикатил и вбиваю мысли,
не боящиеся депортаций:
ни сослать их нельзя

и не выселить.

Мысль

сменяют слова,

а слова —

дела,

и, глядишь,

с небоскребов города,
раскачав,

в мостовые

вбивают тела —

Вандерлипов,

Рокфеллеров,

Фордов.

Но пока

доллар

всех поэм родовей.

Обирая,

лапя,

хапая,

выступает,

порфиroy надев Бродвей,

капитал —

его препохабие.

100%

Шеры...

облигации...

доллары...

центы...

В винницкой глухи тьму тараканясь,
так я рисовал,

вот так мне представлялся
стопроцентный

американец.

Родила сына одна из жен.

Отвернув

пеленочный край,
акушер демонстрирует:

Джон как Джон.

Ол райт!

Девять фунтов,

глаза —

пятачки.

Ощерив зубовный ряд,
отец

протер

роговые очки:

Ол райт!

Очень прост

воспитанья вопрос.

Ползает,

лапы марает.

Лоб расквасил —

ол райт!

нос —

ол райт!

Отец говорит:

«Бездельник Джон.

Ни цента не заработал,

а гуляет!»

Мальчишка

Джон

выходит вон.

Ол райт!

Техас,

Калифорния,

Массачузэт.

Ходит
из края в край.
Есть хлеб —
 ол райт!
 нет —
ол райт!
Подрос,
 поплевывает слону.
Трубочонка
 горит, не сгорает.
«Джон,
 на шари,
 пойдешь на луну?»
Ол райт!
Одну полюбил,
 назвал дорогой.
В азарте
 играет в рай.
Она изменила,
 ушел к другой.
Ол райт!
Наследство Джону.
 Расходов —
 рой.
Миллион
 растаял от трат.
Подсчитал,
 улыбнулся —
 найдем второй.
Ол райт!
Работа.
Хозяин —
 лапчатель гусь —
обкрадывает
 и обирает.
Джон
 намотал
 на бритый ус.
Ол райт!
Хозяин выгнал.
 Ну, что ж!
Джон
 рассчитаться рад.

Хозяин за кольт,
а Джон за нож.

Ол райт!
Джон
хозяйской пулей сражен.

Шепчутся:
«Умирает».
Джон услыхал,
усмехнулся Джон.

Ол райт!
Гроб.

Квадрат прокопали черный.
Земля —

как по крыше град.
Врыли.

Могильщик
вздохнул облегченно.

Ол райт!

Этих Джонов
нету в Нью-Йорке.

Мистер Джон,
жена его
и кот

зажирели,
спят
в своей квартирной норке,

просыпаясь
изредка
от собственных икот.

Я разбезалаберный до крайности,
но, судьбе
не любящий
учтиво кланяться,

я,
поэт,
и то американистей
самого что ни на есть
американца.

1925

А М Е Р И К А Н С К И Е Р У С С К И Е

Петров

Каплáном

за пуговицу пойман.

Штаны

заплатаны,

как балканская карта.

«Я вам,

сэр,

назначаю апóйтман.

Вы знаете,

кажется,

мой апáртман?

Тудой пройдете четыре блока,

потом

сюдой дадите крен.

А если

стриткáра набита,

около

можете взять

подземный трен.

Возьмите

с меняньем пересядки тикет

и прите спокойно,

будто в телеге.

Слезете на кóрнере

у дрогс ликет,

а мне уж

и пинту

принес бутлегер.

Приходите ровно

в сéвен оклóк,—

поговорим

про новости в городе

и проведем

по-московски вечерок,—

одни свои:

жена да бордер.
А с джабом завозитесь в течение дня
или

раздумаете вовсе —
тогда
обязательно
отзвоните меня.

Я буду

в «офисе».
«Гуд бай!» —

разнеслось окрест
и кануло
ветру в свист.

Мистер Петров
пошел на Вест,
а мистер Каплан —
на Ист.

Здесь, извольте видеть, «джаб»,
а дома
«щуп» да «цус».

С насыпи

язык
летит на полном пуске.

Скоро

только очень образованный
француз

будет

кое-что
соображать по-русски.

Горланит

по этой Америке самой
стоязыкий
народ-оголтец.

Уж если

Одесса — Одесса-мама,
то Нью-Йорк —
Одесса-отец.

БРУКЛИНСКИЙ МОСТ

Издай, Кулайдж,
радостный клич!
На хорошее
и мне не жалко слов.
От похвал
красней,
как флага нашего материка,
хоть вы
и разъюнайтед стетс
оф
Америка.
Как в церковь
идет
помешавшийся верующий,
как в скит
удаляется,
так я строг и прост,—
в вечерней
сереющей мерещи
вхожу,
смиренный, на Бруклинский мост.
Как в город
в сломанный
прет победитель
на пушках — жерлом
жирафу под рост —
так; пьяный славой,
так жить в аппетите,
влезаю,
гордый,
на Бруклинский мост.
Как глупый художник
в мадонну музея
вонзает глаз свой,
влюблен и остр,
так я,
с поднебесья,
смотрю в звезды усеян,
на Нью-Йорк сквозь Бруклинский мост.

Нью-Йорк

до вечера тяжек

забыл,

и душен,

что тяжко ему

и высоко,

и только одни

домовьи души

встают

в прозрачном свечении окон.

Здесь

еле зудит

элевейтеров зуд.

И только

по этому

тихому зуду

поймешь —

поездá

с дребезжаньем ползут,

как будто

в буфет убирают посуду.

Когда ж,

казалось, с-под речки начатой

развозит

с фабрики

сахар лавочник,—

то

под мостом проходящие мачты

размером

не больше размеров булавочных.

Я горд

вот этой

стальною милей,

живьем в ней

мои видения встали —

борьба

за конструкции

вместо стилей,

расчет суровый

гаек

и стали.

Если

придет

окончание света —

планету
хаос
разделает в лоск,
и только
один останется
этот
над пылью гибели вздыбленный мост,
то,
как из косточек,
тоньше иголок,
тучнеют
в музеях стоящие
ящеры,
так
с этим мостом
столетий геолог
сумел
воссоздать бы
дни настоящие.
Он скажет:
— Вот эта
стальная лапа
соединяла
моря и прерии,
отсюда
Европа
рвалась на Запад,
пустив
по ветру
индейские перья.
Напомнит
машину
ребро вот это —
сообразите,
хватит рук ли,
чтоб, став
стальной ногой
на Мангэтен,
к себе
за губу
притягивать Бруклин?
По проводам
электрической пряди —

я зпаю —

эпоха

после пара —

здесь

люди

уже

орали по радио,

здесь

люди

уже

взлетали по аэро.

Здесь

жизнь

была

одним — беззаботная,

другим —

голодный

протяжный вой.

Отсюда

бездработные

в Гудзон

кидались

вниз головой.

И дальше

картина моя

без загвоздки

по струнам-канатам,

аж звездам к ногам.

Я вижу —

здесь

стоял Маяковский,

стоял

и стихи слагал по слогам.—

Смотрю,

как в поезд глядит эскимос,

впиваюсь,

как в ухо впивается клещ.

Бруклинский мост —

да...

Это вещь!

Запретить совсем бы
ночи-негодяйке
выпускать
из пасти
столько звездных жал.

Я лежу,—
палатка
в Кемпе «Нит гедайге».

Не по мне все это.

Не к чему...
и жаль...

Взвоют
и замрут сирены над Гудзоном,
будто бы решают:
выть или не выть?

Лучше бы не выли.
Пассажирам сонным
надо просыпаться,
думать,
есть,
любить...

Прямо
перед мордой
пролетает вечность —
бесконечночасый распустила хвост.
Были б все одеты,
и в бельё, конечно,
если б время

ткало
не часы,
а холст.

Впрячь бы это
время
в приводной бы ремень,—
спустят
с холостого —
и чеши и сыпь!

Чтобы
не часы показывали время,
а чтоб время
честно
двигало часы.

Ну, американец...
тоже...
чем гордится.

Втер очки Нью-Йорком.
Видели его.

Сотня этажишек
в небо городится.
Этажи и крыши —
только и всего.

Нами
через пропасть
прямо к коммунизму
перекинут мост,
длиною —
всё сто лет.

Что ж,
с мостища с этого
глядим с презрением вниз мы?
Кверху нос задрали?
загордились?

Нет.

Мы
ничьей башки
мостами не морочим.
Что такое мост?
Приспособленье для простуд.

Тоже...
без домов
не проживете очень
на одном
таком
возвышенном мосту.

В мире социальном
те же непорядки:
три доллара за день,
на —
и отвязись.

А у Форда сколько?
Что играться в прятки!
Ну, скажите, Кўлидж,—
разве это жизнь?

Много ль
человеку
(даже Форду)
надо?

Форд —
в миллионах фордов,
сам же Форд —
в аршин.

Мистер Форд,
для вашего,
для высохшего зада
разве мало
двух
просторнейших машин?

Лишек —
в М. К. Х.
Повесим ваш портретик.

Монумент
и то бы
вылепили с вас.
Кланялись бы детки,
vas
случайно встретив.

Мистер Форд —
отдайте!
Даст он...
Черта с два!

За палаткой
мир
лежит угрюм и темен.
Вдруг
ракетой сон
звенит в унынье в это:
«Мы смело в бой пойдем
за власть Советов...»
Ну, и сон приснит вам
 полночь-негодяйка!

Только сон ли это?
Слишком громок сон.
Это
комсомольцы
Кемпа «Нит гедайге»
песней
заставляют
плыть в Москву Гудзон.

20 сентября 1925 г., Нью-Йорк

Д О М О Й!

Уходите, мысли, восвояси.
Обнимись,
души и моря глубь.
Тот,
кто постоянно ясен,—
тот,
но-моему,
просто глуп.
Я в худшей каюте
из всех кают —
всю ночь надо мною
ногами кают.
Всю ночь,
покой потолка возмутив,
несется танец,
стонет мотив:
«Маркита,
Маркита,
Маркита моя,
зачем ты,
Маркита,
не любишь меня...»
А зачем
любить меня Марките?!

У меня
и франков даже нет.
А Маркиту
(толечко моргните!)

за сто франков
препроводят в кабинет.
Небольшие деньги —
поживи для шику —
нет,
интеллигент,
взбивая грязь вихров,
будешь всучивать ей
швейную машинку,
по стежкам
строчащую
шелкá стихов.

Пролетарии
приходят к коммунизму
низом —
низом шахт,
серпов
и вил,—
я ж
с небес поэзии
бросаюсь в коммунизм,
потому что
нет мне
без него любви.

Все равно —
сослся сам я
или послан к маме —
слов ржавеет сталь,
чернеет баса медь.

Почему
под иностранными дождями
вымокать мне,
гнить мне
и ржаветь?

Вот лежу,
уехавший за воды,
ленью
еле двигаю
моей машины части.

Я себя
советским чувствую
 заводом,
вырабатывающим счастье.

Не хочу,
чтоб меня, как цветочек с полян,
рвали
после служебных тягот.

Я хочу,
чтоб в дебатах
потел Госплан,
мне давая
задания на год.

Я хочу,
чтоб над мыслью
времен комиссар
с приказанием нависал.

Я хочу,
чтоб сверхставками спеца
получало
любовищу сердце.

Я хочу,
чтоб в конце работы
заком
запирал мои губы
замком.

Я хочу,
чтоб к штыку
приравняли перо.

С чугуном чтоб
и с выделкой стали
о работе стихов,
от Политбюро,
чтобы делал
доклады Сталин.

«Так, мол,
и так...
И до самых верхов
прошли
из рабочих нор мы:
в Союзе
Республик
пониманье стихов
выше
довоенной нормы...»

1925

Вы ушли,
как говорится,
в мир иной.

Пустота...
Летите,
в звезды врезываясь.

Ни тебе аванса,
ни пивной.

Трезвость.

Нет, Есенин,
это
не насмешка.

В горле
горе комом —
не смешок.

Вижу —
врезанной рукой помешкав,
собственных
костей
качаете мешок.

— Прекратите!
Бросьте!
Дать, Вы в своем уме ли?
чтоб щеки
заливал
смертельный мел?!

Вы ж
такое
загибать умели,
что другой
на свете
не умел.

Почему?
Зачем?
Недоуменье смяло.

Критики бормочут:
— Этому вина
то...

да сё...
а главное,
что смычки мало,

в результате

много пива и вина.—

Дескать,

заменить бы вам

богему

классом,

класс влиял на вас,

и было б не до драк.

Ну, а класс-то

жажду

заливает квасом?

Класс — он тоже

выпить не дурак.

Дескать,

к вам приставить бы

кого из напостóв —

стали б

содержанием

премного одарённей.

Вы бы

в день

писали

строк по сто,

утомительно

и длинно,

как Доронин.

А по-моему,

осуществись

такая бредь,

на себя бы

раньше наложили руки.

Лучше уж

от водки умереть,

чем от скуки!

Не откроют

нам

причин потери

ни петля,

ни ножик перочинный.

Может,

скажись

чернила в «Англете»,

вены

резать

не было б причины.

Подражатели обрадовались:
бис!

Над собою

чуть не взвод

расправу учинил.

Почему же

увеличивать

число самоубийств?

Лучше

увеличь

изготовление чернил!

Навсегда

теперь

язык

в зубах затворится.

Тяжело

и неуместно

разводить мистерии.

У народа,

у языковорца,

умер

звонкий

забулдыга подмастерье.

И несут

стихов заупокойный лом,

с прошлых

с похорон

не переделавши почти,

В холм

тупые рифмы

загонять колом —

разве так

поэта

надо бы почтить?

Вам

и памятник еще не слит,—

где он,

бронзы звон

или гранита грань? —

а к решеткам памяти
уже
понанесли
посвящений
и воспоминаний дрянь.
Ваше имя
в платочки рассоплено,
ваше слово
слюнявит Собинов
и выводит
под березкой дохлой —
«Ни слова,
о дру-уг мой,
ни вздо-о-о-о-ха».

Эх,
поговорить бы иначе
с этим самым
с Леонидом Лоэнгринычем!
Встать бы здесь
гримящим скандалистом:
— Не позволю
мямлить стих
и мять! —

Оглушить бы
их
трехпалым свистом
в бабушку
и в бога душу мать!
Чтобы разнеслась
бездарнейшая побгань,
раздувая
темь
пиджачных парусов,
чтобы
врассыпную
разбежался Коган,
встреченных
увеча
никами усов.

Дрянь
пока что
мало поредела.

Дела много —
только поспевать.

Надо
жизнь
сначала переделать,
переделав —
можно воспевать.

Это время —
трудновато для пера
по скажите
вы,
калеки и калекши,
где,
когда,
какой великий выбирал
пуТЬ,
чтобы протоптанней
и легше?

Слово —
полководец
человечьей силы.

Марш!
Чтоб время
сзади
ядрами рвалось.

К старым дням
чтоб ветром
относило
только
путаницу волос.
Для веселия
планета наша
мало оборудована.

Надо
вырвать
радость
у грядущих дней.
В этой жизни
помереть
не трудно.
Сделать жизнь
значительно трудней.

МАРКИЗМ — ОРУЖИЕ,
ПРИМЕНЯЙ УМЕЮЧИ ОГНЕСТРЕЛЬНЫЙ МЕТОД.
 МЕТОД ЭТОТ!

Штыками
двух столетий стык
закрепляет
рабочая рать.
А некоторые
употребляют штык,
чтоб им
в зубах ковырять.
Все хорошо:
поэт поет,
критик
занимается критикой.
У стихотворца —
корытце свое,
у критика —
свое корытико.
Но есть
не имеющие ничего,
окромя
красивого почерка.
А лезут
в книгу,
хваля
из пушки и громя
критического очерка.
А чтоб
имелось
научное лицо
у этого
вздора злопыханного —
всегда
на столе
покрытый пыльцой
неразрезанный том
Плеханова.
Зазубрит фразу
(ишь, ребятье!)
и ходит за ней,
как за пяней.

Бытье —

а у этого — еда и питье
определяет сознание.

Перелистывая

авторов

на букву «ЭЛ»,

фамилию

Лермонтова

встретя,

критик выясняет,

что он ел

на первое

и что — на третье.

— Шампанское или?

Выпивал, допустим.

Налет буржуазный густ.

А его

любовь

к маринованной капусте

доказывает

помещичий вкус.

В Лермонтове, например,

чтоб далеко не идти,

смысла

не больше,

чем огурцов в акации.

Целые

хоры

небесных светил,

и ни слова

об электрификации.

Но,

очищая ядро

от фразерских корок,

бобы —

от шелухи лиризма,

признаю,

что Лермонтов

близок и дорог

как первый

обличитель либерализма.

Массам ясно,

как ни хитри,

что, милюковски юля,
светила
у Лермонтова
ходят без ветрил,
а некоторые —
и без руля.
Но так ли
разрабатывать
важнейшую из тем?
Индивидуализмом пичкать?
Демоны в ад,
а духи —
в эдем?
А где, я вас спрашиваю, смычка?
Довольно
этих
божественных легенд!
Любою строчкой вырванной
Лермонтов
доказывает,
что он —
интеллигент,
к тому же
деклассированный!
То ли дело
наш Степа
— забыл,
к сожалению,
у него
фамилию и отчество,—
в стихах
Коминтерна топот...
Вот это —
настоящее творчество!
Степа —
кирпич
какого-то здания,
не ему
разговаривать вкось и вкривь.
Степа
творит,
не затемняя сознания,
без волокиты аллитераций
и рифм.

У Степы

незнание
заменяет точек и запятых
инстинктивный
потому что массовый разум,
батрачка — мамаша их,
а папаша — рабочий и крестьянин сразу —
В результате вещь ясней помидора
обволакивается туманом сизым,
и эти горы нехитрого вздора
некоторые называют марксизмом.
Не говорят о веревке
в журнале повешенного,
не изменить шаблона прилежного.
Лежнев зарадуется — «он про Вешнева».
Вешнев — «он про Лежнева».

19 апреля 1926 г.

РАЗГОВОР С ФИНИНСПЕКТОРОМ
О ПОЭЗИИ

Гражданин фининспектор!
Спасибо...
У меня к вам
дело
Простите за беспокойство.
не тревожьтесь...
я постою...
деликатного свойства:

о месте
поэта
в рабочем строю.
В ряду
имеющих
лабазы и угодья
и я обложен
и должен караться.
Вы требуете
с меня
пятьсот в полугодие
и двадцать пять
за неподачу деклараций.
Труд мой
любому
труду
родствен.
Взгляните —
сколько я потерял,
какие
издержки
в моем производстве
и сколько тратится
на материал.
Вам,
конечно, известно явление «рифмы».
Скажем,
строчка
окончилась словом
«отца»,
и тогда
через строчку,
слога повторив, мы
ставим
какое-нибудь:
ламца́дрица-ца.
Говоря по-вашему,
рифма —
вексель.
Учесть через строчку! —
вот распоряжение.
И ищешь
мелочишку суффиксов и флексий

в пустующей кассе
склонений
и спряжений.

Начнешь это
слово
в строчку всовывать,
а оно не лезет —
ножом и сломал.
Гражданин фининспектор,
честное слово,
поэту
в копеечку влетают слова.
Говоря по-нашему,

рифма —
бочка.

Бочка с динамитом.
Строчка —
фитиль.
Строка додымит,
взрывается строчка,—
и город
на воздух
строфой летит.

Где найдешь,
на какой тариф,
рифмы,
чтоб враз убивали, нацелясь?
Может,
пяточ
небывалых рифм
только и остался
что в Венесуэле.

И тянет
меня
в холода и в зной.

Бросаюсь,
опутан в авансы и в займы я.
Гражданин,
учтите билет проездной!
— Поэзия
—вся! —
езды в незнаное.

Поэзия —

та же добыча радия.
В грамм добыча,
в год труды.
Изводишь
единого слова ради
тысячи тонн
словесной руды.

Но как
испепеляющее
рядом слов этих жжение
с тлением
слова-сырца.

Эти слова
приводят в движение
тысячи лет
миллионов сердца.

Конечно,
различны поэтов сорта.
У скольких поэтов
легкость руки!

Тянет,
как фокусник,
строчку изо рта
и у себя
и у других.

Что говорить
о лирических кастратах?!

Строчку
чужую
вставит — и рад.
Это
обычное

воровство и растрата
среди охвативших страну растрат.

Эти
сегодня
стихи и оды,
в аплодисментах
ревомые ревмя,
войдут
в историю
как накладные расходы

на сделанное

нами —

Пуд,

двумя или тремя.

как говорится,

соли столовой

съешь

и сотней папироc клуби,

чтобы

добыть

драгоценное слово

из артезианских

людских глубин.

И сразу

ниже

налога рост.

Скиньте

с обложенья

нуля колесо!

Рубль девяносто

сотня папироc,

рубль шестьдесят

столовая соль.

В вашей анкете

вопросов масса:

— Были выезды?

Или выездов нет? —

А что,

если я

десяток пегасов

загнал

за последние

15 лет?!

У вас —

в мое положение войдите —

про слуг

и имущество

с этого угла.

А что,

если я

народа водитель

и одновремено —

народный слуга?

Класс
гласит
из слова из нашего,
а мы,
пролетарии,
двигатели пера.
Машину
души
с годами изнашивашь.
Говорят:
— в архив,
исписался,
пора! —
Все меньше любится,
все меньше дерзается,
и лоб мой
время
с разбега крушит.
Приходит
страшнейшая из амортизаций —
амортизация
сердца и души.
И когда
это солнце
разжиравшим боровом
взойдет
над грядущим
без нищих и калек,—
я
уже
сгнило,
умерший под забором,
рядом
с десятком
моих коллег.
Подведите
мой
посмертный баланс!
Я утверждаю
и — знаю — не нальгу:
на фоне
сегодняшних
дельцов и пролаз

я буду

— один! —

в непролазном долгу.

Долг наш —

реветь

медногорлой сиреной

в тумане мещанья,

у бурь в кипеньи.

Поэт

всегда

должник вселенной,

платящий

на гбре

проценты

и пени.

Я

в долгу

перед бродвейской лампионией,

перед вами,

багдадские небеса,

перед Красной Армией,

перед вишнями Японии —

перед всем,

про что

не успел написать.

А зачем

вообще

эта шапка Сене?

Чтобы — целься рифмой

и ритмом ярись?

Слово поэта —

ваše воскресение,

ваše бессмертие,

гражданин канцелярист.

Через столетья

в бумажной раме

возьми строку

и время верни!

И встанет

день этот

с финансаторами,

с блеском чудес

и с вонью чернил.

Сегодняшних дней убежденный житель,

выправьте
в энкапеэс
на бессмертье билет
и, высчитав
действие стихов,
разложите
заработок мой
на триста лет!
Но сила поэта
не только в этом,
что, вас
вспоминая,
в грядущем икнут.
Нет!
И сегодня
рифма поэта —
ласка,
и лозунг,
и штык,
и кнут.
Гражданин фининспектор,
я выплачу пять,
все
нули
у цифры скрестя!
Я
по праву
требую пядь
в ряду
беднейших
рабочих и крестьян.
А если
вам кажется,
что всего делёв —
это пользоваться
чужими словесами,
то вот вам,
товарищи,
мое стило,
и можете
писать
сами!

1926

П Е Р Е Д О В А Я П Е Р Е Д О В О Г О

Довольно
сонной,
расслабленной праздности!

Довольно
козырянья
в тысячи рук!

Республика искусства
в смертельной опасности —
в опасности краска,
слово,

Громы
зажаты
звук.

а слово
зовется
у слова в кулаке,—

только с тем,
чтоб кланялось
событию

чтоб слово плелось
у статей в хвосте.

Брось дрожать
за шкуры скряжьи!

Вперед забегайте,
не боясь суда!

Зовите рукой
с грядущих кряжей:
«Пролетарий,
сюда!»

Полезли
одиночки
из миллионной давки —
такого, мол,
другого
не увидишь в жисть.

Каждый
рад
подставить бородавки
под увековечливую
ахровскую кисть.

Вновь
своя рубаха
ближе к телу?
А в нашей работе
то и ново,
что в громаде,
класс которую сделал,
не важно
сделанное
Петровым и Ивановым.

Разнообразны
души наши.
Для боя — гром,
для кровати —
шепот.

А у нас
для любви и для боя —
марши.
Извольте
под марш
к любимой шлепать!

Почему
теперь
про чужое поем,
изъясняемся
ариями
Альфреда и Травиаты?
И любви
придумаем
слово свое,
из сердца сделанное,
а не из ваты.

В годы голода,
стужи-злюки
разве
филармонии играли окрест?
Нет,
свои,
баррикадные звуки
нашел
гудков
многогорлый оркестр.

Старю
революцией
поставлена точка.
Живите под охраной
музейных оград.
По мы
не предадим
кустарям-одиночкам
пи лозунг,
ни сирену,
ни киноаппарат.
Наша
в коммуну
не иссякнет вера.
Во имя коммуны
жмись и мнись,
Каждое
сегодняшнее дело
меряй,
как шаг
в электрический,
в машинный коммунизм.
Довольно домашней,
кустарной праздности!
Довольно
изделий ловких рук!
Федерация муз
в смертельной опасности —
в опасности слово,
краска
и звук.

1926

ПОСЛАНИЕ ПРОЛЕТАРСКИМ ПОЭТАМ

Товарищи,
позвольте
без позы,
без маски —
как старший товарищ,
неглупый и чуткий,
поразговариваю с вами,
товарищ Безыменский,

товарищ Светлов,
товарищ Уткин.
Мы спорим,
аж глотки просят лужения,
мы
задыхаемся
от эстрадных побед,
а у меня к вам, товарищи,
деловое предложение:
давайте
устроим
веселый обед!
Расстелим внизу
комplименты ковровые,
если зуб на кого —
отпилим зуб;
розданные
Луначарским
венки лавровые —
сложим
в общий
товарищеский суп.
Решим,
что все
по-своему правы.
Каждый поет
по своему
голоску!
Разрежем
общую курицу славы
и каждому
выдадим
по равному куску.
Бросим
друг другу
шипильки подсовывать,
разведем
изысканный
словесный ажур.
А когда мне
товарищи
предоставят слово —

я это слово возьму
и скажу:
— Я кажусь вам
академиком
с большим задом,
один, мол, я
жрец
поэзий непролазных.

А мне
в действительности
единственное надо —
чтоб больше поэтов
хороших
и разных.

Многие
пользуются
напостбовской тряскою,
с тем
чтоб себя
обозвать получше.

— Мы, мол, единственные,
мы пролетарские...—
А я, по-вашему, что —
валютчик?

Я
по существу
мастеровой, братцы,
не люблю я
этой
философии нудовой.

Засучу рукавчики:
работать?
драться?

Сделай одолжение,
а ну, давай!

Есть
перед нами
огромная работа —
каждому человеку
нужное стихчество.
Давайте работать
до седьмого пота

над поднятием количества,
над улучшением качества.

Я меряю
по коммуне
в коммуну
душа
потому влюблена,
что коммуна,
по-моему,
огромная высота,
что коммуна,
по-моему,
глубочайшая глубина.

А в поэзии
нет
ни друзей,
ни родных,
по протекции
не свяжешь
рифм лычкй.

Оставим
распределение
орденов и наградных,
бросим, товарищи,
наклеивать ярлычки,

Не хочу
похвастать
мыслью новенькой,
но по-моему —
утверждаю без авторской спеси —
коммуна —
это место,
где исчезнут чиновники
и где будет
много
стихов и песен.

Стоит
изумиться
рифмочек парой нам —
мы
почитаем поэтика гением.

Одного
называют
красным Байроном,
другого —
самым красным Гейнем.
Одного боюсь —
за вас и сам,—
чтоб не обмелели
наши души,
чтоб мы
не возвели
в коммунистический сан
плоскость раешников
и ерунду частушек.
Мы духом одно,
понимаете сами:
по линии сердца
нет раздела.
Если
вы не за нас,
а мы
не с вами,
то черта ль
нам
остается делать?
А если я
вас
когда-нибудь крою
и на вас
замахивается
перо-рука,
то я, как говорится,
добыл это кровью,
я
больше вашего
рифмы строгал.
Товарищи,
бросим
замашки торгашни
— моя, мол, поэзия —
мой лабаз! —

все, что я сделал,
все это ваше —
рифмы,
темы,
дикция,
бас!

Что может быть
капризней славы
и пепельней?

В гроб, что ли,
брать,
когда умру?
Наплевать мне, товарищи,
в высшей степени
на деньги,
на славу
и на прочую муру!

Чем нам
делить
поэтическую власть,
сгрудим
нежность слов
и слова-бичи,
и давайте
без завистей
и без фамилий
клость
в коммунову стройку
слова-кирпичи.

Давайте,
товарищи,
шагать в ногу.

Нам не надо
брюзжащего
лысого парика!
А ругаться захочется —
врагов много
по другую сторону
красных баррикад.

ТОВАРИЩУ НЕТТЕ —
ПАРОХОДУ И ЧЕЛОВЕКУ

Я недаром вздрогнул.

Не загробный вздор.

В порт,

горящий,

как расплавленное лето,

разворачивался

и входил

товарищ «Теодор

Нетте».

Это — он.

Я узнаю его.

В блюдечках-очках спасательных кругов.

— Здравствуй, Нетте!

Как я рад, что ты живой

дымной жизнью труб,

канатов

и крюков.

Подойди сюда!

Тебе не мелко?

От Батума,

чай, котлами покипел...

Помнишь, Нетте,—

в бытность человеком

ты пивал чай

со мною в дипкупе?

Медлил ты.

Захрапывали сони.

Глаз

кося

в печати сургуча,

напролет

болтал о Ромке Якобсоне

и смешно потел,

стихи уча.

Засыпал к утру.

Курок

аж палец свел...

Суньтесь —
кому охота!
Думал ли,
что через год всего
встречусь я
с тобою —
с пароходом.
За кормой луница.
Ну и здороно!
Залегла,
просторы на́двоем порвав.
Будто навек
за собой
из битвы коридоровой
тянешь след героя,
светел и кровав.
В коммунизм из книжки
верят средне.
«Мало ли
что можно
в книжке намолоть!»
А такое —
оживит внезапно «бредни»
и покажет
коммунизма
естество и плоть.
Мы живем,
зажатые
железнай клятвой.
За нес —
на крест,
и пулею чешите:
это —
чтобы в мире
без Россий,
без Латвий,
жить единым
человечьим общежитьем.
В наших жилах —
кровь, а не водица.
Мы идем
сквозь револьверный лай,

чтобы,
уминая,
воплотиться
в пароходы,
в строчки
и в другие долгие дела.

Мне бы жить и жить,
сквозь годы мчась.
Но в конце хочу —
других желаний нету —
встретить я хочу
мой смертный час
так,
как встретил смерть
товарищ Нетте.

15 июля 1926 г., Ялта

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ПРИВЫЧКИ

Я
два месяца
шатался по природе,
чтоб смотреть цветы
и звезд огнишки.
Таковых не видел.
Вся природа вроде
телефонной книжки.
Везде —
у скал,
на массивном грузе
Кавказа
и Крыма скалоликого,
на стенах уборных,
на небе,
на пузе
лошади Петра Великого,
от пыли дорожной
до гор,
где грозды

гримят,
грома потрясав,—
везде
отрывки стихов и прозы,
фамилии
и адреса.
«Здесь были Соня и Ваня Хайлор.
Семейство ело и отдыхало».
«Коля и Зина
соединили души».

Стрела
и сердце
в виде груши.
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Комсомолец Петр Парулайтис».
«Мусью Гога,
парикмахер из Таганрога».
На кипарисе,
стоящем века,
весь алфавит:
a б в г д е ж з к.

А у этого
от лазанья
талант иссяк.
Превыше орлиных зон
просто и мило:
«Исаак
Лебензон».
Особенно
людей
винить не будем.
Таким нельзя
без фамилий и дат!
Всю жизнь канцелярствовали,
привыкли люди.
Они
и на скалу
глядят, как на мандат.
Такому,
глядящему
за чаем
как солнце
садится в чаще,

с балкона,

ни восход,
ни закат,
а даже солнце —
входящее
и исходящее.

Эх!
Поставь меня
часок
на место Рыкова,
я б
к весне
декрет железный выковал:
«По фамилиям
на стволах и скалах
узнать
подписавшихся малых.
Каждому
в лапки
дать по тряпке.
За спину ведра —
и марш бодро!
Подписавшимся
и Колям
и Зинам
собственные имена
стирать бензином.
А чтоб энергия
не пропадала даром,
кстати и Ай-Петри
почистить скрипидаром.
А кто
до того
к подписям привык,
что снова
к скале полез, —
у этого
навсегда
закрывается лик-
без».
Под декретом подпись
и росчерк броский —
Владимир Маяковский.

1926. Ялта, Симферополь, Гурзуф, Алупка

РАЗГОВОР НА ОДЕССКОМ РЕЙДЕ
ДЕСАНТНЫХ СУДОВ:
«СОВЕТСКИЙ ДАГЕСТАН» И
«КРАСНАЯ АБХАЗИЯ»

Перья-облака,
закат расканарейте!
Опускайся,
южной ночи гнет!
Пара
пароходов
говорит на рейде:
то один моргнет,
а то
другой моргнет.
Что сигналят?
Напрягаю я
морщины лба.
Красный раз...
угаснет,
и зеленый...
Может быть,
любовная мольба.
Может быть,
ревнует разозленный.
Может, просит:
— «Красная Абхазия»!
Говорит
«Советский Дагестан».
Я устал,
один по морю лазая,
подойди сюда
и рядом стань.—
Но в ответ
коварная
она:
— Как-нибудь
один
живи и грейся.
Я
теперь
по мачты влюблена

в серый «Коминтерн»,
трехтрубный крейсер.

— Все вы,
бабы,
трясогузки и канальи...

Что ей крейсер,
дылда и пачкун? —

Поскулил
и снова засигналил:

— Кто-нибудь,
пришлите табачку!..

Скучно здесь,
нехорошо
и мокро.

Здесь
от скуки
отсыреет и броня... —

Дремлет мир,
на Черноморский округ
синь-слезищу
морем оброня.

1926

НЕ ЮБИЛЕЙТЕ!

Мне б хотелось
про Октябрь сказать,
не в колокол называя,
не словами,

украшающими
тепленький уют, —

дать бы
революции
такие же названия,
как любимым

в первый день дают!

Но разве
уместно
слово такое?

Но разве
настали
дни для покоя?

Кто галоши приобрел,
 кто зонтик;
радуется обыватель:
 «Небо голубó...»
Нет,
 в такую срунду
 не рассказёньте
боевую
 революцию --- любовь.

В сотне улиц
 сегодня
 на вас,
 на меня
упадут огнем знаменá.
Будут глотки греметь,
 за кордоны катя
огневые слова про Октябрь.

Белой гвардии
 для меня
 белей
имя мертвое: юбилей.
Юбилей -- это пепел,
 песок и дым;
юбилей --
 это радость седым;
юбилей --
 это край
 кладбищенских ям;
это речи
 и фимиам;
остановка предсмертная,
 вздохи,
вот что лезет елей --
 из букв
А для нас «ю-б-и-л-е-й».
юбилей --
 ремонт в пути,
постоял --
 и дальше гуди.

Остановка для вас,
для вас
юбилей —

а для нас
подсчет рублей.
Сбереженный рубль —
сбереженный заряд,
поражающий вражеский ряд.

Остановка для вас,
для вас
юбилей —

а для нас —
это сплавы лей.

Разобьет
врага
электрический ход
лучше пушек
и лучше пехот.

Юбилей!
А для нас —
подсчет работ,
перемеренный литрами пот.
Знаем:
в графиках
довоенных норм
коммунизма одежда и корм.
Не горюй, товарищ,
что бой измельчал:

— Глаз на мелочь! —
приказ Ильича.

Надо
в каждой пылинке
будить уметь
большевистского пафоса медь.

Зорче глаз крестьянина и рабочего,
и минуту
не будь рассеянней!
Будет:
под ногами
заколеблется почва
почище японских землетрясений.

Молчит
перед боем,
топки глуша,
Англия бастующих шахт.
Пусть
китайский язык
мудрен и велик,—
знает каждый и так,
что Кантон
 тот же бой ведет,
 что в Октябрь вели
наш
рязанский
Иван да Антон.
И в сердце Союза
война.
киты батарей И даже
и полки.
Воры
с дураками
засели в блиндажи
растрат
и волокит.
И каждая вывеска:
— рабкооп —
коммунизма тяжелый окоп.
Война в отчетах,
в газетных листах —
рассчитывай,
режь и крой.
Не наша ли кровь
продолжает хлестать
из красных чернил РКИ?!

И как ни тушили огонь —
нас трое!
Мы
трое
охапки в огонь кидаем:
растет революция
в огнях Волховстроя,
в молчании Лондона,
в пулях Китая.

Нам
девятый Октябрь —
не покой,
не причал.

Сквозь десятки таких девяти
мозг живой,
живая мысль Ильича,
нас
к последней победе веди!

1926

НАШЕ НОВОГОДИЕ

«Новый год!»

Для других это просто:
о стакан

стаканом бряк!

А для нас
новогодие —

подступы

к празднованию
Октября.

Мы
лета

исчисляем снова —
не христовый считаем род.

Мы
не знаем «двадцать седьмого»,
мы

девятый приветствуем год.

Наших дней
значенью
и смыслу

подвести итоги пора.

Серых дней
обыдённые числа,
на девятый

стройтесь

Скоро парад!
всем

нам

счет предъявят:

дни свои
 ерундой не мельча,
кто
 и как
 в обыдённой яви
воплотил
 слова Ильича?
Что в селе?
 Навоз
 и скрипучий воз?
Свод небесный
 коркою вычестрел?
Есть ли там
 уже
 миллионы звезд,
расцветающие в электричестве?
Не купая
 в прошедшем взора,
не питаясь
 зрелищем древним,
кто и нынче
 послал ревизоров
по советским
 Марьям Андревнам?
Нам
 коммуна
 не словом крепка и люба
(сдашь без хлеба,
 как ни крепися!).
У крестьян
 уже
всем, готовы хлеба
 кто переписью переписан?
Дайте крепкий стих
 годочек этак на сто,
чтоб не таял стих,
 как дым клубимый,
чтоб стихом таким
 звенеть
 и хвастать
перед временем,
 перед республикой,
 перед любимой.

Пусть гремят
барабаны поступи
от земли
к голубому своду.
Занимайте дни эти —
подступы
к нашему десятому году!
Парад
из края в край растянем.
Все,
в любой работе
и чине,
рабочие и драмщики,
стихачи и крестьяне,
готовьтесь
к десятой годовщине!
Всё, что красит
и радует,
всё —
и слова,
и восторг,
всё
и погоду —
к десятому припасем,
к наступающему году.

1926

С Т А Б И Л И ЗА ЦИ Я Б Ы Т А

После боев
и голодных пыток
отрос на животике солидный жирок.
Жирок заливает щелочки быта
и застывает,
тих и широк.
Люблю Кузнецкий
(простите грешного!),
потом Петровку,
потом Столешников;
по ним
в году
раз сто или двести я

хожу из «Известий»
и в «Известиях».
С восторга бросив подсолнухи лузгать,
восторженно подняв бровки,
читает работница:
 «Готовые блузки.
Последний крик Петровки».
Не зря и Кузнецкий похож на зарю,—
прижав к замерзшей витрине поздрю,
две дамы расплылись в стончике:
 «Ах, какие фестончики!»
А рядом,
 учли обывателью натуру,—
портрет
 кого-то безусого;
отбирайте гения
 для любого гарнитура,—
все
 от Казина до Брюсова.
В магазинах —
 ноты для широких масс.
Пойте, рабочие и крестьяне,
последний
 сердцещипательный романс
«А сердце-то в партию тянет!»¹.
В окне гражданин,
 устав от ношения
портфелей,
 сложивши папки,
жене,
 приятной во всех отношениях,
выбирает
 «глазки да лапки».
Перед плакатом «Медвежья свадьба»
нэпачка сияет в неге:
— И мне с таким медведем
 поспать бы!
Погрызи меня,
 душка Этгерт.—

¹ Ноты Музторга. Музыка Тихоновой. Слова Чуж-Чуженина.

Сияющий дом,
в костюмах,
радуйся, в белье,—
растратчик и мот.

«Ателье
мод».
На фоне голосов стою,
стою
и философствую.

Свежим ветерочком в республику
вей,

звездой сияя из мрака,
товарищ Гольцман
из «Московширея»

обещает
«эпоху фрака» ¹.

Но,
от смокингов и фраков оберегая охотников
(не попался на буржуазную удочку!),
восхваляет

комсомолец
товарищ Сотников

толстовку
и брючки «дудочку».

Фрак
или рубахи синие?
Неувязка парт- и советской линии.
Меня
удивляют их слова.
Бьет разнобой в глаза.
Вопрос этот

надо
согласовать

и, разумеется,
увязать.

Предлагаю,
чтоб эта идеяная драка
не длилась бессмысленно далее,
пришивать
к толстовкам
фалды от фрака

¹ Стр. 12 № 2 «Экрана».

и носить

лакированные сандалии.

А чтоб цилиндр заменила кепка,
накрахмаливать кепку кренко.

Грязня сердца
и масля бумагу,

подминая
Москву

под копыта,

волокут

опять

колымагу

дореволюционного быта.

Зуди

издевкой,

стих хмурый,

вразрез

с обывательским хором:

в делах

идеи,

быта,

культуры —

поменьше

довоенных норм!

1927

Б У М А Ж Н Ы Е У Ж А С Ы (ОЩУЩЕНИЯ ВЛАДИМИРА МАЯКОВСКОГО)

Если б

в пальцах

держкал

земли бразды я,

я бы

землю остановил на минуту:

— Внемли!

Слышишь,

перья скрипят

механические и простые,

как будто

зубы скрипят у земли? —

Человечья гордость,
смирись и улягся!

Человеки эти —
на кой они лях!

Человек
постепенно
становится кляксой
на огромных
важных
бумажных полях.

По каморкам
ютятся
людские тени.

Человеку —
сажень.

А бумажке?
Лафа!

Живет бумажка
во дворцах учреждений,
разлеглась на столах,
кейфует в шкафах.

Вырастает хвост
на сукно
в магазине,
без галош нога,
без перчаток лапа.

А бумагам?
Корзина лежит на корзине,
и для тела «дел» —
миллионы папок.

У вас
на езду
червонцы есть ли?

Вы были в Мадриде?
Не были там!

А этим
бумажкам,
чтоб плыли
и ездили,
еще
возносят
новый почтамт!

Стали ножки-клипсы
у бывших сильных,
заменили инструкции
силу ума.
Люди медленно
сходят на должность посыльных,
в услужении
у хозяев — бумаг.
Бумажищи в портфель
белозубую умешаются еле,
обнажают кайму.
Скоро люди
на жительство
влезут в портфели,
а бумаги —
наши квартиры займут.
Вижу в будущем —
не вымыслы мои:
рупоры бумаг орут об этом громко нам —
будет за столом
бумага пить чай,
человечек под столом
валяться скомканым.
Бунтом встать бы,
развить огневые флаги,
рвать зубами бумагу б,
ядрами б выть...
Пролетарий,
и дюйм
ненужной бумаги,
как врага своего,
вконец ненавидь.

НАШЕМУ ЮНОШЕСТВУ

На сотни эстрад бросает меня,
на тысячу глаз молодежи.
Как разны земли моей племена,
и разен язык
и одежи!

Насилу,
пот стирая с виска,
сквозь горло тоннеля узкого
пролез.

И, глуша прощаньем свистка,
рванулся
курьерский
с Курского!

Заводы.

Березы от леса до хат
бегут,
листками ворόча,
и чист,
как будто слушаешь МХАТ,
московский говорочек.
Из-за горизонтов,
лесами сломанных,
толпа надвигается
мазанок.

Цветисты бочки
из-под крыш соломенных,
окрашенные разно.

Стихов навезите целый мешок,
с таланта
можете лопаться —

в ответ
снисходительно цедят смешок
уста
украинца-хлоща.

Пространства бегут,
с хвоста нарастав,
их жарит
солнце-кухарка.

И поезд
уже
бежит на Ростов,

далеко за дымный Харьков.

Поля —

на мильоны хлебных тонн —
как будто

их гладят рубанки,
а в хлебной охре
серебряный Дон

блестит

позументом кубанки.

Ревем паровозом до хрипоты,
и вот

началось кавказское —
то головы сахара высят хребты,
то в солнце —
пожарной каскою.

Лечу

ущельями, свист приглушив.
Снегов и папах седйны.
Сжимая кинжалы, стоят ингуши,
следят

из седла
осетины.

Верх

гор —
лед,

низ

жар
пьет,
и солнце льет йод.

Тифлисцев

узнаешь и метров за сто:
гуляют часами жаркими,
в моднейших шляпах,
в ботинках носастых,
этакими парижаками.

По-своему

всякий
зубрит азы,
аж цифры по-своему снятся им.
У каждого третьего —
свой язык
и собственная нация.

Однажды,
забросив в гостиницу хлам,
забыл,
где я ночую.

Я
адрес
по-русски
спросил у хохла,
хохол отвечал:

— Нэ чую.—
Когда ж переходят
к научной теме,

им
рамки русского
у́зки;

с Тифлисской
Казанская академия
переписывается по-французски.

И я
Париж люблю сверх мер
(красивы бульвары ночью!).

Ну, мало ли что —
Бодлер,
Маларме

и эдакое прочее!
Но нам ли,
шагавшим в огне и воде
годами

борьбой прожженными,
растить
на смену себе

бульвардье
французистыми пижонами!
Используй,

кто был безъязык и гол,
свободу Советской власти.
Ищите свой корень

и свой глагол,
во тьму филологии влезьте.
Смотрите на жизнь
без очков и шор,
глазами жадными цапайте

все то,

что у вашей земли хорошо
и что хорошо на Западе.

Но нету места

злобы мазку,
не мажьте красные души!

Товарищи юноши,

взгляд — на Москву,
на русский вострите уши!

Да будь я

и негром преклонных годов,
и то,

без уныния и лени,
я русский бы выучил

только за то,

что им

разговаривал Ленин.

Когда

Октябрь орудийных бурь
по улицам

кровью лился,
я знаю,

в Москве решали судьбу
и Киевов

и Тифлисов.

Москва

для нас
не державный аркан,
ведущий земли за нами,

Москва

не как русскому мне дорога,
а как огневое знамя!

Три

разных истока
во мне
речевых.

Я

не из кацапов-разинь.

Я —

дедом казак, другим —
сечевик,
а по рожденью
грузин.

Три
разных капли
в себе совмешав,
беру я
право вот это —
покрыть
всесоюзных совмешан.
И ваших
и русопетов.

1927

П О Г О Р О Д А М С О Ю З А

Россия — всё:
и коммуна,
и волки,
и давка столиц,
и пустырьная ширь,
стоводная уdalъ безудержной Волги,
обдорская темь
и сиянье Кашир.

Лед за пристанью за ближней,
оковала Волга рот,
это красный,
это Нижний,
это зимний Новгород.
По первой реке в российском сторечье
скользим...
цепенеем...
зацапаны ветром...

А за волжским доисторичьем
крести, да тресты,
да разные «центр».
Сумятица торга кипит и клокочет,
клочки разговоров
и дымные клочья,
а к ночи
не бросится говор,
не скринут половья,
столетняя зелень зигзагов Кремля,

да под луной,
разметавшей волосья,
замерзающая земля.
Огромная площадь;
прорезав вкривь ее,
неслышнюю поступь дикарских лан
сквозь северную Скифию
я направляю
в местный ВАПП.

За версты,
за сотни,
за тыщи,
за массу
за это время заедешь, мчась,
а мы
ползли и ползли к Арзамасу
со скоростью верст четырнадцать в час.
Напротив
сели два мужчины:
красные бороды,
серые рожи.
Презрительно буркнул торговый мужчина:
— Сережки! —
Один из Сережей
полез в карман,
достал пироги,
запахнул одежду
и всю дорогу жевал кормá,
ленивые фразы цедя промежду.
— Конешно...
и к Петрову...
и в Покров...
за то и за это пожалте процент...
а толку нет...
не дорога, а кровь...
с телегой тони, как ведро в колодце...
На што мой конь — крепыш,
аж и он
сломал по яме ногу...
Раз тý
правительство,
ты и должностн

чинить на всех дорогах мосты.—

Тогда

на него

второй из Сереж

прищурил глаз, в морщины оправленный.

— Налог-то ругашь,

а пирог-то жрешь...—

И первый Сережа ответил:

— Правильно!

Получше двадцатого,

что толковать,

не голодаем,

едим пироги.

Мукá, дай бог...

хороша такова...

Но что насчет лошажьей ноги...

взыскали прóцент,

а мост не проложать...—

Баючит езда дребезжаньем звонким.

Сквозь дрему

все время

про мост и про лошадь

до станции с названием «Зимёнки».

На каждом доме

советский вензель

зовет,

сияет,

режет глаза.

А под вензелями

в старенькой Пензе

старушьим шепотом дышит базар.

Перед нэпачкой баба седа

отторговывает копеек тридцать.

— Купите платочек!

У нас

засвегда

заказывала

сама царица...—

Морозным днем отмелькала Самара,
за ней

начались азиаты.

Верблюдина

сено

проводит, замаран,
в упряжку лошажью взятый.

Университет —

и стены его горделивость Казани,
и доныне

хранят

любовнейшее воспоминание
о великом своем гражданине.

Далёко

за годы

мысль катя,
за лекции университета,
он думал про битвы

и красный Октябрь,
идя по лестнице этой.

Смотрю в затихший и замерший зал:
здесь

каждые десять на сто
его повадкой щурят глаза
и так же, как он,
скуласты.

И смерти

коснуться его
стоит не посметь,

у грядущего в смете!

Внимают

юноши
строфам про смерть,
а сердцем слышат:
бессмертье.

Вчерашний день

убог и низмен,
старья

премного осталось,
но сердце класса

горит в коммунизме,
и класса грудь
не разбить о старость.

МОЯ РЕЧЬ НА ПОКАЗАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
ПОСЛУЧАЮ ВОЗМОЖНОГО СКАИДАЛА
С ЛЕКЦИЯМИ ПРОФЕССОРА ШЕНГЕЛИ

Я тру
ежедневно
вздорщеный лоб
в раздумье
о нашей касте,
и я не знаю:
поэт —
поп,
поп или мастер.
Вокруг меня
толпа малышей,—
едва вкушившие славы,
а волос
уже
отрастили до шей
и голос имеют гнусавый.
И, образ подняв,
выходят когда
на толстожурнальный амвон,
я,
каюсь,
во храме
рвусь на скандал,
и крикнуть хочется:
— Вон! —
А вызовут в суд,—
убежденно гудя,
скажу:
— Товарищ судья!
Как знамя,
башку
держу высоко,
ни дух не дрожит,
ни коленки,
хоть я и слыхал
про суровый
закон
от самого
от Крыленки.

Законы

не знают переодевания,
а без

преувеличности,
хулиганство —

это

озорные деяния,

связанные

с неуважением к личности.

Я знаю

любого закона лютей,
что личность

уважить надо,
ведь масса —

это

много людей,

но масса баранов —

стадо.

Не зря

этую личность
рожает класс,

лелеет

до нужного часа,
и двинет,
и в сердце вложит наказ:

«Иди,

твори,
отличайся!»

Идет

и горит
докрасна,
добелá...

Да что городить окличность!

Я,

если бы личность у них была,
влюбился б в ихнюю личность.

Но где ж их лицо?

Осмотрите в момент —
без плюсов,
без минусов.

Дыра!

Принудительный ассортимент

из глаз,
ушей
и носов!
Я зубы на этом деле сжевал,
я знаю, кому они копия.
В их песнях
поповская служба жива,
они —
зарифмованный опиум.
Для вас
вопрос поэзии —
нов,
но эти,
видите,
молятся.
Задача их —
выделка дьяконов
из лучших комсомольцев.
Скрывает
ученейший их богослов
в туман вдохновения радугу слов,
как чаши
скрывают
церковные.
А я
раскрываю
моё ремесло,
как радость,
мастером кованную.
И я,
вскипя
с позора с того,
ругнулся
и плонул, уйдя.
Но ругань моя —
не озорство,
а долг,
товарищ судья.—
Я сел,
разбивши
доводы глиняные.

И вот
объявляется приговор,
так сказать,
от самого Калинина,
от самого
товарища Рыкова.
Судьей,
расцветшим розой в саду,
объявлено
тоном парадным:
— Маяковского
по суду
считать
безусловно оправданным!
1927

«ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ?»

Слух идет
бессмысленен и гадок,
трется в уши
и сердце ёжит.
Говорят,
что воли упадок
у нашей
у молодежи.
Говорят,
что иной братишка,
заработавший орден,
ныне
про вкусноты забывший ротишко
под витриной
кривит в унынье.
Что голодным вам
на зависть
окна лавок в бутылочном тыне,
и едят нэпачи и завы
в декабре
арбузы и дыни.
Слух идет
о грозном сраме,

что лишь радость
развоскресёнена,
комсомольцы
лейб-гусарами
пьют
да ноют под стих Есенина.
И доносится до нас
сквозь губы искривленную прорезь:
«Революция не удалась...
За что боролись?..»
И свои 18 лет
под наган подставят —
и нет,
или горло
впетлят в кёски.
И горюю я,
как поэт,
и ругаюсь,
как Маяковский.
Я тебе
не стихи ору,
рифмы в этих делах
ни при чем;
дай
как другу
пару рук
положить
на твое плечо.
Знал и я,
что значит «не есть»,
по бульварам валялся когда,—
понял я,
что великая честь
за слова свои
голодать.
Из-под локона,
кецкой завитого,
вскинь глаза,
не грусти и не злись.
Разве есть
чему завидовать,
если видишь вот эту слизь?
Будто рыбы на берегу —

с прежним плаваньем
трудно расстаться им.

То царев горшок берегут,
то

обломанный шкаф с инкрустациями.
Вы — владыки

их душ и тела,
с вашей воли
встречают восход.

Это —
очень плевое дело,
если б

революция захотела
со счетов особых отделов
этую мелочь
списать в расход.

Но, рядясь
в любезность наносную,
мы —

взамен забытой Чеки
кормим дыней и ананасами,
ихних жен
одеваем в чулки.

И они
за все за это,
что чулки,
что плачено дорого,
строят нам
дома и клозеты
и бойцов
обучают торгу.

Что ж,
без этого и нельзя!

Сменим их,
гранит догрызя.

Или
наша воля обломалась
о сегодняшнюю
деловую малость?

Нас
дело
должно
иронизать нас kvозь,

скуленье на мелочность
высмей.

Сейчас
коммуне
ценен гвоздь,
как тезисы о коммунизме.
Над пивом
нашим юношам ли
склонять
свои мысли ракитовые?
Нам
пить
в грядущем
все соки земли,
как чашу,
мир запрокидывая.

1927

ЛУЧШИЙ СТИХ

Аудитория
сыплет
вопросы колючие,
старается озадачить
в записочном рвении.
— Товарищ Маяковский,
прочтите
лучшее

ваше
стихотворение.—

Какому
стиху
отдать честь?

Думаю,
упервшись в стол.
Может быть,
это им прочесть,
а может,
прочесть то?

Пока
перетряхиваю
стихотворную старь
и нем
ждет
зал,
газеты
«Северный рабочий»
секретарь
тихо
мне
сказал...
И гаркнул я,
сбившись
с поэтического тона,
громче
иерихонских хайл:
— Товарищи!
Рабочими
и войсками Кантона
взят
Шанхай! —
Как будто
жесть
в ладонях минут,
оваций сила
росла и росла.
Пять,
десять,
пятнадцать минут
рукоплескал Ярославль.
Казалось,
буря
вёрсты крыла,
в ответ
на все
чемберленьи ноты
катилась в Китай,—
и стальные рыла
отворачивали
от Шанхая
дредноуты.

Не приравняю
всю
поэтическую слякоть,
любую
из лучших поэтических слав,
не приравняю
к простому
газетному факту,
если
так
ему
рукоплещет Ярославль.
О, есть ли
привязанность
большой силищи,
чем солидарность,
прессующая
рабочий улей?!
Рукоплещи, ярославец,
маслобой и текстильщик,
незнаемым
и родным
китайским кули!

1927

«Л Е Н И И С Н А М И!»

Бывают события:
случатся раз,
из сердца
высекут фразу.
И годы
не выдумать
лучших фраз,
чем сказанная
сразу.
Таков
и в Питер
ленинский въезд
на башне
броневика.

С тех пор
слова
и восторг мой
не ест
ни день,
ни год,
ни века.

Все так же
вскипают
от этой даты

души
фабрик и хат.

И я
привожу вам
просто цитаты
из сердца
и из стиха.

Февральское пламя
померкло быстро,
в речах

утопили
радость февральскую.

Десять
министров-капиталистов
уже
на буржуев
смотрят с ласкою.

Купался
Керенский
в своей победе,
задав

революции
адвокатский тон.

Но вот
пошло по заводу:
— Едет!

Едет!
— Кто едет?
— Он!

«И в город,
уже
заплывающий салом,

вдруг оттуда,
из-за Невы,
с Финляндского вокзала
по Выборгской
загрохотал броневик».

Была
простая
машина эта,
как многие,
шла над Невою.
Прошла,
а нынче
по целому свету
дыханье ее
броневое.

«И снова
ветер,
валы свежий и крепкий,
революции
поднял в пепе.

Литейный
залили
блузы и кепки.
— Ленин с нами!
Да здравствует Ленин!

И с этих дней
везде
и во всем
имя Ленина
с нами.

Мы
будем нести,
если
его, и несем —
Ильичево, знамя.
«— Товарищи! —
и над головою
первых сотен
вперед
ведущую
руку выставил.

— Сбросим
эсдечества
обветшавшие лохмотья!

Долой
власть
соглашателей и капиталистов!»

Тогда
рабочий,
впервые спрошенный,
еще нестройно
отвечал:
— Готов! —

А сегодня
буржуй
распластан, сброшенный,
и нашей власти —
десять годов.

«— Мы —
голос
воли низа,
рабочего низа
всего света.

Да здравствует
партия,
строящая коммунизм!

Да здравствует
восстание
за власть Советов!»

Слова эти
слушали
пушки мордастые,
и щерился
белый,
штыками блестя.

А нынче
Советы и партия
здравствуют
в союзе
с сотней миллионов крестьян.
«Впервые
перед толпой обалделой,

здесь же,
перед тобою,
близ —
встало,
как простое
делаемое дело,
недосягаемое слово
— «социализм».

А нынче
в упряжку
взяты частники.

Коопов
стосортных
сети въем,
показываем
ежедневно
в новом участке
социализм
живьем.

«Здесь же,
из-за заводов гудящих,
сияя горизонтом
во весь свод,
встала
завтрашняя
коммуна трудящихся —
без буржуев,
без пролетариев,
без рабов и господ».

Коммуна —
еще
не дело дней,
и мы
еще
в окружении врагов,
но мы
прошли
по дороге к ней
десять
самых трудных шагов.

1927

«Парижские «Последние новости» пишут: «Шаляпин пожертвовал священнику Георгию Спасскому на русских безработных в Париже 5000 франков. 1000 отдана бывшему морскому агенту, капитану 1-го ранга Дмитриеву, 1000 раздана Спасским лицам, ему знакомым, по его усмотрению, и 3000 — владыке митрополиту Евлогию».

Вынув бумажник из-под хвостика фрака,
добрейший

Федор Иваныч Шаляпин
на русских безработных
бросил

на дно
поповской шляпы.

Инь сердобольный,
как заботится!

Конечно,
плохо, если жмет безработица.

Но...

удивляют получающие пропитанье.
Почему

у безработных
званье капитанье?

Ведь не станет
лесть
морское капитанство

на завод труда
и в шахты пота.

Так чего же ждет
Евлогиева паства,
и какая

ей
нужна работа?

Вот если
за нынешней
грозою нотною

пойдет война
в орудийном аду —
шаляпинские безработные

живо
себе
работу найдут.
Впервые
тогда
комсомольская масса,
раскрыв
пробитые пулями уши,
сведет знакомство
с шаляпинским басом
через бас
белогвардейских пушек.
Когда ж
полями,
кровью полтыми,
рабочие бросят
руки и ноги,—
вспомним тогда
бездработных митрополита
Евлогия.
Говорят,
артист —
большой ребенок.
Не знаю,
есть ли
у Шаляпина бонна.
Но если
бонны
нету с ним,
мы вместо бонны
ему объясним.
Есть класс пролетариев
миллионогорбый
и те,
кто покорен фаустовскому тельцу.
На бой
последний
сегодня класса оба
сошлись
лицом к лицу.
И песня,
и стих —
это бомба и знамя,

и голос певца
подымает класс,
и тот,
кто сегодня
поет не с нами,
тот —
против нас.
А тех,
кто под ноги атакующим бросится,
с дороги
уберет
рабочий пинок.

С барина
с белого
сорвите, наркомпросцы,
народного артиста
красный венок!

1927

Н У, Ч Т О Ж!

Раскрыл я
с тихим шорохом
глаза страниц...
И потянуло
порохом
от всех границ.

Не вновь,
которым зá двадцать,
в грозе рости.
Нам не с чего
радоваться,
но нечего
грустить.

Бурна вода истории.
Угрозы
и войну
мы взрежем
на просторе,
как режет
киль волну.

1927

ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ПОДХАЛИМ

В любом учреждении
есть подхалим.
Живут подхалимы,
и неплохо им.
Подчас молодежи,
на них глядя,
хочется
устроиться —
как устроился дядя.

Но как
в доверие к начальству влезть?
Ответственного
не возьмешь на низкую лесть.

Например,
распахивать перед начальством
двери —
не к чему.

Начальство тебе не поверит,
не оценит
энергии
излишнюю трату —
подумает,
что это
ты —
по штату.

Или вот еще
способ
очень грубый:

трубить
начальству
в пионерские трубы.

Еще рассердится:
— Чего, мол, ради
ежесекундные
праздники
у нас
в отряде? —

Надо
льстить
умело и тонко.

Но откуда

тонкость

у подростка и ребенка?!

И мы,

желанием помочь палимы,

выпускаем

«Руководство

для молодого подхалимы».

Например,

начальство

делает доклад —

выкладывает канцелярской премудрости

клад.

Стакан

ко рту

поднесет рукой

и опять

докладывает час-другой.

И вдруг

вопль посредине доклада:

— Время

докладчику

ограничить надо! —

Тогда

ты,

сотрясая здание,

требуй:

— Слово

к порядку заседания!

Доклад —

звезда средь мрака и темени.

Требую

продолжать

без ограничения времени! —

И будь уверен —

за слова за эти

начальство запомнит тебя

и заметит.

Узнав,

что у начальства

сочинения есть,

спеши

печатный отчетишко прочесть.

При встрече
с начальством,
закатывая глазки,
скажи ему
голосом,
полным ласки:
— Прочел отчет.
Не отчет, а роман!
У вас
стихи бы
вышли задарма!
Скажите,
не вы ли
автор «Анти-Дюринга»?
Тоже
написан
очень недурненько.—
Уверен будь —
за оценки за эти
и начальство
оценит тебя
Увидишь: и заметит.
начальство
едет пьяненький
в казенной машине
и в дамской компанийке.
Пиши
в стенгазету,
возмущенный насквозь:
«Экономия экономии рознь.
Такую экономию —
высмеяйте смешком!
На что это похоже?!

Еле-еле
со службы
и на службу,
на чканц таскаясь пешком,
волочит свои портфели».

И ты
преуспеешь на жизненной сцене —
начальство
заметит тебя
и оценит.

А если
не хотите
быть подхалимой,
сами
себе
не зажимайте рот:
увидев
безобразие,
не проходите мимо
и поступайте
не по стиху,
а наоборот.

1927

МАРУСЯ ОТРАВИЛАСЬ

Вечером после работы этот комсомолец уже не ваш товарищ. Вы не называйте его Борей, а, подделываясь под гнусавый французский акцент, должны называть его «Боб»...

«Комс. правда»

В Ленинграде девушка-работница отравилась, потому что у нее не было лакированных туфель, точно таких же, какие носила ее подруга Таня...

«Комс. правда»

Из тучки месяц вылез,
молоденький такой...
Маруська отравилась,
везут в прием-покой.
Понравился Маруське
один
с недавних пор:
нафабренные усики,
расчесанный пробор.
Он был
монтером Ваней,
но...
в духе парижан,

себе

присвоил званье:
«электротехник Жан».
Он говорил ей часто
одну и ту же речь:
— Ужасное мещанство —
невинность

зря
беречь.—
Сошлись и погуляли,
и хмурит
Жан
лицо,—

нашел он,

что
у Ляли
красивше бельцео.
Марусе разнесчастной
сказал, как джентльмен:
— Ужасное мещанство —
семейный

этот
плен.—

Он с ней
расстался
ровно
через пятнадцать дней,
за то,
что лакированных
нет туфелек у ней.
На туфли

денег надо,
а денег
нет и так...

Себе
Маруся
яду
купила
на пятак.
Короткой
жизни
точка.

— Смертельный
я-яд
испит... —

В малиновом платочке
в гробу
Маруся
спит.
Развылся ветер гадкий.
На вечер,
ветру в лад,
в ячейке
об упадке
поставили
доклад.

ПОЧЕМУ?

В сердце
без лесенки
лезут
эти песенки.
Где родина
этих
бездарных романсов?
Там,
где белые
лаются моською?
Нет!
Эту песню
родила масса —
наша
комсомольская.
Легко
врага
продырявить наганом.
Или —
голову с плеч,
и саблю вытри.
А как
сейчас
нащупать врага нам?

Таится.

Хитрый!

Во что б ни обулись,

что б ни надели —
обноски

буржуев

у нас на теле.

И нет

тебе

пути-прямика.

Нашей

культуришке

без году неделя,

а ихней —

века!

И растут

черные

дурни

и дуры,

ничем не защищенные

от барахла культуры.

На улицу вышел —

глаза разопри!

В каждой витрине

буржуевы обноски:

какая-нибудь

шляпа

с пером «распри»,

и туфли

показывают

лакированные носики.

Простенькою

блузу нам

и надеть конфузно.

На улицах,

под руководством

Гарри Пилей,

расставило

сети

Совкино,—

от нашей

сегодняшней

трудной были

уносит
к жизни к иной.

Там
ни единого
ни Ваньки,
ни Пети,

одни
Жанны,
одни
Кэти.

Толча комплименты,
как воду в ступке,
люди
совершают
благородные поступки.

Всё
бароны,
графы — всё,
живут
по разным
роскошным городам,
ограбят

и скажут:
— Мерси, мусье,—
изнасилуют
и скажут:

— Пардон, мадам.—
На ленте
каждая —

графиня минимум.
Перо в шляпу
да серьги в уши.

Куда же
сравниться
с такими граfinями
заводской

Феклуша да Марфуша?

И мальчики
пачками
стреляют за нэпачками.
Нравятся
мальчикам
в маникуре пальчики.

Играют
этим пальчиком
нэпачки
на рояльчике.
А сунешься в клуб —
речь рвотная.

Чешут
языками
чиновноустые.
Раз международное,
два международное,
но нельзя же до бесчувствия!
Напротив клуба
дверь пивушки.

Веселье,
грохот,
как будто пушки!

Старается
разная
музыкальная челядь
пианинить
и виолончелить.
Входите, товарищи,
зайдите, подружечки,
 выпейте,
пожалуйста,
по пенной кружечке!

Ч Т О?

Крою
пиво пеннное,—
только что вам
с этого?!

Что даю взамен я?
Что вам посоветовать?
Хорошо
и целоваться
и вино.

Но...
вино и поэзия,
и если
ее

хоть раз
по-настоящему
испили рты,
ее
не заменит
никакое питье,
никакие пива,
никакие спирты.

Помни
ежедневно,
что ты
зодчий
и новых отношений,
и новых любовей,—
и станет
ерундовым
любовный эпизодчик
какой-нибудь Любы
к любому Вове.

Можно и кепки,
можно и шляпы,
можно
и перчатки надеть на лапы.
Но нет
на свете
прекрасней одежи,
чем бронза мускулов
и свежесть кожи.

И если
подыметесь
чисты и стройны,
любую
одежку
заказывайте «Московшвею»,
и...
лучшие
девушки
нашей страны
сами
бросятся
вам на шею.

ПИСЬМО К ЛЮБИМОЙ МОЛЧАНОВА,
БРОШЕННОЙ ИМ,
КАКО ТОМ СООБЩАЕТСЯ В № 219
«КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ»
В СТИХЕ ПО ИМЕНИ «СВИДАНИЕ»

Слышал —
 vas Molchanov бросил,
будто
 он
 предпринял это,
видя,
 что у вас
 под осень
нет
 «изящного» жакета.
На косынку
 цвета синьки
смотрит он
 и цедит еле:
— Что вы
 ходите в косынке?
да и...
 мордой постарели?
Мне
 пожалте
 грудь тугую.
Ну,
 а если
 нету этаких...
Мы найдем себе другую
в разызыканной жакетке.—
Припомнадясь
 и прикрасясь,
эту
 гадость
 вливши в стих,
хочет
 он
 марксистский базис
под жакетку
 подвести.
«За боль годов,
за все невзгоды

глухим сомнениям не быть!
Под этим мирным небосводом
хочу смеяться
и любить».

Сказано веско.
Посмотрите, дескать:
шел я верхом,

шел я низом,

строил
мост в социализм,
не достроил
и устал
и уселся
у моста.

Травка
выросла
у моста,
по мосту
идут овечки,
мы желаем
— очень просто! —
отдохнуть
у этой речки.

Заверните ваше знамя!
Перед нами
ясность вод,
в бок —
цветочки,
а над нами —
мирный-мирный небосвод.

Брошенная,
не бойтесь красивого слога
поэта,
музой венчанного!

Просто
и строго
ответьте
на лиру Молчанова:
— Прекратите ваши трели!
Я не знаю,
я стара ли,

но вы,
Молчанов,
постарели,
вы
и ваши пасторали.
Знаю я —
в жакетах в этих
на Петровке
бабья банда.
Эти
польские жакетки
к нам
проводят
контрабандой.
Чем, служа
у муз
по найму,
на мое
тряпье
коситься,
вы б
индустриальным займом
помогли
рожденью
ситцев.
Череп,
что ль
пустеет чаном,
выбил
мысли
грохот лирный?
Это где же
вы,
Молчанов,
небосвод
узвели
мирный?
В гущу
ваших роздыхов,
под цветочки,
на реку
заграничным воздухом
не доносит гарьку?

Или
за любовной блажью
не видать
угрозу вражью?

Литературная шатия,
успокойте ваши нервы,
отойдите —
вы мешаете
мобилизациям и маневрам.

1927

РАЗМЫШЛЕНИЯ
О МОЛЧАНОВЕ ИВАНЕ
И О ПОЭЗИИ

Я взял газету
и лег на диван.
Читаю:
«Скучает
Молчанов Иван».
Не скрою, Ванечка:
скучно и нам.
И ваши стишонки —
скуки вина.
Десятый Октябрь
у всех на носу,
а вы
ухватились
за чью-то косу.
Любите
и Машу,
и косы ейные.
Это
ваше
дело семейное.
Но что нам за толк
от вашей
от бабы?!

Получше
стишки

писали хотя бы.
Но плох ваш роман.
И стих неказист.
Вот так

любил бы
любой гимназист.
Вы нам обещаете,
скушный Ваня,
на случай нужды
пойти, барабана.
Де, будет
туман.
И отверзнете рот,
на весь
на туман
заорете:

— Вперед! —

Де,
— выше взвивайте
красное знамя!
Вперед, переплетчики,
а я —

за вами.—

Орать
«караул!»,
попавши в туман?
На это

не надо
большого ума.
Сегодняшний

день
возвеличить вам ли,
в хвосте

у событий
о девушких мямя?!
Поэт

настоящий
вздувает
заранее
из искры
неясной —
ясное знание.

РАССКАЗ
ЛИТЕЙЩИКА ИВАНА КОЗЫРЕВА
О ВСЕЛЕНИИ В НОВУЮ КВАРТИРУ

Я пролетарий.

Объясняться лишне.

Жил,

как мать произвела, родив.

И вот мне

квартиру

дает жилищный,

мой,

рабочий,

кооператив.

Во — ширина!

Высота — во!

Проветрена,

освещена

и согрета.

Все хорошо.

Но больше всего

мне

понравилось —

это:

это

белее лунного света,

удобней,

чем земля обетованная,

это —

да что говорить об этом,

это —

ванная.

Вода в кране —

холодная крайне.

Кран

другой

не тронешь рукой.

Можешь

холодной

мыть хохол,

горячей —

пот пор.

На кране

одном

написано:

«Хол.»,

на кране другом —

«Гор.».

Придешь усталый,

вешаться хочется.

Ни щи не радуют,

ни чая клокотанье.

А чайкой поплещешься —

и мертвый расхоочется

от этого

плещущего щекотания.

Как будто

пришел

к социализму в гости,

от удовольствия —

захватывает дых.

Брюки на крюк,

блузу на гвоздик,

мыло в руку

и...

бултых!

Сядешь

и моешься

долго, долго.

Словом,

сидишь,

пока охота.

Просто

в комнате

лето и Волга —

только что нету

рыб и пароходов.

Хоть грязь

на тебе

десятилетнего стажа,

с тебя

корою с дерева,

чуть не лыком,
сходит сажа,
смыается, стерва.
И уж распаришься,
разкаришься уж!

Тут —
вертай ручки:
и каплет
прохладный
дождик-душ
из дырчатой
железной тучки.

Ну ж и ласковость в этом душе!
Тебя

никакой
не возьмет упадок:
погладит волосы,
потреплет уши
и течет
по желобу
промежду лопаток.

Воду
стираешь
с мокрого тельца
полотенцем,

как зверь, мохнатым.
Чтобы суще пяткам —

пол
стелется,
извиняюсь за выражение,
пробковым матом.

Себя разглядевши
в зеркало вправленное,
в рубаху
в чистую —
влазь.

Влажку и думаю:
«Очень правильная
эта,
наша,
Советская власть».

Появились
 молодые
 превоспитанные люди —
 Мопров
 знаки золотые
 им
 увенчивают груди.
 Парт-комар
 из МКК
 не подточит
 парню
 носа:
 к сроку
 вписана
 строка
 проф-
 и парт-
 и прочих взносов.
 Честен он,
 как честен вол.
 В место
 в собственное
 врасся
 и не видит
 ничего
 дальше
 собственного носа.
 Коммунизм
 по книге сдав,
 перевызубривши «измы»,
 он
 покончил навсегда
 с мыслями
 о коммунизме.
 Что заглядывать далече?!

Циркуляр
 сиди
 и жди.

— Нам, мол,
с вами
думать неча,
если
думают вожди.—
Мелких дельцев
пару шор
он
надел
на глаза оба,
чтоб служилось
хорошо,
безмятежно,
узколобо.
День — этап
растрат и лести,
день,
когда
простор подлизам,—
это
для него
и есть
самый
рассоциализм.
До коммуны
перегон
не покрыть
на этой кляче,
как нарочно
создан
он
для чиновничьих делячеств.
Блещут
знаки золотые,
гордо
выпячены
груди,
ходят
тихо
молодые
приспособленные люди.

О коряги
якорятся
там,
где тихая вода...
А на стенке
декорацией
Карлы-марлы борода.
Мы томимся неизвестностью,
что нам делать
с ихней честностью?
Комсомолец,
живя
в твои лета,
октябрьским
озоном
дыши,
помни,
что каждый день —
к цели
намеченной
шаг.
Не наши —
которые
уперли
лбов
медь;
быть коммунистом —
значит дерзать,
думать,
хотеть,
сметь.
У нас
еще
не Эдем и рай —
мещанская
тина с цвелью.
Работая,
мелочи соразмеряй
с огромной
поставленной целью.

1928

В меру
 и черны и русы,
 пряча взгляды,
 пряча вкусы,
 боком,
 тенью,
 в стороне,—
 пресмыкаются трусы
 в славной
 смелыми
 стране.

Каждый зав
 для труса —
 туз.

Даже
 от его родни
 опускает глазки трус
 и уходит
 в воротник.

Влип
 в бумажки
 парой глаз,

ног
 поджаты циркуля:
 «Схорониться б
 за приказ...

Спрятаться б
 за циркуляр...»

Не поймешь,
 мужчина,
 рыба ли —

междометья
 зря
 не выпалит.

Где уж
 подпись и печать!
 «Только бы
 меня не выбрали,
 только б
 мне не отвечать...»

Ухо в метр
— никак не менее —
за начальством
ходит сзади,
чтоб, услышав
ихнье
мнение,
завтра
это же сказать им.
Если ж
старший
сменит мнение,
он
усвоит
мненье старшино:
— Мненье —
это не именье,
потерять его
не страшно.—
Хоть грабьте,
хоть режьте возле него,
не будет слушать ни плач,
ни вой.
«Наше дело
маленькое —
я сам по себе
не великий немой,
и рот
водою
наполнен мой,
вроде
умывальника я».
Трус
оброс
бумаг
корою.
«Где решать?!
Другие пусть.
Вдруг не выйдет?
Вдруг покроют?
Вдруг
возьму
и ошибусь?»

День-деньской
сплетает тонко
узы
самых странных свадеб —
увязать бы
льва с ягненком,
с кошкой
мышь согласовать бы.
Весь день
сердечко
ужас кройт,
предлогов для трепета —
кина.

Боится автобусов
и Эркаи,
начальства,
жены
и гриппа.

Месткома,
домкома,
просяющих взаймы,
кладбища,
милиции,
леса,
собак,
погоды,
сплетен,
зимы

и
показательных процессов.
Подрожит
и ляжет житель,
дрожью
ночь
корежит тело...

Товарищ,
чего вы дрожите?
В чем,
составлено,
дело?!

В аквариум,
что ли,
сажать вас?
Революция требует,
чтобы имелась
смелость,
смелость,
и еще раз —
с-м-е-л-о-с-т-Ь.

1928

С Т И Х
Н Е П Р О Д Р Я Н Ъ,
А П Р О Д Р Я Н Ц О.
Д Р Я Н Ц О
Х Л Е Щ И Т Е
Р И Ф М К О Н Ц О М

Всем известно,
что мною
дрянь
воспета
молодостью ранней.
Но дрянь не переводится.
Новый грянь
стих
о новой дряни.

Лезет
бытище
в щели во все.
Подновили житьишко,
предназначенное на слом,
человек
сегодня
приспособился и осел,
странный разновидностью —
сидящим ослом.
Теперь —
затишье.
Теперь не нарбится
дрянь
с настоящим
характерным лицом.

Теперь
пошло
с измельчанием народца
пошлое,
маленькое,
мелкое дрянцо.
Пережил революцию,
до нэпа дожил
и дальше
приспособится,
хитер на уловки...
Очевидно —
недаром тоже
и у булавок
бывают головки.
Где-то
пули
рвут
зnamённый шелк,
и нищий
Китай
встает, негодуя,
а ему —
наплевать.
Ему хорошо:
тепло
и не дует.
Тихо, тихо
стираются грани,
отделяющие
обывателя от дряни.
Давно
канареек
выкинул вон,
ничего
на птицу тратиться.
С индустриализации
завел граммофон
да канареечные
абажуры и платьица.
Устроил
уютную
постельную нишку.

Его
некультурной
ругать ли гадиною?!

Берет
и с удовольствием
перелистывает книжку,
интереснейшую книжку —
сберегательную.

Будучи
очень
так в семействе добрым,
рассуждает
лапчатый гусь:

«Боже
меня упаси от допра,
а от Мопра —
и сам упасусь».

Об этот
быт,
распухший и сальный,
долго
поэтам
язык оббивать ли?!

Изобретатель,
даешь
порошок универсальный,
сразу
убивающий
клопов и обывателей.

1928

ПЛЮШКИН
ПОСЛЕ ОКТЯБРЬСКИЙ СКОПИДОМ
ОБСТРАИВАЕТ СТОЛ И ДОМ

Обыватель —
многосортен.
На любые
вкусы
есть.

Даже
можно выдать орден —

всех
сумевшим
перечесть.
Многолики эти люди.
Вот один:
годах и в стах
этот дядя
не забудет,
как
тогда
стоял в хвостах.

Если
Союзу
день затруднел —
близкий
видится
бой ему.

О боевом
наступающем дне
этот мыслит по-своему:
«Что-то
рыпаются в Польше...
надобно,
покамест есть,
все достать,
всего побольше
накупить
и приобрести.
На товары
голод тяжкий
мне
готовят
битв года.

Посудите,
где ж подтяжки
мне
себе
купить тогда?
Чай вприкуску?
Я не сваха.

С блюдца пить —
привычка свах.
Что ж
тогда мне
чай и сахар
парисует,
что ли,
АХРР?»

Оглядел
товаров россыпь,
в жадности
и в алчи
укупил
двенадцать гроссов
дирижерских палочек.
«Нынче
все
сбесились с жиру.

Глянь —
война чрез пару лет.
Вдруг прикажут —
дирижируй! —
хвать,
а палочек и нет!
И ищи
и там и здесь.
Ничего хорошего!
Я
куплю,
покамест есть,
много
и дешево».
Что же вам
в концертном гвалте?

Вы ж
не Никиш,
а бухгалтер.
«Ничего,
на всякий случай,
все же
с палочками лучше».

Взлетала
о двух революциях весть.
Бурлили бури.
Плюхали пушки.
А ты,
как был,
такой и есть
ручною
вшой
копошащийся Плюшкин.
1928

Х А Л Т У Р Щ И К

«Пролетарий
туп жестоко —
дуб
дремучий
в блузной сини!
Он в искусстве
смыслит столько ж,
сколько
свиньи в апельсине.
Мужики —
большие дети.
Крестьянин
туп, как сука.
С ним
до совершеннолетия
можно
только что
сюсюкать»:
В этом духе
порешив,
шевелюры
взбивши кущи,
нагоняет
барыши
всесоюзный
маг-халтурщик.
Рыбьим фальцетом
бездарно оря,

он
из опер покривкает,
он
переделывает
«Жизнь за царя»
в «Жизнь
за товарища Рыкова».

Он
берет
былую оду,
славящую
царский шелк,
«оду»
перешьет в «свободу»
и продаст,
как рев-стишок.

Жанр
намажет
кистью тучной,
но, узря,
что спроса нету,
жанр изрежет
и поштучно
разбазарит
по портрету.

Вылепит
Лассала
если же
ихняя порода;
никто
не купит ужас глиняный —
прискульптурив
бороду на подбородок,
из Лассала
сделает Калинина.

Близок
юбилейный риф,
на заказы
впопь добры,
помешают волоса ли?
Год в Калининых побыв,
бодро
бороду побрив,

снова
бюст
Вновь пошел в Лассали.
Лассаль
стоит в продаже,
омоложенный проворно,
вызывая
зависть
даже
у профессора Воронова.

По наркомам
с кистью лазя,
день-деньской
заказов ждя,
укрепил
проныра
связи
в канцеляриях вождя.
Сила знакомства!
Сила родни!
Сила
привычек и давности!
Только попробуй
да сковырни
этот
нарост бездарностей!
По всем известной вероятности —
не оберешься
неприятностей.

Рабочий,
крестьянин,
швабру возьми,
метущую чисто
и густо,
и, месяц
метя
часов по восьми,
смети
халтуру
с искусства.

1928

СЕКРЕТ МОЛОДОСТИ

Нет,
не те «молодежь»,
кто, забившись
в лужайку да в лодку,
начинает
под визг и галдеж
прополаскивать
водкой
глотку.

Нет,
не те «молодежь»,
кто весной
ночами хорошими,
раскрывлявшись
модой одежд,
подметают
бульвары
клешами.

Нет,
не те «молодежь»,
кто восхода
жизни зарево,
услыхав в крови
зудеж,
на романы
разбазаривает.

Разве
это молодость?
Нет!

Мало
быть
восемнадцати лет.
Молодые —
это те,
кто бойцовым
рядам поределым
скажет
именем
всех детей:

«Мы
земную жизнь переделаем!»
Молодежь —
это имя —
дар
тем,
кто влит в боевой КИМ,
тем,
кто бьется,
чтоб дни труда
были радостны
и легки!

1928

И Д И Л Л И Я

Революция окончилась.
Житье чинй.
Ручейковою
журчи водицей.
И пошел
советский мещанин
успокаиваться
и обзаводиться.

Белые
обои
кари —
в крапе мух
и в пленке пыли,
а на копоти
и гари
Гаррэй
Пилей
прикрепили.
Спелой
дыней
лампа свисла,
светом
ласковым
упав.

Пахнет липким,
пахнет кислым
от пеленок
и супов.
Тесно править
варку,
стирку,
третее
дитё родив.

Вот
ужо
сулил квартирку
в центре
кооператив.

С папой
«Ниву»
смотрят детки,
в «Красной ниве» —
нету терний.

«Это, дети,—
Клара Цеткин,

тетя эта
в Коминтерне».
Впились глазки,
спимки выев,
смотрят —
с час
журналом вея.

Спрашивает
папу
Фия:
«Клара Цеткин —
это фея?»

Братец Павлик
фыркнул:
«Фи, как
немарксична эта Фийка!
Политрук
сказал же ей —
аннулировали фей».

Самовар
кипит со свистом,
граммомон
визжит романс,
два
знакомых коммуниста
подошли
на преферанс.
«Пизырь коки...
черви...
масти...»

Ритуал
свершен сполна...
Смотрят
с полочки
на счастье
три
фарфоровых слона.
Обеспечен
сном
и кормом,
вьет
очаг
семейный дым...
И доволен
сам
домкомом,
и домком
доволен им.

Революция не кончилась.
Домашнее мычанье
покрывает
приближающейся битвы гул...
В трубы
в самоварные
господа мещане
встречу
выдувают
прущему врагу.

Товарищ Попов
 чуть-чуть не от плуга.

Чуть
 не от станка
 и сохи.

Он —
 даже партиец,
 но он
 перепуган,
 брюзжит
 баритоном сухим:
 «Раскроешь газетину —
 в критике вся,—
 любая
 колеблется
 Кроют. глыба.
 Кого?
 Аж волосы́
 встают
 от фамилий
 дыбом.

Ведь это —
 подрыв,
 подкоп ведь это...
 Критику
 осторожненько
 А эти —
 должно вести.
 критикуют,
 не щадя авторитета,
 ни чина,
 ни стажа,
 Критика
 ни должности.
 снизу —
 это яд.

Сверху —
 вот это лекарство!
 Ну, можно ль
 позволить
 низам,
 подряд,

всем! —
заниматься критиканством?!

О мерзостях

наших

Иди трубим и поем.

и в газетах срамись я!

Ну, я ошибся...

Так в тресте ж,

в моем,

имеется

ревизионная комиссия.

Ведь можно ж,

не задевая столпов,

в кругу

своих,

братишек,—

вызвать,

сказать:

— Товарищ Попов,

орудуй...

тово...

потише... —

Пристали

до тошноты,

до рвот...

Обмазывают

кистью густою.

Товарищи,

ведь это же ж

подорвет

государственные устои!

Кого критикуют? —

вопит, возомня,

аж голос

визжит

тенорком. —

Вчера —

Иванова,

сегодня —

меня,

а завтра —

Совнарком!»

Товарищ Попов,
оставьте скулеж.
Болтовня о подрывах —
ложь!
Мы всех зовем,
чтоб в лоб,
а не пятясь,
критика
дрянь
косила.

И это
лучшее из доказательств
нашей
чистоты и силы.

1928

П О Д Л И З А

Этот сорт народа —
тих
и бесформен,
словно студень,—
очень многие
из них
в наши
дни
выходят в люди.

Худ умом
и телом чахл
Петр Иванович Болдашкин.
В возмутительных прыщах
зря
краснеет

на плечах
не башка —
а набалдашник.

Этот
фрукт
теперь согрет
солнцем
нежного начальства.

Где причина?
В чем секрет?
Я
задумываюсь часто.
Жизнь
его
идет на лад;
на него
не брошу тень я.
Клад его —
его талант:
нежный
способ
обхожденья.
Лижет ногу,
лижет руку,
лижет в пояс,
лижет ниже,—
как кутенок
лижет
суху,
как котенок
кошку лижет.
А язык?!
На метров тридцать
догонять
начальство
вылез —
мыльный весь,
аж может
бриться,
даже
кисточкой не мылясь.
Все похвалит,
впавши
в раж,
что
фантазия позволит —
ваш катар,
и чин,
и стаж,
вшую доблесть
и мозоли.

И ему
пошли
чины,
на него
в быту
равненье.
Где-то
будто
вручены
чуть ли не —
бразды правленья.

Раз
уже
в руках вожжа,
всех
сведя
к подлизным взглядам,
раслюнявит:
«Уважать,
уважать
начальство
надо...»

Мы
глядим,
уныло ахая,
как растет
от ихней братии
архи-разиерархия
в издевательстве
над демократией.

Вея шваброй
верхом,
низом,
смесь бы
всех,
кто поддались,
всех,
радеющих подлизам,
всех
радетельских
подлиз.

С П Л Е Т И К

Петр Иванович Сорокин
в страсти —
холоден, как лед.
Все
ему
чужды пороки:
и не курит
и не пьет.
Лишь одна
любовь
рекой
залила
и в бездну клонит —
любит
этакой серьгой
повисеть на телефоне.
Фарширован
сплетен
кором, —
он
вприпрыжку,
как коза,
к первым
вспомненным
знакомым
мчится
новость рассказать.
Задыхаясь
и сипя,
доброя
до вашей
дали,
он
прибавит от себя
иуд
пикантнейших деталей.
«Ну...—
начнет,
пожавши руки,—
обхочете живот,

Александр
Петрович
Брюкин —
с секретаршою живет.
А Иван Иваныч Тестов —
первый
в тресте
инженер —
из годичного отъезда
возвращается к жене.
А у той,
простите,
скоро —
прибавленье!
Быть возне!
Кстати,
вот что —
целый город
говорит,
что раз
Скрыл во спе...»
губу ладоней ком,
стал от страха остролицым.
«Новость:
предъявил...
губком...
ультиматум
австралийцам».
Прослюнив новость
вкусе
с новостишкой
страной
быстро с этой,
всем
должен —
что в супе
варилось у соседа,
кто
и что
отправил в рот,

нет ли,
есть ли
хахаль новый,
и из чьих
таких
щедрот
новый
сак
у Ивановой.

Когда
у такого
спросим мы
желание
самое важное —
он скажет:
«Желаю,
чтоб был
мир
огромной
замочной скважиной.
Чтоб, в скважину
в эту
влезши на треть,
слону
подбирая еле,
смотреть
без конца,
без края смотреть —
в чужие
дела и постели».

1928

Х А Н Ж А

Петр Иванович Васюткин
бога
беспокоит много —
тыщу раз,
должно быть,
в сутки
упомянет
имя бога.

У святоши —
хитрый нрав,—
черт
в делах
сломает ногу.

Пару
коробов
наврав,
перекрестится:
«Ей-богу».

Цапнет
взятку —
лапа в сале.
Вас считая за осла,
на вопрос:
«Откуда взяли?» —
отвечает:
«Бог послал».

Он
заткнул
от нищих уши.—
сколько ни проси, горласт,
как от мухи
отмахнувшись,
важно скажет:
«Бог подаст».

Вам
всуча
дрянцо с пыльцой,
обворовывая трест,
крестит
пузо
и лицо,
чист, как голубь:
«Вот те крест».

Грабят,
режут —
очень мило!

Имя
божеское
помнящ,

он
пройдет,
сказав громилам:
«Мир вам, братья,
бог на помощь!»

Вор
крадет
с ворами вкупе.

Поглядев
и скрывшись вбок,
прошептал,
глаза потупив:
«Я не вижу...
Видит бог».

Обворовывая
массу,
разкиревши понемногу,
подытожил
сладким басом:
«День прожил —
и слава богу».

Возвращаясь
домой
с питей —

пил
с попом пунцоворожим,—
он
сечет
своих детей,
чтоб держать их
в страхе божьем.

Жене
измочалит
волосья и тело
и, женин
гнев
остудя,
бубнит елейно:
«Семейное дело.

Бог
нам
судья».

На душе
и мир
и ясь.

Помянувши
бога
на ночь,
скромно
ляжет,
помолясь,
христианин
Петр Иваныч.

Ублажаясь
куличом да пасхой,
божьим словом
нагоняя жир,
все еще
живут,
как у Христа за пазухой,
всероссийские
ханжи.

1928

С Т И Х И О Р А З Н И Ц Е В К У С О В

Лошадь
сказала,
взглянув на верблюда:
«Какая
гигантская
лошадь-ублюдок».

Верблюд же
вскричал:
«Да лошадь разве ты?!

Ты
просто-напросто —
верблюд недоразвитый».

И знал лишь
бог седобородый,
что это —
животные
разной породы.

1928

ПИСЬМО ТОВАРИЩУ КОСТРОВУ
ИЗ ПАРИЖА О СУЩНОСТИ ЛЮБВИ

Простите
меня,
товарищ Костров,
с присущей
душевной ширью,
что часть
на Париж отпущенных строф
на лирику
я
растранжию.

Представьте:
входит
красавица в зал,
в меха
и бусы оправленная.
Я
этую красавицу взял
и сказал:
— правильно сказал
или неправильно? —
Я, товарищ,—
из России,
знаменит в своей стране я,
я видал
девиц красивей,
я видал
девиц стройнее.
Девушкам
поэты любы.
Я ж умен
и голосист,
заговариваю зубы —
только
слушать согласись.
Не поймать
меня
на дряни,
на прохожей
паре чувств.

Я ж
навек
любовью ранен —
еле-еле волочусь.

Мне
любовь
не свадьбой мерить:
разлюбила —
уплыла.

Мне, товарищ,
в высшей мере
наплевать
на купола.
Что ж в подробности вдаваться,
шутки бросьте-ка,
мне ж, красавица,
не двадцать,—
тридцать...
с хвостиком.

Любовь
не в том,
чтоб кипеть крутей,
не в том,
что жгут угольями,
а в том,
что встает за горами грудей
над
волосами-джунглями.

Любить —
это значит:
в глубь двора
вбежать
и до ночи грачей,
блестя топором,
рубить дрова,
силой
своей
играючи.
Любить —
это с простынь,
бессонницей рваных,
срываться,
ревнуя к Копернику,

его,
а не мужа Марьи Иванны
считая
своим
соперником.

Нам
любовь
не рай да кущи,
нам
любовь
гудит про то,
что опять
в работу пущен
сердца
выстывший мотор.

Вы
к Москве
порвали нить.

Годы —
расстояние.

Как бы
вам бы
объяснить
это состояние?

На земле
огней — до неба...

В синем небе
звезд —
до черта.

Если б я
поэтом не был,
я бы
стал бы
звездочетом.

Подымает площадь шум,
экипажи движутся,
я хожу,

стишки пишу
в записную книжицу.
Мчат
авто
по улице,
а не свалят наземь.

Понимают
умницы:
человек —
в экстазе.
Сонм видений
и идей
полн
до крышки.
Тут бы
и у медведей
выросли бы крыльшки.
И вот
с какой-то
грозовой столовой,
когда
докипело это,
из зева
до звезд
взвивается слово
золоторожденной кометой.
Распластан
хвост
небесам на треть,
блестит
и горит оперенье его,
чтоб двум влюбленным
на звезды смотреть
из ихней
беседки сиреневой.
Чтоб подымать,
и вести,
и влечь,
которые глазом ослабли.
Чтоб вражки
головы
спиливать с плеч
хвостатой
сияющей саблей.
Себя
до последнего стука в груди,
как на свиданье,
простаивая,

прислушиваюсь:
любовь загудит —
человеческая,
простая.
Ураган,
огонь,
вода
подступают в ропоте.
Кто
сумеет
совладать?
Можете?
Попробуйте...

1928

ПИСЬМО
ТАТЬЯНЕ ЯКОВЛЕВОЙ

В поцелуе рук ли,
губ ли,
в дрожки тела
близких мне
красный
цвет
моих республик
тоже
должен
пламенеть.
Я не люблю
парижскую любовь:
любую самочку
шелками разукрасьте,
потягиваясь, задремлю,
сказав —
собакам
тубо —
озверевшей страсти.
Ты одна мне
ростом вровень,
стань же рядом
с бровью брови,
дай
про этот
важный вечер

рассказать
по-человечьи.
Пять часов,
и с этих пор
стих
людей
дремучий бор,
вымер
город заселенный,
слышу лишь
свисточный спор
поездов до Барселоны.
В черном небе
молний поступь,
гром
ругней
в небесной драме,—
не гроза,
а это
просто
ревность
двигает горами.
Глупых слов
не верь сырью,
не пугайся
этой тряски,—
я взнуздаю,
я смирио
чувства
отпрысков дворянских.
Страсти коры
сойдет коростой,
но радость
неиссыхаемая,
буду долго,
буду просто
разговаривать стихами я.
Ревность,
жены,
слезы...
ну их! —

вспухнут веки,
впору Вию.

Я не сам,
а я
ревную
за Советскую Россию.
Видел
на плечах заплаты,
их
чахотка
лижет вздохом.
Что же,
мы не виноваты —
ста миллионам
было плохо.
Мы
теперь
к таким нежны —
спортом
выпрямишь не многих, —
вы и нам
в Москве нужны,
не хватает
длинноногих.
Не тебе,
в снега
и в тиф
шедшей
этими ногами,
здесь
на ласки
выдать их
в ужины
с нефтяниками.
Ты не думай,
щурясь просто
из-под выпрямленных дуг.
Иди сюда,
иди на перекресток
моих больших
и неуклюжих рук.
Не хочешь?
Оставайся и зимуй,

и это
оскорбление
на общий счет нанижем.
Я все равно
тебя
когда-нибудь возьму —
одну
или вдвоем с Парижем.

1928

РАЗГОВОР
С ТОВАРИЩЕМ ЛЕНИНЫМ

Грудой дел,
суматохой явлений
день отошел,
постепенно стемнев.

Двое в комнате.

Я
и Ленин —
фотографией
на белой стене.

Рот открыт
в напряженной речи,

усов
щетинка
вздернулась ввысь,
в складках лба

зажата
человечья,

в огромный лоб
огромная мысль.

Должно быть,
под ним
проходят тысячи...

Лес флагов...
рук трава...
Я встал со стула,
радостью высвечен,

хочется —

идти,

приветствовать,

рапортовать!

«Товарищ Ленин,

я вам докладываю

не по службе,

а по душе.

Товарищ Ленин,

работа адовая

будет

сделана

и делается уже.

Освещаем,

одеваем ниць и боголь,

ширится

добыча

угля и руды...

А рядом с этим,

конечно,

много,

много

разной

дряни и ерунды.

Устаешь

отбиваться и отгрызаться.

Многие

без вас

отбились от рук.

Очень

много

разных мерзавцев

ходят

по нашей земле

и вокруг.

Нету

им

ни числа,

ни клички,

целая

лента типов

тянется.

Кулаки
и волокитчики,
подхалимы,
сектанты
и пьяницы,—
ходят,
гордо
выпятив груди,
в ручках сплошь
и в значках нагрудных...
Мы их
всех,
конешно, скрутим,
но всех
скрутить
ужасно трудно.
Товарищ Ленин,
по фабрикам дымным,
по землям,
покрытым
и снегом
и живиъём,
вашим,
товарищ,
сердцем
и именем
думаем,
дышиим,
боремся
и живем!..»

Грудой дел,
суматохой явлений
день отошел,
постепенно стемнев.
Двое в комнате.
Я
и Ленин —
фотографией
на белой стене.

Где вы,
 бодрые задиры?
 Крыть бы розгой!
 Взять в слезу бы!

До чего же
 наш сатирик
 измельчал
 и обеззубел!

Для подхода
 для такого
 мало,
 что ли,
 жизнь дрянна?

Для такого
 Салтыкова —
 Салтыкова-Щедрина?
 Заголовком
 жирно-алым

мозжечок
 прикрывши
 тощий,

ходят
 тихо
 по журналам
 дореформенные тещи.
 Саранчой

улыбки выев,

ходят
 нэпманам на страх
 анекдоты гробовые —
 гроб

о финансаторах.

Или,
 любой измусоля
 сотню

строк
 в бумажный крах,

пишут
 про свои мозоли
 от зажатья в цензорах.

Дескать,
в самом лучшем стиле,
будто
розы на заре,
лепестки
пораспустили б
мы
без этих цензорей.

А поди
сними рогатки —
этаких
писцов стада
пару
анекдотов гадких
ткнут —
и снова пустота.

Цензоров
обвыли воем.
Я ж
другою
мыслию ранен:
жалко бедных,
каково им
от прочтенья
столькой дряни?

Обличитель,
меньше крему,
очень
темы
хороши.
О хорошенъкую тему
зуб
не жалко искрошить.

Дураков
больших
обдумав,
взяли б
в лапы
лупы вы.

Мало, што ли,
помпадуров?
Мало —
градов Глуповых?

Припаси
на зубе
яд,
в километр
жало вызмей
против всех,
кто зря
сидят
на труде,
на коммунизме!
Чтоб не скрылись,
хвост упрятав,
крупных
вылови налимов —
кулаков
и бюрократов,
дураков
и подхалимов.

Измельчал
и обеззубел,
обэстетился сатирик.
Крыть бы в розги,
взять в слезу бы!
Где вы,
бодрые задиры?

1929

НА ЗАПАДЕ ВСЕ СПОКОЙНО

Как совесть голубя,
чист асфальт.
Как лысина банкира,
тротуара плиты
(после того,
как трупы
на грузовозы взвалят
и кровь отмоют
от плит полытых).
В бульварах
буржуеныши,
под нянин сказ,

медведям
игрушечным
гладят плюшики
(после того,
как баллоны
заполнил газ
и в полночь
прогрохали
к Польше
пушки).

Миротворцы
сияют
цилиндровым глянцем,
мозолят язык,
состязаясь с мечом
(после того,
как посланы
винтовки афганцам,
а бомбы —
басмачам).

Сидят
по кафе
гусары спешенные.

Пехота
развлекается
в штатской лени.

А под этой
идиллией —
взлихораденно-бешеные
военные
приготовления.

Кровавых капель
пунктирный путь
ползет по земле,—
недаром кругла!

Кто-нибудь
кого-нибудь
подстреливает
из-за угла.

Целят —
в сердце.
В самую точку.

Одно
стрельбы командирам
надо —
бунтовщиков
смирив в одиночку,
погнать
на бойню
баранье стадо.

Сегодня
кровишка
мелких стычек,

а завтра
в толпы
танки тыча,

кровищи
вкус
война поймет,—

пойдет
хлестать
с бронированных птичек
железа
и газа
кровавый помет.

Смотри,
выступает
из близких лет,
костями постукивает
лошадь-краса.

На ней
войны
пожелтевший скелет,
и сталью
синеет
смерти коса.

Мы,
излюбленное
пушечное лакомство,
мы,
оптовые потребители
костылей
и протез,

мы
выйдем на улицу,
мы
1 августа
аж к небу
гвоздями
прибьем протест.

Долой
политику
пороховых бочек!
Довольно
дома
пугливо щуплиться!
От первой Республики
крестьян и рабочих
отбросим
войны
штыкастые щупальцы.

Мы
требуем мира.
Но если
tronste,
мы
в роты сожмемся,
сжавши рот.
Зачинщики бойни
увидят
на фронте
один
восставший
рабочий фронт.

1929

ПАРИЖАНКА

Вы себе представляете
парижских женщин
с шеей разжемчуженной,
разбриллиантенной
рукой...
Бросьте представлять себе!
Жизнь —
жестче —

у моей парижанки
вид другой.
Не знаю, право,
молода
или стара она,
до желтизны
отшлифованная
в лощеном хамье.

Служит
она
в уборной ресторана —
маленького ресторана —
Гранд-Шомьер.
Выпившим бургундского
может захотеться
для облегчения
пойти пройтись.

Дело мадмуазель
подавать полотенце,
она
в этом деле
просто артист.

Пока
у трюмо
разглядываешь прыщик,
она,
разулыбив
облупленный рот,
пудрой подпудрит,
духами попрыщет,
подаст пипифакс
и лужу подотрет.

Раба чревоугодий
торчит без солнца,
в клозетной шахте
по суткам
клопея,
за пятьдесят сантимов!
(По курсу червонца
с мужчины
около
четырех копеек.)

Под умывальником
ладони омывая,
дыши
диковиной
парфюмерных зелий,
над мадмуазелью
недоумевая,
хочу
сказать
мадмуазели:
— Мадмуазель,
ваш вид,
извините,
жалок.
На уборную молодость
губить не жалко вам?
Или
мне
наврали про парижанок,
или
вы, мадмуазель,
не парижанка.
Выглядите вы
туберкулезно
и вяло.
Чулки шерстяные...
Почему не шелкá?
Почему
не шлют вам
пармских фиалок
благородные мусью
от полного кошелька? —
Мадмуазель молчала,
грохот наваливал
на трактир,
на потолок,
на нас.
Это,
кружа
веселье карнавалово,
весь
в парижанках
гудел Монпарнас.

Простите, пожалуйста,
за стих раскраженный
и
за описанные
вонючие лужи,
но очень
трудно
в Париже
женщине,
если
женщина
не продается,
а служит.

1929

К Р А С А В И Ц Ы
(РАЗДУМЬЕ НА ОТКРЫТИИ
GRAND OPÉRA¹)

В смокинг вштопорен,
побрит что надо.
По гранд
по опере
гуляю грандом.
Смотрю
в антракте —
красавка на красавице.
Размяк характер —
все мне
нравится.
Талии —
кубки.
Ногти —
в глянце.
Крашеные губки
розой убигаются.
Ретушь —
у глаза.
Оттеняет синь его.
Спины
из газа
цвета лососиньего.

¹ Большой Оперы (*франц.*). — Ред.

Упадая
с высоты,
пол
метут
шлейфы.
От такой
красоты
сторонитесь, рефы.
Повернет —
в брильянтах уши.
Пошевелится шаля —
на грудинке
ряд жемчужин
обнажают
шиншиля.
Платье —
пухом.
Не дыши.
Аж на старом
на морже
только фай
только да крепдешин,
облако жоржет.
Брошки — блещут...
на тебе! —
с платья
с полуоголого.
Эх,
к такому платью бы
да еще бы...
голову.

1929

СТИХИ О СОВЕТСКОМ ПАСПОРТЕ

Я волком бы
выгрыз
бюрократизм.
К мандатам
почтения нету.
К любым
чертям с матерями
катись

любая бумажка.

Но эту...
По длинному фронту
купе
и кают

чиновник
учтивый
движется.

Сдаают паспорта,
и я
сдаю

мою
пурпурную книжицу.

К одним паспортам —
улыбка у рта.

К другим —
отношение плевое.

С почтеньем
берут, например,
паспорта

с двухспальным
английским левою.

Глазами
доброго дядю выев,
не переставая
кланяться,

берут,
как будто берут чаевые,
паспорт
американца.

На польский —
глядят,
как в афишу коза.

На польский —
выпяливают глаза
в тугой

полицейской слоновости —
откуда, мол,
и что это за

географические новости?

И не повернув
головы кочан

и чувств
никаких
не изведав,
берут,
не моргнув,
паспорта датчан
и разных
прочих
шведов.

И вдруг,
как будто
ожогом,
рот
скривило
господину.

Это
господин чиновник
берет
мою
краснокожую паспортину.
Берет —
как бомбу,
берет —
как ежа,
как бритву
обоюдоострую,
берет,
как гремучую
в 20 жал
змею
двухметроворостую.

Моргнул
многозначаще
глаз носильщика,
хоть вещи
снесет задаром вам.

Жандарм
вопросительно
смотрит на сыщика,
сыщик
на жандарма.
С каким наслажденьем
жандармской кастой

я был бы
исхлестан и распят
за то,
что в руках у меня
молоткастый,
серпастый
советский паспорт.
Я волком бы
выгрыз
бюрократизм.
К мандатам
почтения нету.
К любым
чертям с материами
катись
любая бумажка.
Но эту...

Я
достаю
из широких штанин
дубликатом
бесценного груза.
Читайте,
завидуйте,
я —
гражданин
Советского Союза.

1929

П Т И Ч К А Б О Ж И Я

Он вошел,
склоняясь учтиво.
Руку жму.
— Товарищ —
сядьте!
Что вам дать?
Автограф?
Чтиво?
— Нет.
Мерси вас.
Я —
писатель.

— Вы?
Писатель?

Извините.

Думал —
вы пижон.
А вы...

Что ж,
прочтите,
зазвените
грозным
маршем
босовым.

Вихрь идей
у вас,
должно быть.

Новостей
у вас
вагон.

Что ж,
пожалте в уха в оба.

Рад товарищу.—
А он:

— Я писатель.
Не прозаик.

Нет.
Я с музами в связи.—

Слог
изыскан, как борзая.

Сконапель
ля поэзий ¹.

На затылок
нежным жестом

он
кудрей
закинул шелк,

стал
барабашком златошерстым
и заблеял,
и пошел.

¹ То, что называют поэзией (*франц. ce qu'on appelle la poésie*). — Ред.

Что луна, мол,
над долиной,
мчит
ручей, мол,
по ущелью.

Тинтидликал
мандолиной,
дундудел виолончелью.

Нимб
обвил
волосьев копны.

Лоб
горел от благородства.

Я терпел,
терпел
и лопнул

и ударил
лапой
об стол.
— Попрошу вас
покороче.

Бросьте вы
поэта корчить!

Посмотрю
с лица ли,
сзади ль,

вы тюльпан,
а не писатель.

Вы,
над облаками рея,
птица
в человечий рост.

Вы, мусье,
из канареек,
чижик вы, мусье,
и дрозд.

В испытанье
битв
и бед

с вами,
што ли,
мы
полезем?

В наше время
 тот —
 поэт,
 тот —
 писатель,
 кто полезен.
 Уберите этот торт!
 Стих даешь —
 хлебов подвозу.
 В наши дни
 писатель тот,
 кто напишет
 марш
 и лозунг!

1929

РАССКАЗ ХРЕНОВА О КУЗНЕЦК СТРОЕ И О ЛЮДЯХ КУЗНЕЦКА

К этому месту будет подвезено в пятилетку 1 000 000 вагонов строительных материалов. Здесь будет гигант металлургии, угольный гигант и город в сотни тысяч людей.

Из разговора

По небу
 тучи бегают,
 дождями
 сумрак сжат,
 под старою
 телегою
 рабочие лежат.
 И слышит
 шепот гордый
 вода
 и под
 и над:
 «Через четыре
 здесь
 будет
 город-сад!»
 Темно свинцовоночие,
 и дождик
 толст, как жгут,

сидят
в грязи
рабочие,
сидят,
лучину жгут.

Сливеют
губы
с холода,
но губы
шепчут в лад:
«Через четыре
года
здесь
будет
город-сад!»

Свела
промозгость
корчево —
неважный
мокр
сидят уют,
в потьмах
рабочие,
подмоκший
хлеб
жуют.

Но шепот
громче голода —
он кроет
капель
спад:

«Через четыре
года

здесь
будет
город-сад!

Здесь
взрывы закудахтают
в разгон
медвежьих банд,
и взроет
недра
шахтою

стругольный
«Гигант».
Здесь
встанут
стройки
стенами.
Гудками,
пар,
сиши.
Мы
в сотню солнц
мартеами
воспламеним
Сибирь.
Здесь дом
дадут
хороший нам
и ситный
без пайка,
аж за Байкал
отброшенная
попятится тайга».
Рос
шепоток рабочего
над темью
тучных стад,
а дальше
неразборчиво,
лишь слышно —
«город-сад».
Я знаю —
город
будет,
я знаю —
саду
цвесь,
когда
такие люди
в стране
в советской
есть!

1929

МАРШ УДАРНЫХ БРИГАД

Вперед
тракторами по целине!
Домны
коммуне
подступом!

Сегодня
бейся, революционер,
на баррикадах
производства.

Раздувай
коллективную
грудь-меха,
лозунг
мчи
по рабочим взводам.
От ударных бригад
к ударным цехам,
от цехов
к ударным заводам.

Вперед,
в египетскую
русскую темь,
как
гвозди,
вбивай
лампы!

Шаг держи!
Не теряй темп!
Перегнать
пятилетку
нам бы.
Распробабкиной техники
скидывай хлам.

Днепр,
турбины
верти по заводьям.
От ударных бригад
к ударным цехам,
от цехов
к ударным заводам.

Вперед!
Коммуну
из времени
вод
не выловишь
золото-рыбкою.
Накручивай,
наворачивай ход
без праздников —
непрерывкою.
Трактор
туда,
где корпела соха,
хлеб
штурмуй
колхозным
походом.
От ударных бригад
к ударным цехам,
от цехов
к ударным заводам.
Вперед
беспрогульным
гигантским ходом!
Не взять нас
буржуевым гончим!
Вперед!
Пятилетку
в четыре года
выполним,
вымчим,
закончим.
Электричество
лей,
река-лиха!
Двигай фабрики
фырком зловодым.
От ударных бригад
к ударным цехам,
от цехов
к ударным заводам.
Энтузиазм,
разрастайся и длись

фабричным
сиянием радужным.
Сейчас
подымается социализм
живым,
настоящим,
правдошим.
Этот лозунг
неси
бряцаньем стиха,
размалой
плакатным разводом.
От ударных бригад
к ударным цехам,
от цехов —
к ударным заводам.

1930

Л Е И Н Ц Ы

Если
блокада
нас не сморила,
если
не сожрала
война горяча —
это потому,
что примером,
мерилом
было
слово
и мысль Ильича.

— Вперед
за Республику
лавой атак!
На первый
военный клич! —
Так
велел
защищаться
Ильич.

Втрое,
каждый
стенок и верстак,
работу
свою
увеличь!

Так
велел
работать
Ильич.

Наполним
нефтью
Республики бак!

Уголь,
расти от добычи!

Так
работать
велел Ильич.

«Снижай себестоимость,
выведи брак!» —
гудков

вызывает
зыч,—

так
работать
звал Ильич.

Комбайном
на общую землю наляг.

Огнем
пустыри расфабричь!

Так
Советам
велел Ильич.

Сжимай экономией
каждый пятак.

Траты
учись стричь,—
так
хозяйничать
звал Ильич.

Огнями лами
просверливай мрак,

Республику
разэлектричъ,—
так
велел
рассветиться
Ильич.
Религия — опиум,
религия — враг,
довольно
поповских притч,—
так
живь
велел Ильич.
Достань
бюрократа
под кипой бумаг,
рабочей
ярости
бич,—
так
бороться
велел Ильич.
Не береги
от критики
лак,
чин
в оправданье
не тычъ,—
так
велел
держаться
Ильич.
«Слева»
не рви
коммунизма флаг,
справа
в унынье не хнычъ,—
так
идти
наказал Ильич.
Намордник фашистам!
Довольно
собак

спускать
на рабочую «дичь»!
Так
велел
наступать Ильич.

Не хнычем,
а торжествуем
и чествуем.
Ленин с нами,
бессмертен и величав,
по всей вселенной
ширится шествие —
мыслей,
слов
и дел Ильича.

1930

ПОЭМЫ

О Б Л А К О В Ш ТА НАХ
Т Е Т РА П ТИХ

Вашу мысль,
мечтающую на размягченном мозгу,
как выжиревший лакей на засаленной кушетке,
буду дразнить об окровавленный сердца лоскут;
досыта изъиздеваюсь, нахальный и едкий.

У меня в душе ни одного седого волоса,
и старческой нежности нет в ней!
Мир огромив мощью голоса,
иду — красивый,
двадцатидвухлетний.

Нежные!
Вы любовь на скрипки ложите.
Любовь на литавры ложит грубый.
А себя, как я, вывернуть не можете,
чтобы были одни сплошные губы!

Приходите учиться —
из гостиной батистовая,
чинная чиновница ангельской лиги.

И которая губы спокойно перелистывает,
как кухарка страницы поваренной книги.

Хотите —
буду от мяса бешеный
— и, как небо, меняя тона —
хотите —

буду безукоризненно нежный,
не мужчина, а — облако в штанах!

Не верю, что есть цветочная Ницца!
Мною опять славословятся
мужчины, залежанные, как больница,
и женщины, истрепанные, как пословица.

1

Вы думаете, это бредит малярия?

Это было,
было в Одессе.

«Приду в четыре», — сказала Мария.

Восемь.

Девять.

Десять.

Бот и вечер
в ночную жуть
ушел от окон,
хмурый,
декабрый.

В дряхлую спину хохочут и ржут
канделябры.

Меня сейчас узнать не могли бы:
жилистая громадина
стонет,
корчится.

Что может хотеться этакой глыбе?
А глыбе многое хочется!

Ведь для себя не важно
и то, что бронзовый,
и то, что сердце — холодной железкою.
Ночью хочется звон свой
спрятать в мягкое,
в женское.

И вот,
громадный,
горблюсь в окне,
плавлю лбом стекло окошечное.
Будет любовь или нет?
Какая —
большая или крошечная?
Откуда большая у тела такого:
должно быть, маленький,
смирный любёночек.
Она шарагается автомобильных гудков.
Любит звоночки коночек.

Еще и еще,
уткнувшись дождю
лицом в его лицо рябое,
жду,
обрызганный громом городского прибоя.

Полночь, с ножом мечась,
догнала,
зарезала,—
вон его!

Упал двенадцатый час,
как с плахи голова казненного.

В стеклах дождинки серые
свылись,
гримасу громадили,
как будто воют химеры
собора Парижской богоматери.

Проклятая!
Что же, и этого не хватит?
Скоро криком издерется рот.

Слышу:
тихо,
как больной с кровати,
спрыгнул нерв.
И вот,—
сначала прошелся

едва-едва,
потом забегал,
взволнованный,
четкий.

Теперь и он и новые два
мечутся отчаянной чечеткой.

Рухнула штукатурка в нижнем этаже.

Нервы —
большие,
маленькие,
многие! —
скачут бешеные,
и уже
у нервов подкашиваются ноги!

А ночь по комнате тинится и тинится,
из тины не вытянуться отяжелевшему глазу.

Двери вдруг заляскали,
будто у гостиницы
не попадает зуб на зуб.

Вошла ты,
резкая, как «нате!»,
мучь перчатки замш,
сказала:
«Знаете —
я выхожу замуж».

Что ж, выходите.
Ничего.
Покреплюсь.
Видите — спокоен как!
Как пульс
покойника.

Помните?
Вы говорили:
«Джек Лондон,
деньги,

любовь,
 страсть», —
 а я одно видел:
 вы — Джиоконда,
 которую надо украсть!

И укради.

Опять влюбленный выйду в игры,
 огнем озаряя бровей загиб.
 Что же!

И в доме, который выгорел,
 иногда живут бездомные бродяги!

Дразните?
 «Меньше, чем у нищего копеек,
 у вас изумрудов безумий».
 Помните!
 Погибла Помпея,
 когда раздразнили Везувий!

Эй!
 Господа!
 Любители
 святотатств,
 преступлений,
 боен,—
 а самое страшное
 видели —
 лицо мое,
 когда
 я
 абсолютно спокоен?

И чувствую —
 «я»
 для меня малоб.
 Кто-то из меня вырывается упрямо.

Allo!
 Кто говорит?
 Мама?
 Мама!

Ваш сын прекрасно болен!
Мама!
У него пожар сердца.
Скажите сестрам, Люде и Оле,—
ему уже некуда деться.
Каждое слово,
даже шутка,
которые изрыгает обгорающим ртом он,
выбрасывается, как голая проститутка
из горящего публичного дома.

Люди нюхают —
запахло жареным!
Нагнали каких-то.
Блестящие!
В касках!
Нельзя сапожища!
Скажите пожарным:
на сердце горящее лезут в ласках.
Я сам.
Глаза наслезнённые бочками выкачу.
Дайте о ребра опереться.
Выскочу! Выскочу! Выскочу! Выскочу!
Рухнули.
Не выскочишь из сердца!

На лице обгорающем
из трещины губ
обугленный поцелуинко броситься вырос.

Мама!
Петь не могу.
У церковки сердца занимается клирос!

Обгорелые фигурки слов и чисел
из черепа,
как дети из горящего здания.
Так страх
схватиться за небо
высил
горящие руки «Лузитании».

Трясущимся людям
в квартирное тихо
стоглазое зарево рвется с пристани.
Крик последний,—
ты хоть
о том, что горю, в столетия выstonи!

2

Славьте меня!
Я великим не чета.
Я над всем, что сделано,
ставлю «nihil»¹.

Никогда
ничего не хочу читать.
Книги?
Что книги!

Я раньше думал —
книги делаются так:
пришел поэт,
легко разжал уста,
и сразу запел вдохновенный простак —
пожалуйста!
А оказывается —
прежде чем начнет петься,
долго ходят, размозолев от брожения,
и тихо баражается в тине сердца
глупая вобла воображения.
Пока выкипичивают, рифмами пиликая,
из любней и соловьев какое-то варево,
улица корчится безъязыкая —
ей нечем кричать и разговаривать.
Городов вавилонские башни,
возгордясь, возносим снова,
а бог
города на пашни
рушит,
мешая слово.

¹ «Ничто» (лат.). — Ред.

Улица мўку молча пёрла.
Крик торчком стоял из глотки.
Топорщились, застрявшие поперек горла,
иухлые taxi и костлявые пролетки.
Грудь испешеходили.
Чахотки площе.

Город дорогу мраком запер.

И когда —
все-таки! —
выхаркнула давку на площадь,
спихнув наступившую на горло паперь,
думалось:
в хóрах архангелова хорала
бог, ограбленный, идет карать!

А улица присела и заорала:
«Идемте жрать!»

Гримируют городу Крупны и Крупники
грозящих бровей морщь,
а во рту
умерших слов разлагаются трупики,
только два живут, жирея —
«сволочь»
и еще какое-то,
кажется — «борщ».

Поэты,
размокшие в плаче и всхлипе,
бросились от улицы, ероша космы:
«Как двумя такими выпеть
и барышню,
и любовь,
и цветочек под росами?»

А за поэтами —
уличные тыщи:
студенты,
проститутки,
подрядчики.

Господа!
Остановитесь!
Вы не нищие,
вы не смеете просить подачки!

Нам, здоровенным,
с шагом саженьим,
надо не слушать, а рвать их —
их,
присосавшихся бесплатным приложением
к каждой двуспальной кровати!

Их ли смиренно просить:
«Помоги мне!»
Молить о гимне,
об оратории!
Мы сами творцы в горящем гимне —
шуме фабрики и лаборатории.

Что мне до Фауста,
феерией ракет
скользящего с Мефистофелем в небесном паркете!
Я знаю —
гвоздь у меня в сапоге
кошмарней, чем фантазия у Гете!

Я,
златоустейший,
чье каждое слово
душу новородит,
именинит тело,
говорю вам:
мельчайшая пылинка живого
ценнее всего, что я сделаю и сделал!

Слушайте!
Проповедует,
мечась и стоя,
сегодняшнего дня крикогубый Заратустра!
Мы
с лицом, как заспанная простыня,
с губами, обвисшими, как люстра,
мы,

каторжанс города-лепрозория,
где золото и грязь изъязвили проказу,—
мы чище венецианского лазорья,
морями и солнцами омытого сразу!

Плевать, что нет
у Гомеров и Овидиев
людей, как мы,
от копоти в оспе.
Я знаю —
солнце померкло б, увидев
наших душ золотые россыпи!

Жилы и мускулы — молитв верней.
Нам ли вымаливать милостей времени!
Мы —
каждый —
держим в своей пятерне
миров приводные ремни!

Это взвело на Голгофы аудиторий
Петрограда, Москвы, Одессы, Киева,
и не было ни одного,
который
не кричал бы:
«Распни,
распни его!»
Но мне —
люди,
и те, что обидели,—
вы мне всего дороже и ближе.

Видели,
как собака бьющую руку лижет?!

Я,
обсмеянный у сегодняшнего племени,
как длинный
скабрезный анекдот,
вижу идущего через горы времени,
которого не видит никто.

Где глаз людей обрывается куцый,
главой голодных орд,
в терновом венце революций
грядет шестнадцатый год.

А я у вас — его предтеча;
я — где боль, везде;
на каждой капле слёзовой течи
распял себя на кресте.
Уже ничего простить нельзя.
Я выжег души, где нежность растили.
Это труднее, чем взять
тысячу тысяч Бастилий!

И когда,
приход его
мятежом оглашая,
выйдете к спасителю —
вам я
душу вытащу,
растопчу,
чтоб большая! —
и окровавленную дам, как знамя.

3

Ах, зачем это,
откуда это
в светлое весело
грязных кулачищ замах!

Пришла
и голову отчаянием занавесила
мысль о сумасшедших домах.

И —
как в гибель дредноута
от душащих спазм
бросаются в разинутый люк —
сквозь свой
до крика разодранный глаз
лез, обезумев, Бурлюк.
Почти окровавив исслезенные веки,
вылез,

встал,
пошел
и с нежностью, неожиданной в жирном человеке,
взял и сказал:
«Хорошо!»

Хорошо, когда в желтую кофту
душа от осмотров укутана!
Хорошо,
когда брошенный в зубы эшафоту,
крикнуть:
«Пейте какао Ван-Гутена!»

И эту секунду,
бенгальскую
громкую,
я ни на что бы не выменял,
я ни на...

А из сигарного дыма
ликерною рюмкой
вытягивалось пропитое лицо Северянина.

Как вы смеете называться поэтом
и, серенький, чирикать, как перепел!
Сегодня
надо
кастетом
кроиться миру в черепе!

Вы,
обеспокоенные мыслью одной —
«изящно пляшу ли», —
смотрите, как развлекаюсь
я —
площадной
суетнер и карточный шулер!

От вас,
которые влюбленностью мокли,
от которых
в столетия слеза лилась,
уйду я,
солнце моноклем
вставлю в широко растопыренный глаз.

Невероятно себя нарядив,
пойду по земле,
чтоб нравился и жегся,
а впереди
на цепочке Наполеона поведу, как мопса.

Вся земля поляжет женциной,
заерзает мясами, хотя отдастся:
вещи оживут —
губы вещины
заслююкуют:
«цаца, цаца, цаца!»

Вдруг
и тучи
и облачное прочее
подняло на небе невероятную качку,
как будто расходятся белые рабочие,
небу объявив озлобленную стачку.

Гром из-за тучи, зверея, вылез,
громадные ноздри задорно высморкал,
и небье лицо секунду кривилось
суровой гримасой железного Бисмарка.

И кто-то,
запутавшись в облачных путах,
вытянул руки к кафе —
и будто по-женски,
и нежный как будто,
и будто бы пушки лафет.

Вы думаете —
это солнце нежиенько
треплет по щечке кафе?
Это опять расстрелять мятежников
грядет генерал Галифе!

Выньте, гулящие, руки из брюк —
берите камень, нож или бомбу,
а если у которого нету рук —
пришел чтоб и бился лбом бы!

Идите, голодненькие,
потненъкие,
покорненъкие,
закисшие в блохастом грѣзненьке!

Идите!
Понедельники и вторники
окрасим кровью в праздники!
Пускай земле под ножами припомнится,
кого хотела опошлить!
Земле,
обжиревшей, как любовница,
которую вылюбил Ротшильд!

Чтоб флаги трепались в горячке пальбы,
как у каждого порядочного праздника —
выше вздымайте, фонарные столбы,
окровавленные туши лабазников.

Изругивался,
вымаливался,
резал,
лез за кем-то
вгрызаться в бока.

На небе, красный, как марсельеза,
вздрагивал, оклевая, закат.

Уже сумасшествие.

Ничего не будет.

Ночь придет,
перекусит
и съест.

Видите —
небо опять иудит
пригоршнюю обрызганных предательством звезд?

Пришла.
Пирует Мамаем,
задом на город насев.
Эту ночь глазами не проломаем,
черную, как Азеф!

Ежусь, зашвырнувшись в трактирные углы,
вином обливаю душу и скатерь
и вижу:
в углу — глаза круглы —
глазами в сердце въелась богоматерь.

Чего одаривать по шаблону намалеванному
сиянием трактирную ораву!
Видишь — опять
голгофнику оплеванному
предпочитают Варавву?

Может быть, нарочно я
в человечьем месіве
лицом никого не новей.

Я,
может быть,
самый красивый
из всех твоих сыновей.

Дай им,
заплесневшим в радости,
скорой смерти времени,
чтоб стали дети, должны подрасти,
мальчики — отцы,
девочки — забеременели.

И новым рожденным дай обрасти
пытливой сединой волхвов,
и придут они —
и будут детей крестить
именами моих стихов.

Я, воспевающий машину и Англию,
может быть, просто,
в самом обыкновенном Евангелии
тринадцатый апостол.

И когда мой голос
похабно ухаёт —
от часа к часу,
целые сутки,
может быть, Иисус Христос нюхает
моей души незабудки.

Мария! Мария! Мария!
Пусти, Мария!
Я не могу на улицах!
Не хочешь?
Ждешь,
как щеки провалятся ямкою,
попробованный всеми,
пресный,
я приду
и беззубо прошамкаю,
что сегодня я
«удивительно честный».

Мария,
видишь —
я уже начал сутулиться.

В улицах
люди жир продырявят в четырехэтажных зобах,
высунут глазки,
потертые в сорокгодовой таске,—
перехихикиваться,
что у меня в зубах
— опять! —
черствая булка вчерашибней ласки.

Дождь обрыдал тротуары,
лужами сжатый жулик,
мокрый, лижет улиц забитый булыжником труп,
а на седых ресницах —
да! —
на ресницах морозных сосулек
слезы из глаз —
да! —
из опущенных глаз водосточных труб.

Всех пешеходов морда дождя обсосала,
а в экипажах лошился за жирным атлетом атлет:
лопались люди,
проевшившись нас kvозь,

и сочилось сквозь трещины сало,
мутной рекой с экипажа стекала
вместе с иссосанной булкой
животина старых котлет.

Мария!
Как в зажиравшее ухо втиснуть им тихое слово?
Птица
побирается песней,
поет,
голодна и звонка,
а я человек, Мария,
простой,
выхарканный чахоточной ночью в грязную руку Пресни.

Мария, хочешь такого?
Пусти, Мария!
Судорогой пальцев зажму я железное горло звонка!

Мария!

Звереют улиц выгоны.
На шее ссадиной пальцы давки.

Открой!

Больно!

Видишь — натыканье
в глаза из дамских шляп булавки!

Пустила.

Детка!
Не бойся,
что у меня на шее воловьей
потнооживотые женщины мокрой горою сидят,—
это сквозь жизнь я тащу
миллионы огромных чистых любовей
и миллион миллионов маленьких грязных любят.
Не бойся,
что снова,
в изменения ненастье,

прильну я к тысячам хорошенъких лиц,—
«любящие Маяковского!» —
да ведь это ж династия
на сердце сумасшедшего восшедших цариц.

Мария, ближе!

В раздетом бесстыдстве,
в боящейся дрожи ли,
но дай твоих губ неисцветшую прелесть:
я с сердцем ни разу до мая не дожили,
а в прожитой жизни
лишь сотый апрель есть.

Мария!

Поэт сонеты поет Тиане,
а я —
весь из мяса,
человек весь —
тело твое просто прошу,
как просят христиане —
«хлеб наш насущный
дааждь нам днесь».

Мария — дай!

Мария!

Имя твое я боюсь забыть,
как поэт боится забыть
какое-то
в муках ночей рожденное слово,
величием равное богу.

Тело твое
я буду беречь и любить,
как солдат,
обрубленный воиною,
ненужный,
ничей,
бережет свою единственную ногу.

Мария —
не хочешь?
Не хочешь!

Ха!

Значит — опять
темно и понуро
сердце возьму,
слезами окапав,
нести,
как собака,
которая в конуру
несет
перееханную поездом лапу.

Кровью сердца дорогу радую,
липнет цветами у пыли кителя.
Тысячу раз опляшет Иродиадой
солнце землю —
голову Крестителя.

И когда мое количество лет
выпляшет до конца —
миллионом кровинок устелется след
к дому моего отца.

Вылезу
грязный (от ночевок в канавах),
стану бок о бóк,
наклонюсь
и скажу ему на ухо:

— Послушайте, господин бог!
Как вам не скучно
в облачный кисель
ежедневно обмакивать раздобревые глаза?
Давайте — знаете —
устроимте карусель
на дереве изучения добра и зла!

Вездесущий, ты будешь в каждом шкапу,
и вина такие расставим по столу,
чтоб захотелось пройтись в ки-ка-пу
хмурому Петру Апостолу.
А в рае опять поселим Евочек:
прикажи,—

сегодня ночью ж
со всех бульваров красивейших девочек
я натащу тебе.

Хочешь?

Не хочешь?

Мотаешь головою, кудластый?
Сушишь седую бровь?
Ты думаешь —
этот,
за тобою, крыластый,
знает, что такое любовь?

Я тоже ангел, я был им —
сахарным барашком выглядывал в глаз,
но больше не хочу дарить кобылам
из севрской мухи извоянных ваз.
Всемогущий, ты выдумал пару рук,
сделал,
что у каждого есть голова,—
отчего ты не выдумал,
чтоб было без мук
целовать, целовать, целовать?!

Я думал — ты всесильный божище,
а ты недоучка, крохотный божик.
Видишь, я нагибаюсь,
из-за голенища
достаю сапожный ножик.
Крыластые прохвости!
Жмитесь в раю!
Ерошьте перышки в испуганной тряске!
Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою
отсюда до Аляски!

Пустите!

Меня не остановите.
Вру я,
вправе ли,
но я не могу быть спокойней.

Смотрите —
звезды опять обезглавили
и небо окровавили бойней!

Эй, вы!
Небо!
Снимите шляпу!
Я иду!

Глухо.

Вселенная спит,
положив на лапу
с клещами звезд огромное ухо.

1914—1915

ПРО ЧТО — ПРО ЭТО?

В этой теме,
и личной
и мелкой,
перепетой не раз
и не пять,
я кружил поэтической белкой
и хочу кружиться опять.
Эта тема
сейчас
и молитвой у Будды
и у негра вострит на хозяев нож.
Если Марс,
и на нем хоть один сердцелюдый,
то и он
сейчас
скрипит
про то ж.
Эта тема придет,
калеку за локти
подтолкнет к бумаге,
прикажет:
— Скреби! —
И калека
с бумаги
срывается в клекоте,
только строчками в солнце песня рябит.
Эта тема придет,
 позвонится с кухни,

повернется,
сгинет шапчонкой гриба,
и гигант
постоит секунду
и рухнет.
под записочной рябью себя погребя.
Эта тема придет,
прикажет:
— Истина! —

Эта тема придет,
велит:
— Красота! —

И пускай
перекладиной кисти раскистены —
только вальс под нос мурлычешь с креста.
Эта тема азбуку тронет разбегом —
уж на что б, казалось, книга ясна! —
и становится
— А —
недоступней Казбека.

Замутит,
оттянет от хлеба и сна.
Эта тема придет,
вовек не износится,
только скажет:
— Отныне гляди на меня! —
И глядишь на нее,
и идешь знаменосцем,
красношелкий огонь над землей знаменя.
Это хитрая тема!
Нырнет под события,
в тайниках инстинктов готовясь к прыжку,
и как будто ярясь
— посмели забыть ее! —
затрясет;
посыпятся души из шкур.
Эта тема ко мне заявилась гневная,
приказала:
— Подать
дней удила! —
Посмотрела, скривясь, в мое ежедневное
и грозой раскидала людей и дела.

Эта тема пришла,
остальные оттерла
и одна
безраздельно стала близка.
Эта тема ножом подстушила к горлу.
Молотобоец!
От сердца к вискам.
Эта тема день истемнила, в темень
колотись — велела — строчками лбов.
Имя
этой
теме:
.!

I

БАЛЛАДА РЕДИНГСКОЙ ТЮРЬМЫ

Стоял — вспоминаю.
Был этот блеск.
И это
тогда
называлось Певою.

Маяковский, «Человек»
(13 лет работы, т. 2, стр. 77)

*O балладе и
o балладах* Немолод очень лад баллад,
но если слова болят
и слова говорят про то, что болят,
молодеет и лад баллад.
Лубянский проезд.

Водопьяный.
Вид

вот.

Вот

фон.

В постели она.

Она лежит.

Он.

На столе телефон.

«Он» и «она» баллада моя.

Не страшно нов я.

Страшно то,

что «он» — это я,

и то, что «опа» —
моя.

При чем тюрьма?

Рождество.

Кутерьма.

Без решеток окошки домика!
Это вас не касается.

Говорю — тюрьма.

Стол.

На столе соломинка.

По кабелю
пушен
номер

Тронул еле — волдырь на теле.
Трубку из рук вон.
Из фабричной марки —
две стрелки яркие
омолнили телефон.
Соседняя комната.

Из соседней
сонно:

— Когда это?

Откуда это живой поросенок? —
Звонок от ожогов уже визжит,
добела раскален аппарат.
Больна она!

Она лежит!

Беги!

Скорей!

Пора!

Мясом дымясь, сжимаю жжение.
Моментально молния телом забегала.
Стиснул миллион вольт напряжения.
Ткнулся губой в телефонное пекло.
Дыры

сверля

в доме,

взмыв

Мясницкую

пашней,

рвя

кабель,

пулей

номер

летел

барышне.

Смотрел осовело барышнин глаз —
под праздник работай за двух.
Красная лампа опять зажглась.
Позвонила!

Огонь потух.

И вдруг

как по лампам пошло куролесить,
вся сеть телефонная рвется на нити.
— 67—10!

Соедините! —
В проулок!

Скорей!

Водопьяному в тиши!

Ух!

А то с электричеством станется —
под рождество
на воздух взлетишь

со всей

со своей

телефонной

станцией.

Жил на Мясницкой один старожил.
Сто лет после этого жил —
про это лишь —

сто лет! —

говаривал детям дед.

— Было — суббота...

под воскресенье...

Окорочок...

Хочу, чтоб дешево...

Как вдарит кто-то!..

Землетрясенье...

Ноге горячо...

Ходун — подошва!.. —

Не верилось детям,

чтоб так-то

да там-то.

Землетрясенье?

Зимой?

У почтамта?!

Телефон
бросается
на всех

Протиснувшись чудом сквозь тоненький шнур,
раструба трубки разинув оправу,
погромом звонков громя тишину,
разверг телефон дребезжащую лаву.
Это визжащее,

звенящее это
пальнуло в стены,
старалось взорвать их.

Звоночки

тыщей
от стен
рикошетом
под стулья закатывались
и под кровати.

Об пол с потолка звончище хлопал.

И снова,

звенящий мячище точно,
взлетал к потолку, ударившись об пол,
и сыпало вниз дребезгою звончной.
Стекло за стеклом,

вьюшку за вьюшкой
тянуло

звенеть телефонному в тоб.
Тряся

ручоночкой
дом-погремушку,
тонул в разливе звонков телефон.

Секундантиша От сна

чуть видно —
точка глаз
иголит щеки жаркие.
Ленясь, кухарка поднялась,
идет,

кряхтя и харкая.
Моченым яблоком она.
Морщины мысли лоб ее.
— Кого?

Владим Владимиц?!

А! —

Пошла, туфлёю шлепая.
Идет.

Отмеряет шаги секундантом.

Шаги отдаляются...

Слышатся еле...

Весь мир остальной отодвинут куда-то,
лишь трубкой в меня неизвестное целит.

*Просветление
мира* Застыли докладчики всех заседаний,
не могут закончить начатый жест.

Как были,
рот разинув,
сюда они
смотрят на рождество из рождеств.
Им видима жизнь
от дрязг и до дрязг.

Дом их —
единая будняя тина.

Будто в себя,
в меня смотрясь,
ждали

смертельной любви поединок.
Окаменели сиренные рокоты.
Колес и шагов суматоха не вертит.
Лишь поле дуэли
да время-доктор
с бескрайним бинтом исцеляющей смерти.
Москва —

за Москвой поля примолкли.
Моря —

за морями горы стройны.
Вселенная

вся
как будто в бинокле,
в огромном бинокле (с другой стороны).
Горизонт распрямился
ровно-ровно.

Тесьма.

Натянут бечевкой тугой.
Край один —

я в моей комнате,
ты в своей комнате — край другой.
А между —

такая,
какая не снится,
какая-то гордая белой обновой,

через вселенную
легла Мясницкая
миниатюрой кости слоновой.
Ясность.
Прозрачнейшей ясностью пытка.
В Мясницкой
деталью искуснейшей выточки
кабель
тонюсенький —
ну, просто нитка!
И всё
вот на этой вот держится ниточке.

Дуэль
Раз!
Трубку наводят.
Надежду
брось.
Два!
Как раз
остановилась,
не дрогнув,
между
моих
мольбой обволокнутых глаз.
Хочется крикнуть медлительной бабе:
— Чего задаетесь?
Стоите Дантеом.
Скорей,
скорей просверлите сквозь кабель
пулей
любого яда и веса.—
Страшнее пуль —
оттуда
сюда вот,
кухаркой оброненное между зевот,
проглоченным кроликом в брюхе удава
по кабелю,
вижу,
слово ползет.
Страшнее слов —
из древнейшей древности,
где самку клыком добывали люди еще,

ползло

из шнура —

скребущейся ревности
времен троглодитских тогдашнее чудище.
А может быть...

Наверное, может!

Никто в телефон не лез и не лезет,
нет никакой троглодичьей рожи.
Сам в телефоне.

Зеркалюсь в железе.

Возьми и пиши ему ВЦИК циркуляры!
Пойди — эту правильность с Эрфуртской сверь!
Сквозь первое горе

бессмысленный,

ярый,

мозг поборов,

проскребается зверь.

*Что может
сделаться
с человеком!*

Красивый вид.

Товарищи!

Взвесьте!

В Париж гастролировать едущий летом,
поэт,

почтенный сотрудник «Известий»,
царапает стул когтем из штиблета.

Вчера человек —

единым махом

клыками свой размедвил вид я!

Косматый.

Шерстью свисает рубаха.

Тоже туда ж?!

В телефоны бабахать?!

К своим пошел!

В моря ледовитые!

Размедвеженье Медведем,

когда он смертельно сердится,
на телефон

грудь

на врага тяну.

А сердце

глубже уходит в рогатину!

Течет.

Ручища красной меди.
Рычанье и кровь.
Лакай, темнота!

Не знаю,

плачут ли,
нет медведи,
но если плачут,
то именно так.

То именно так:

без сочувственной фальши
скулят,

заливаясь ущельной длиной.
И именно так их медвежий Балычин,
скуленьем разбужен, ворчит за стеной.
Вот так медведи именно могут:
недвижно,

задравши морду,
как те,
повыть,

иззвыться
и лечь в берлогу,
царапая логово в двадцать когтей.
Сорвался лист.

Обвал.

Беспокоит.

Винтовки-шишки

не грохнули б враз.
Ему лишь взмединиться может такое
сквозь слезы и шерсть, бахромящую глаз.

Протекающая Кровать.

комната

Железки.

Барахло одеяло.
Лежит в железках.

Тихо.

Вяло.

Трепет пришел.

Пошел по железкам.
Простынь постельная треплется плеском.
Вода лизнула холодом ногу.
Откуда вода?

Почему много?

Сам наплакал.

Плакса.

Слякоть.

Неправда —

столько нельзя наплакать.

Чертова ванна!

Вода за диваном.

Под столом,

за шкафом вода.

С дивана,

сдвинут воды задеваньем,
в окно проплыл чемодан.

Камин...

Окурок...

Сам кинул.

Пойти потушить.

Петушится.

Страх.

Куда?

К какому такому камину?

Верста.

За верстою берег в кострах.

Размыло все,

даже запах капустный

с кухни

всегдашний,

приторно сладкий.

Река.

Вдали берега.

Как пусто!

Как ветер воет вдогонку с Ладоги!

Река.

Большая река.

Холодина.

Рябит река.

Я в середине.

Белым медведем

взлез на льдину,
плыву на своей подушке-льдине.

Бегут берега,

за видом вид.

Подо мной подушки лед.

С Ладоги дует.

Вода бежит.

Летит подушка-плот.

Плыту.

Лихорадюсь на льдине-подушке.

Одно ощущенье водой не вымыто:

я должен

не то под кроватные дужки,

не то

под мостом проплыть под каким-то.

Были вот так же:

ветер да я.

Эта река!..

Не эта.

Иная.

Нет, не иная!

Было —

стоял.

Было — блестело.

Теперь вспоминаю.

Мысль растет.

Не справлюсь я с нею.

Назад!

Вода не выпустит плот.

Видней и видней...

Ясней и яснее...

Теперь неизбежно...

Он будет!

Он вот!!!

Человек
из-за 7-ми
лет

Волны устои стальные моют.
Недвижный,
страшный,
упервшись в бока

столицы,

в отчаянье созданной мною,
стоит

на своих стоэтажных быках.

Небо воздушными скрепами вышил.

Из вод феерией стали восстал.

Глаза подымаю выше,

выше...

Вон!

Вон —

опершись о перила моста...

Прости, Нева!

Не прощает,
гонит.

Сжался!

Не сжалился бешеный бег.

Он!

Он —

у небес в воспаленном фоне,
прикрученный мною, стоит человек.
Стоит.

Разметал изросшие волосы.

Я уши лаплю.

Напрасные мнешь!

Я слышу

мой,

мой собственный голос.

Мне лапы дырявит голоса нож.

Мой собственный голос —

он молит,

он просится:

— Владимир!

Остановись!

Не покинь!

Зачем ты тогда не позволил мне

броситься!

С размаху сердце разбить о быки?

Семь лет я стою.

Я смотрю в эти воды,
к перилам прикручен канатами строк.
Семь лет с меня глаз эти воды не сводят.
Когда ж,

когда ж избавления срок?

Ты, может, к ихней примазался касте?
Целуешь?

Ешь?

Отпускаешь брюшко?

Сам

в ихний быт,

в их семейное счастье
памёреваешься пролезть петушком?!

Не думай! —
Рука наклоняется вниз его.
Грозится
сухой
в подмостную кручу.
— Не думай бежать!
Это я
вызвал.

Найду.
Загоню.
Доконаю.
Замучу!

Там,
в городе,
праздник.
Я слышу гром его.

Так что ж!
Скажи, чтоб явились они.
Постановленье неси исполкомово.
Мýку мою конфискуй,
отмени.

Пока
по этой
по Невской
по глуби
спаситель-любовь
не придет ко мне,
скитайся ж и ты,
и тебя не полюбят.
Греби!
Тони меж домовых камней!

Спасите! Стой, подушка!
Напрасное тщенье.
Лапой гребу —
плохое весло.
Мост сжимается.
Невским течением
меня несло,
несло и несло.
Уже я далёко.
Я, может быть, зá день.

За дénь

от тени моей с моста.

Но гром его голоса гонится сзади.

В погоне угроз паруса распластал.

— Забыть задумал невский блеск?!

Ее заменишь?!

Некем!

По гроб запомни переплеск,

плескавший в «Человеке». —

Начал кричать.

Разве это осилите?!

Буря басит —

не осилить вовек.

Спасите! Спасите! Спасите! Спасите!

Там

на мосту

на Неве

человек!

II

НОЧЬ ПОД РОЖДЕСТВО

Фантастическая реальность

Бегут берега —

за видом вид.

Подо мной —

подушка-лед.

Ветром ладожским гребень завит.

Летит

льдышка-плот.

Спасите! — сигналю ракетой слов.

Падаю, качкой добитый.

Речка кончилась —

море росло.

Океан —

большой до обиды.

Спасите!

Спасите!..

Сто раз подряд

реву батареей пушечной.

Внизу

подо мной

растет квадрат,

остров растет подушечный.

Замирает, замирает,
замирает гул.

Глуще, глуще, глуще...
Никаких морей.

Я —

на снегу.

Кругом —
вёрсты суши.

Суша — слово.

Снегами мокра.

Подкинут метельной банде я.
Что за земля?

Какой это край?

Грен-
лап-
люб-ландия?

Боль были Из облака вызрела лунная дынка,
стену постепенно в тени оттеня.
Парк Петровский.

Бегу.

Ходынка

за мной.

Впереди Тверской простины.
А-у-у-у!

К Садовой аж выкинул «у»!
Оглоблей

или машиной,

но только

мордой

аршин в снегу.

Пулей слова матерщины.

«От нэпа ослеп?!»

Для чего глаза впрыжены?!

Эй, ты!

Мать твою разнэп!

Ряженый!»

Ах!

Да ведь
я медведь.

Недоразуменье!

Надо —

прохожим,

что я не медведь,
только вышел похожим.

Спаситель

Вон

от заставы

идет человечек.

За шагом шаг вырастает короткий.

Луна

голову вправила в венчик.

Я уговорю,

чтоб сейчас же,

чтоб в лодке.

Это — спаситель!

Вид Иисуса.

Спокойный и добрый,

венчанный в луне.

Он ближе.

Лицо молодое безусо.

Совсем не Иисус.

Нежней.

Юней.

Он ближе стал,

он стал комсомольцем.

Без шапки и шубы.

Обмотки и френч.

То сложит руки,

будто молится.

То машет,

будто на митинге речь.

Вата снег.

Мальчишка шел по вате.

Вата в золоте —

чего уж пошловатей?!

Но такая грусть,

что стой

и грустью ранься!

Расплывайся в процыганенном романсе.

Романс

Мальчик шел, в закат глаза уставя.

Был закат непревзойдимо желт.

Даже снег желтел к Тверской заставе.

Ничего не видя, мальчик шел.

Шел,

вдруг

встал.
В шелк
рук
сталь.
С час закат смотрел, глаза уставя,
за мальчишкой легшую кайму.
Снег, хрустя, разламывал суставы.
Для чего?

Зачем?

Кому?

Был вором-ветром мальчишка обыскан.
Попала ветру мальчишки записка.
Стал ветер Петровскому парку звонить:
— Прощайте...

Кончаю...

Прошу не винить...

*Ничего
не поделаешь*

До чего ж
на меня похож!
Ужас.

Но надо ж!

Дернулся к луже.
Залитую курточку стягивать стал.
Ну что ж, товарищ!
Тому еще хуже —
семь лет он вот в это же смотрит с моста.
Напялил еле —

другого калибра.

Ни как не намылишься —
зубы стучат.

Шерстищу с лапищ и с мордищи выбрил.
Гляделся в льдину...

бритвой луча...

Почти,
почти такой же самый.

Бегу.
Мозги шевелят адресами.

Во-первых,
на Пресню,
туда,
по задворкам.
Тянет инстинктом семейная норка.

За мной
всероссийские,
сын за сыном,
дочка за дочкой.

Всехные родители

— Володя!
На рождество!
Вот радость!
Радость-то во!..—
Прихожая тьма.
Электричество комната.
Сразу —
наискось лица родни.
— Володя!
Господи!
Что это?
В чем это?
Ты в красном весь.
Покажи воротник!
— Не важно, мама,
дома вымою.
Теперь у меня раздолье —
вода.
Не в этом дело.
Родные!
Любимые!
Ведь вы меня любите?
Любите?
Да?
Так слушайте ж!
Тетя!
Сестры!
Мама!
Тушите елку!
Заприте дом!
Я вас поведу...
вы пойдетe...
сейчас же...
все
возьмем и пойдем.
Не бойтесь —
это совсем недалеко —

600 с небольшим этих крохотных верст.
Мы будем там во мгновение ока.
Он ждет.

Мы вылезем прямо на мост.
— Володя,
родной,
успокойся! —

Но я им
на этот семейственный писк голосков:
— Так что ж?!

Любовь заменяете чаем?
Любовь заменяете штопкой носков?

Путешествие Не вы —
с мамой не мама Альсандра Альсеевна.
Вселенная вся семьею засеяна.
Смотрите, мачт корабельных щетина —
в Германию врезался Одера клин.
Слезайте, мама,
уже мы в Штеттине.
Сейчас, мама,
несемся в Берлин.
Сейчас летите, мотором урча, вы:
Париж, Америка,
Бруклинский мост,
Сахара, и здесь
с негритоской курчавой
лакает семейкой чай негритос.
Сомните периной
и волю
и камень.
Коммуна —
и то завернется комом.
Столетия жили своими домками
и нынче зажили своим домкомом!
Октябрь прогремел,
карающий,
судный.

Вы

под его огнепёрым крылом
расставились,

разложили посудины.
Паучьих волос не расчешешь колом.
Исчезни, дом,
родимое место!

Прощайте! —

Отбросил ступéней последок.
— Какое тому поможет семейство?!
Любовь цыплячья!
Любвишка наседок!

*Пресненские
миражи* Бегу и вижу —
всем в виду
кудринскими вышками
себе навстречу
сам
иду
с подарками под мышками.
Мачт крестами на буре распластан,
корабль кидает балласт за балластом.
Будь проклята,
опустошенная легкость!
Домами оскалила скалы далекость.
Ни люда, ни заставы нет.
Горят снега,
и гóло.
И только из-за ставенек
в огне иголки елок.
Ногам вперекор,
тормозами на быстрые
вставали стены, окнами выстроясь.
По стеклам
тени
фигурками тира
вертелись в окне,
зазывали в квартиры.
С Невы не сводит глаз,
продрог,
стоит и ждет —
помогут.

За первый встречный за порог
закидываю ногу.
В передней пьяный проветривал бредни.
Стрэзвел и дернул стремглав из передней.
Зал заливался минуты две:
— Медведь,
 медведь,
 медведь,
 мединъ... —

*Муж Феклы
Давидовны
со мной и
со всеми
знакомыми* Потом,
 извертясь вопросительным знаком,
хозяин полглаза просунул:
— Однако!
Маяковский!
Хорош медведь! —
Пошел хозяин любезностями медоветь:
— Пожалуйста!
Прошу-с.
 Ничего —
 я боком.
Нечаянная радость-с, как сказано у Блока.
Жена — Фекла Двидна.
Дочка,
точь-в-точь
 в меня, видно —
семнадцать с половиной годочеков.
А это...
Вы, кажется, знакомы?! —
Со страха к мышам ушедшие в норы,
из-под кровати полезли партнеры.
Усища —
 к стеклам ламповым пыльники —
из-под столов пошли собутыльники.
Ползут с-под шкафа чтецы, почитатели.
Весь безлицый парад подсчитать ли?
Идут и идут процессией мирной.
Блестят из бород паутиной квартирной.
Все так и стоит столетья,
 как было.
Не бьют —
 и не тронулась быта кобыла.

Лишь вместо хранителей духов и фей
ангел-хранитель —

жилец в галифе.

Но самое страшное:

по росту,

по коже

одеждой,

сама походка моя! —

в одном

узнал —

близнецами похожи —

себя самого —

сам

я.

С матрацев,

вздымая постельные тряпки,
клопы, приветствуя, подняли лапки.
Весь самовар рассиялся в лучики —
хочет обнять в самоварные ручки.
В точках от мух

веночки

с обоев

венчают голову сами собою.

Взыграли туш ангелочки-горнисты,
пророзовев из иконного глянца.

Иисус,

приподняв

венок тернистый,

любезно кланяется.

Маркс,

впряженный в алую рамку,
и то тащил обывательства лямку.
Запели птицы на каждой на жердочке,
герани в ноздри лезут из кадочек.
Как были

сидя сняты

на корточках,

радушно бабушки лезут из карточек.

Раскланялись все,

осклабились враз;

кто басом фразу,

кто в дикант

дьячком.

— С праздничком!
С праздничком!
С праздничком!
С праздничком!
С праз-

нич-
ком! —

Хозяин

то тронет стул,
то дунет,
сам со скатерти крошки вымел.

— Да я не знал!..

Да я б накануне...
Да, я думаю, занят...

Дом...

Со своими... —

Бессмыслен-
ные просьбы

Мои свои?!

Д-а-а-а —

это особы.

Их ведьма разве сыщет на венике!
Мои свои

с Енисея

да с Оби

идут сейчас,
следят четвереньки.

Какой мой дом?!

Сейчас с него.

Подушкой-льдом

плыл Невой —

мой дом

меж дамб

стал льдом,

и там...

Я брал слова

то самые вкрадчивые,

то страшно рыча,

то вызвоня лирово.

От выгод —

на вечную славу сворачивал,
молил,

грозил,

просил,

агитировал.

— Ведь это для всех...
для самих...
для вас же...

Ну, скажем, «Мистерия» —
весь не для себя же?!

Поэт там и прочее...
Будь каждому важен...

Не только себе же —
весь не личная блажь...

Я, скажем, медведь, выражаясь грубо...
Но можно стихи...
Будь сдирают шкуру?!

Подкладку из рифм поставишь —
и шуба!..

Потом у камина...
там кофе...
курят...

Дело пустяшно:
ну, минут на десять...
Но нужно сейчас,
пока не поздно...
Похлопать может...
Сказать —
надейся!..

Но чтоб теперь же...
чтоб это серьезно... —
Слушали, улыбаясь, именитого скомороха.
Катали по столу хлебные мякиши.
Слова об лоб
и в тарелку —
горохом.

Один расчувствовался,
вином размягший:
— Поехал...
поехал...

Очень даже и просто.
Я пойду!..
Говорят, он ждет...
на мосту...

Я знаю...
Это на углу Кузнецкого моста.
Пустите!
Ну-кося! —

По углам —
зуд: — Назз-ю-ззюкался!

Будет ныть!
Поесть, попить,
попить, поесть —
и за бб!
Теорию к лешему!
Нэп —

практика.

Налей,
нарежь ему.

Футурист,
налягте-ка! —

Ничуть не смущаясь челюстей целостью,
пошли греметь о челюсть челюстью.

Шли
из артезианских прорв
меж рюмкой
слова поэтических споров.

В матрац,
поздоровавшись,
влезли клопы.

На вещи насыла столетняя пыль.
А тот стоит —

в перила вбит.

Он ждет,
он верит:
скоро!

Я снова лбом,
я снова в быт
вбиваюсь слов напором.

Опять
атакую и вкривь и вкось.
Но странно:

слова проходят насквозь.

Необычайное Стихает бас в комариные трельки.
Подбитые воздухом, стихли тарелки.
Обои,
стены
блекли...
блекли...

Тонули в серых тонах офортовых.
Со стенки

на город разросшийся
Бёклин

Москвой расставил «Остров мертвых».
Давным-давно.

Подавно —

теперь.

И нету проще!

Вон

в лодке,

скутан саваном,
недвижный перевозчик.

Не то моря,

не то поля —

их шорох тишию стерт весь.

А за морями —

тополя

возносят в небо мертвость.

Что ж —

ступлю!

И сразу

тополи

сорвались с мест,

пошли,

затопали.

Тополи стали спокойствия мерами,
ночей сторожками,

милиционерами.

Расчетверившись,

белый Харон

стал колоннадой почтамтских колонн.

*Деватьсяя
некуда*

Так с топором влезают в сон,
обметят спящелобых —
и сразу

исчезает все,
и видишь только обух.
Так барабаны улиц

в сон

войдут,
и сразу вспомнится,
что вот тоска
и угол вон,
за ним
она —
виновница.

Прикрывши окна ладонью угла,
стекло за стеклом вытягивал с краю.
Вся жизнь
на карты окон легла.
Очко стекла —
и я проиграю.

Арап —
миражей шулер —
по окнам
разметил нагло веселия крап.
Колода стекла
торжеством яркоогним
сияет нагло у ночи из лап.
Как было раньше —
вырасти б,
стихом в окно влететь.
Нет,
никни к стённой сырости.
И стих
и дни не те.
Морозят камни.

Дрожь могил.
И редко ходят веники.
Плевками,
снявши башмаки,
вступаю на ступеньки.
Не молкнет в сердце боль никак,
кует к звену звено.
Вот так,
убив,
Раскольников
пришел звенеть в звонок.
Гостьё идет по лестнице...
Ступеньки бросил —
стенкою.

Стараюсь в стенку вплесниться
и слышу —
 струны тенькают.
Быть может, села
 вот так
 невзначай она.

Лишь для гостей,
 для широких масс.
А пальцы
 сами
 в пределе отчаянья
ведут бесшабашье, над горем глумясь.

Друзья А вороны гости?!

 Дверь крыло
раз сто по бокам коридора исхлопано.
Горлань горланья,
 оранья орлó
ко мне доплеталось пьяное добъяна.
Полоса
щели.
Голосá
еле:
«Аннушка —
ну и румянушка!»
Пироги...
 Печка...

Шубу...
 Помогает...

 С плечика...

Сглушило слова уанстепным темпом,
и снова слова сквозь темп уанстепа:
«Что это вы так развеселились?
Разве?!»

 Слиились...

Опять полоса осветила фразу.
Слова непонятны —
 особенно сразу.

Слова так
 (не то чтоб со зла):
«Один тут сломал ногу,

так вот веселимся, чем бог послал,
танцуем себе понемногу».

Да,
их голоса.

Знакомые выкрики.

Застыл в узнаванье,
расплющился, нем,
фразы крою по выкриков выкройке.
Да —
это они —
они обо мне.

Шелест.
Листают, наверное, ноты.
«Ногу, говорите?
Вот смешно-то!»

И снова
в тостах стаканы исчоканы,
и сыплют стеклянные искры из щек они.
И снова
пьяное:

«Ну и интересно!
Так, говорите, пополам и треснул?»
«Должен огорчить вас, как ни грустно,
не треснул, говорят,
а только хрустнул».

И снова
хлопанье двери и карканье,
и снова танцы, полами исшарканные.
И снова
стен раскаленные степи
под ухом звенят и вздыхают в тустепе.

Только б
не ты

Стою у стенки.

Я не я.

Пусть бредом жизнь смололась.
Но только б, только б не ея
невыносимый голос!

Я день,
я год обыденщине прёдал,
я сам задыхался от этого бреда.
Он

жизнь дымком квартирношным выел.

Звал:

решись

с этажей

в мостовые!

Я бегал от зова разинутых окон,
любя убегал.

Пускай однобоко,
пусть лишь стихом,

лишь шагами ночныхми —

строчишь,

и становятся души строчными,
и любишь стихом,

а в прозе немею.

Ну вот, не могу сказать,
не умею.

Но где, любимая,
где, моя милая,

где

— в песне! —

любви моей изменил я?

Здесь

каждый звук,

чтоб признаться,

чтоб кликнуть.

А только из песни — ни слова не выкинуть.

Вбегу на трель,
на гаммы.

В упор глазами
в цель!

Гордясь двумя ногами,
—Ни с места! — крикну.—

Цел! —

Скажу:

— Смотри,

даже здесь, дорогая,

стихами громя обыденщины жуть,
имя любимое оберегая,
тебя

в проклятьях моих
обхожу.

Приди,
разотзовись на стих.

Я, всех оббегав,— тут.
Теперь лишь ты могла б спасти.
Вставай!

Бежим к мосту! —
Быком на бойне
под удар
башку мою нагнул.
Сборю себя,
пойду туда.
Секунда —
и шагну.

*Шагание
стихия*

Последняя самая эта секунда,
секунда эта
стала началом,
началом
невероятного гуда.
Весь север гудел.
Гудения мало.
По дрожи воздушной,
по колебанью
догадываюсь —
оно над Любанием.
По холоду,
по хлопанью дверью
догадываюсь —
оно над Тверью.
По шуму —
настежь окна раскинул —
догадываюсь —
кинулся к Клину.
Теперь грозой Разумовское зáлил.
На Николаевском теперь
на вокзале.
Всего дыхание одно,
а под ногой
ступени
пошли,
поплыли ходуном,
вздымаясь в невской пене.
Ужас дошел.
В мозгу уже весь.

Натягивая нервов строй,
разгуживаясь все и разгуживаясь,
взорвался,

пригвоздил:

— Стой!

Я пришел из-за семи лет,
из-за верст шести ста,
пришел приказать:

Нет!

Пришел повелеть:

Оставь!

Оставь!

Не надо

ни слова,

ни просьбы.

Что толку —

тебе

одному

удалось бы?!

Жду,

чтоб землей обезлюбленной

вместе,

чтоб всей

мировой

человечьей гущей.

Семь лет стою,

буду и двести

стоять пригвожденный,

этого ждущий.

У лет на мосту

на презренье,

на смéх,

земной любви искупителем значась,

должен стоять,

стою за всех,

за всех расплачусь,

за всех расплáчусь.

Ротонда

Стены в тустепе ломались

на три,

на четверть тона ломались,

на стó...

Я, стариком,
на каком-то Монмартре
лезу —
стотысячный случай —
на стол.

Давно посетителям осточертело.
Знают заранее
все, как по нотам:
буду звать
(новое дело!)
куда-то идти,
спасать кого-то.

В извинение пьяной нагрузки
хозяин гостям объясняет:
— Русский! —

Женщины —
мяса и тряпок вязанки —
смеются,
стащить стараются
зая ноги:

«Не пойдем.

Дудки!
Мы — проститутки».
Быть Сены полосе б Невой!
Грядущих лет брызгой
хожу по мгле по Сеновой
всей нынчести изгой.
Саженный,

обсмеянный,
саженный,
битый,

в бульварах
ору через каски военщины:
— Под красное знамя!

Шагайте!
По быту!

Сквозь мозг мужчины!
Сквозь сердце женщины! —

Сегодня
гнали
в особенном раже.
Ну и жара же!

Полусмерть Надо
немного обветрить лоб.
Пойду,
пойду, куда ни вело б.
Внизу свистят сержанты-трельщики.
Тело
с панели
уносят метельщики.

Рассвет.
Подымаюсь сенскою сенью,
синематографской серой тенью.
Вот —
гимназистом смотрел их
с парты —
мелькают сбоку Франции карты.
Воспоминаний последним током
тащился прощаться
к странам Востока.

*Случайная
станция*
С разлету рванулся —
и стал,
и на мель.
Лохмотья мои зацепились штанами.
Ощупал —
скользко,
луковка точно.
Большое очень.
Испозолочено.
Под луковкой
колоколов завыванье.
Вечер зубцы стенные выкаймил.
На Иване я
Великом.
Вышки кремлевские пиками.
Московские окна
видятся еле.
Весело.
Елками зарождествели.
В ущелья кремлёвы волна ударяла:
то песня,
то звона рождественский вал.
С семи холмов,
низвергаясь Дарьялом,

бросала Тереком
праздник
Москва.
Вздымается волос.
Лягушко тужусь.
Боюсь —
оступлюсь на одну только пядь,
и этот
старый
рождественский ужас
меня
по Мясницкой закружит опять.

Повторение пройденного
Руки крестом,
крестом
на вершине,
ловлю равновесие,
страшно машу.
Густеет ночь,
не вижу в аршине.
Луна.
Подо мною
льдистый Машук.
Никак не справлюсь с моим равновесием,
как будто с Вербы —
руками картонными.
Заметят.
Отсюда виден весь я.
Смотрите —
Кавказ кишит Пинкertonами.
Заметили.
Всем сообщили сигналом.
Любимых,
друзей
человечьи ленты
со всей вселенной сигналом согнало.
Спешат рассчитаться,
идут дуэлянты.
Щетиняясь,
щерясь
еще и еще там...
Плюют на ладони.
Ладонями сочными,

руками,
ветром,
нешадно,
без счета
в мочалку щеку истрепали пощечинами.
Пассажи —
перчаточных лавок початки,
дамы,
духи развеява паточные,
снимали,
в лицо швыряли перчатки,
швырялись в лицо магазины перчаточные.
Газеты,
журналы,
зря не глазейте!
На помощь летящим в морду венцам
ругней
за газетиной взвейся газетина.
Слухом в ухо!
Хватай, клевеща!
И так я калека в любовном боленье.
Для ваших оставьте помоев ушат.
Я вам не мешаю.
К чему оскорбленья!
Я только стих,
я только душа.
А снизу:
— Нет!
Ты враг наш столетний.
Один уж такой попался —
гусар!
Понюхай порох,
свинец пистолетный.
Рубаху враспашку!
Не празднуй труса! —

*Последняя
смерть*

Хлеще ливня,
грома бодрей,
бровь к брови,
ровненько,
со всех винтовок,
со всех батарей,
с каждого маузера и браунинга,

с сотни шагов,
с десяти,
с двух,
в упор —
за зарядом заряд.
Станут, чтоб перевесть дух,
и снова свинцом сорят.
Конец ему!
В сердце свинец!
Чтоб не было даже дрожи!
В конце концов —
всему конец.
Дрожи конец тоже.

To, что осталось

Окончилась бойня.
Веселье клоочет.
Смакуя детали, разлезлись шажком.
Лишь на Кремле
поэтовы клочья
сияли по ветру красным флагжком.
Да небо
по-прежнему
лирикой звездится.

Глядит
в удивленье небесная звезда —
затрубадурйла Большая Медведица.
Зачем?
В королевы поэтов пролезть?
Большая,
неси по векам-Аракатам
сквозь небо потопа
ковчегом-ковшом!

С борта
звездолетом
медведьинским братом
горланю стихи мирозданию в шум.
Скоро!
Скоро!
Скоро!
В пространство!
Пристальней!
Солнце блестит горы.
Дни улыбаются с пристани.

ПРОШЕНИЕ НА ИМЯ...
ПРОШУ ВАС, ТОВАРИЩ ХИМИК,
ЗАПОЛНИТЕ САМИ!

Пристает ковчег.

Сюда лучами!

Пристань.

Эй!

Кидай канат ко мне!

И сейчас же

ощутил плечами

тяжесть подоконничьих камней.

Солнце

ночь потопа высушило жаром.

У окна

в жару встречаю день я.

Только с глобуса — гора Килиманджаро.

Только с карты африканской — Кения.

Голой головою глобус.

Я над глобусом

от горя горблюсь.

Мир

хотел бы

в этой груде горя

настоящие облапить груди-горы.

Чтобы с полюсов

по всем жильям

лаву раскатил, горящ и каменист,

так хотел бы разрыдаться я,

медведь-коммунист.

Столбовой отец мой

дворянин,

кожа на моих руках тонка.

Может,

я стихами выхлебаю дни,

и не увидав токарного станка.

Но дыханием моим,

сердцебиеньем,

голосом,

каждым острием издыбленного в ужас

волоса,

дырами ноздрей,

гвоздями глаз,

зубом, исскреженным в звериный лязг,
ёжью кожи,

гнева брови сборами,
триллионом пор,

дословно —

всеми побрами

в осень,

в зиму,

в весну,

в день, в лето,

в сон

не приемлю,

ненавижу это

все.

Все,

что в нас

ушедшим рабьим вбито,

все,

что мелочиным роем
оседало

и осело бытом

даже в нашем

краснофлагом строе.

Я не доставлю радости
видеть,

что сам от заряда стих.

За мной не скоро потяннете
об упокой его душу таланте.

Меня

из-за угла

позком можно.

Дантесам в мой не целить лоб.

Четырежды состарюсь — четырежды

омоложенный,

до гроба добраться чтоб.

Где б ни умер,

умру пойя.

В какой трущобе ни лягу,
знаю —

достоин лежать я
с легиими под красным флагом.
Но за что ни лечь —

смерть есть смерть.

Страшно — не любить,
ужас — не сметь.

За всех — пуля,
за всех — нож.

А мне когда?
А мне-то что ж?

В детстве, может,
на самом дне,
десять найду
сносных дней.

А то, что другим?!
Для меня б этого!
Этого нет.

Видите —
нет его!

Верить бы в загробь!
Легко прогулку пробную.

Стоит
только руку протянуть —
пуля
мигом

в жизнь загробную
начертит гремящий путь.

Что мне делать,
если я

вовсю,
всей сердечной мерою,
в жизнь сию,
сей

мир
верил,
верую.

Vera Пусть во что хотите жданья удлиняются —
вижу ясно,

ясно до галлюцинаций.

До того,
что кажется —

вот только с этой рифмой
развязкись,

и вбежишь
по строчке

в изумительную жизнь.

Мне ли спрашивать —
да эта ли?
Да та ли?!

Вижу,
вижу ясно, до деталей.
Воздух в воздух,
будто камень в камень,
недоступная для тленов и крошений,
рассиявшиесь,
высится веками
мастерская человечьих воскрешений.

Вот он,
большелобый
тихий химик,
перед опытом наморщил лоб.

Книга —
«Вся земля», —
выискивает имя.

Век двадцатый.
Воскресить кого б?
— Маяковский вот...
Поищем ярче лица —
недостаточно поэт красив.—
Крикну я
вот с этой,
с нынешней страницы:
— Не листай страницы!
Воскреси!

Надежда Сердце мне вложи!
Кровищу —
до последних жил.
В череп мысль вдолби!
Я свое, земное, не дожил,
на земле
свое не долюбил.
Был я сажень ростом.
А на что мне сажень?
Для таких работ годна и тля.
Перышком скрипел я, в комнатенку всажен,
вплющился очками в комнатный футляр.
Что хотите, буду делать даром —

чистить,
мыть,
стеречь,
мотаться,
месть.

Я могу служить у вас.
хотя б швейцаром.

Швейцары у вас есть?

Был я весел —

толк веселым есть ли,
если горе наше непролазно?

Нынче

обнажают зубы если,
только чтоб хватить, чтоб
лязгнуть.

Мало ль что бывает —

тяжесть

или горе...

Позовите!

Пригодится шутка дурья.
Я шарадами гипербол,
аллегорий
буду развлекать,
стихами балагура.

Я любил...

Не стоит в старом рыться.
Больно?

Пусть...
Живешь и болью дорожась.
Я зверье еще люблю —
у вас
зверинцы
есть?

Пустите к зверю в сторожа.
Я люблю зверье.

Увидишь собачонку —
тут у булочной одна —
сплошная плеши,—
из себя

и то готов достать печенку.
Мне не жалко, дорогая,
ешь! ..

Может,
может быть,
когда-нибудь,
дорожкой зоологических аллей

и она —
она зверей любила —
тоже ступит в сад,
улыбаясь,
вот такая,
как на карточке в столе.

Она красивая —
ее, наверно, воскресят.

Ваш
тридцатый век
обгонит стаи
сердце раздиравших мелочей.

Нынче недолюбленное
наверстаем
звездностью бесчисленных ночей.

Воскреси
хотя б за то,
что я
поэтом

ждал тебя,
откинул будничную чушь!

Воскреси меня
хотя б за это!

Воскреси —
свое дожить хочу!
Чтоб не было любви — служанки
замужеств,
похоти,
хлебов.

Постели прокляв,
встав с лежанки,
чтоб всей вселенной шла любовь.
Чтоб день,
который горем старящ,
не христарадничать, моля.
Чтоб вся
на первый крик:
— Товарищ! —
оборачивалась земля.

Чтоб жить
не в жертву дома дырам.
Чтоб мог
в родне
отныне
стать
отец
по крайней мере миром,
землей по крайней мере — мать.

1923

Российской
Коммунистической партии
посвящаю

Время —
начинаю
 про Ленина рассказ.

Но не потому,
 что горя
 нету более,
время
 потому,
 что резкая тоска
стала ясною
 осознанною болью.

Время,
 снова
 ленинские лозунги развихрь.

Нам ли
 растекаться
 слезной лужею,—

Ленин
 и теперь
 живее всех живых.

Наше знанье —
 сила
 и оружие.

Люди — лодки.
 Хотя и на суше.

Проживешь
 свое
 пока,
много всяких
 грязных ракушек

налипает
нам
на бока.
А потом,
пробивши
бурю разозленную,
сядешь,
чтобы солнца близ,
и счищаешь
водорослей
бороду зеленую
и медуз малиновую слизь.
Я
себя
под Лениным чищу,
чтобы плыть
в революцию дальше.
Я боюсь
этих строчек тыщи,
как мальчишкой
боишься фальши.
Рассияют головою венчик,
я тревожусь,
не закрыли чтоб
настоящий,
мудрый,
человечий
ленинский
огромный лоб.
Я боюсь,
чтоб шествия
и мавзолеи,
поклонений
установленный статут
не залили б
приторным елеем
ленинскую
простоту.
За него дрожу,
как за зеницу глаза,
чтоб конфетной
не был
красотой оболган.

Голосует сердце —
по мандату долга.
Вся Москва.

Промерзшая земля
дрожит от гуда.

Над кострами
обмороженные с ночи.

Что он сделал?

Кто он
и откуда?

Почему
ему
такая почесть?

Слово за словом
из памяти таская,
не скажу
ни одному —
на место сядь.

Как бедна
у мира
слова мастерская!

Подходящее
откуда взять?

У нас
семь дней,
у нас
часов — двенадцать.

Не прожить
себя длинней.

Смерть
не умеет извиняться.

Если ж
с часами плохо,

мала
календарная мера,
мы говорим —
«эпоха»,
мы говорим —
«эра».

Мы
спим
ночь.

Днем
совершаем поступки.
Любим
свою толочь
воду
в своей ступке.

А если
за всех смог
направлять
потоки явлений,
мы говорим —
«пророк»,
мы говорим —
«гений».

У нас
претензий нет,—
не зовут —
мы и не лезем;
нравимся
своей жене,
и то
довольны донельзя.

Если ж,
телом и духом слит,
прет
на нас непохожий,
шпилим —
«царственный вид»,
удивляемся —
«дар божий».

Скажут так,—
и вышло
ни умно, ни глупо.
Повисят слова
и уплывут, как дымы.

Ничего
не выколупишь
из таких скорлупок.

Ни рукам,
ни голове не ощутимы.
Как же
Ленина
таким аршином мерить!

Ведь глазами
видел

каждый всяк —
«эра» эта
проходила в двери,
даже
головой
не задевая о косяк.

Неужели
про Ленина тоже:

«вождь
милостью божьей»?
Если б
был он
царствен и божествен,
я б
от ярости
себя не поберег,
я бы
стал бы
в перекоре шествий,
поклонениям
и толпам поперек.

Я б
нашел
слова
и пока проклятья громоустого,
растоптан

я
и выкрик мой,
я бросал бы
в небо
богохульства,
по Кремлю бы
бомбами

метал:
долой!

Но тверды
шаги Дзержинского
Нынче бы у гроба.
могла
с постов сойти Чека.

Сквозь миллионы глаз,
и у меня
сквозь оба,
лишь сосульки слез,
примерзшие
к щекам.

Богу
почести казенные
не новость.

Нет!
Сегодня
настоящей болью
сердце холдей.

Мы
хороним
самого земного
изо всех
прошедших
по земле людей.

Он земной,
но не из тех,
кто глазом
упирается
в свое корыто.

Землю
всю
охватывая разом,
видел
то,
что временем закрыто.

Он, как вы
и я,
совсем такой же,
только,
может быть,
у самых глаз
мысли
больше нашего
морщинят кожей,
да насмешливей
и тверже губы,
чем у нас.

Не сатрапья твердость,
триумфаторской коляской
мнувшая
тебя,
подергивая вожжи.

Он
к товарищу
милел
людскою лаской.

Он
к врагу
вставал
железа тверже.

Знал он
слабости,
знакомые у нас,
как и мы,
перемогал болезни.

Скажем,
мне бильярд —
отращиваю глаз,
шахматы ему —
они вождям
полезней.

И от шахмат
перейдя
к врагу натурой,
в люди
выведя
вчерашних пешек строй,
становил

рабочей — человечьей диктатурой
над тюремной
капиталовой турой.

И ему
и нам
одно и то же дорого.

Отчего ж,
стоящий
от него поодаль,
я бы
жизнь свою,
глупея от восторга,

за одно б
его дыханье
отдал?!

Да не я один!
Да что я
лучше, что ли?!

Даже не позвать,
раскрыть бы только рот —
кто из вас
из сел,
из кожи вон,
из штолен
не шагнет вперед?!

В качке —
будто бы хватил
вины и горя лишку —
инстинктивно
хоронюсь
трамвайной сети.

Кто
сейчас
оплакал бы
мою смертишку
в трауре
вот этой
безграничной смерти!

Со знаменами идут,
и так.
стало
Похоже —
вновь
Россия кочевой.

И Колонный зал
дрожит,
насквозь прохожен.

Почему?
Зачем
и отчего?

Телеграф
охрип
от траурного гуда.

Слезы снега
с флагжильх
покрасневших век.

Что он сделал,
кто он
и откуда —
этот
самый человечный человек?

Коротка
и до последних мгновений
нам
известна
жизнь Ульянова.
Но долгую жизнь
товарища Ленина
надо писать
и описывать заново.
Далеко давным,
годов за двести,
первые
про Ленина
восходят вести.

Слышите —
железный
и луженый,
прорезая
древние века,—
голос
прадеда
Бромлея и Гужона —
первого паровика?
Капитал
его величество,
некоронованный,
невенчанный,
объявляет
покоренной
силу деревенщины.

Город грабил,
греб,
грабастал,
глыбил
пуза касс,
а у станков
худой и горбастый

встал рабочий класс.
И уже грозил,
взвивая трубы за небо:
— Нами к золоту
пути мостите.
Мы родим, пошлем,
придет когда-нибудь
человек, борец,
каратель, мститель! —
И уже смешались облака и дымы,
будто рядовые одного полка.
Небеса становятся двойными,
дымы забивают облака.
Товары растут,
меж нищими высясь.
Директор, лысый черт,
пощелкал счетами,
буркнул:
и вывесил слово «расчет».
Крапило слости
хлеба зерном
в элеваторах портятся,
а под витринами
всех Елисеевых,

живот подведя,
плелась безработица.
И бурчало
у трущоб в утробе,
покрывая
детвориной плачик:
— Под работу,
под винтовку ль,
на —
ладони обе!
Приходи,
заступник
и расплатчик! —
Эй,
верблюд,
открыватель колоний!
Эй,
колонны стальных кораблей!
Марш
в пустыни
огня раскаленней!
Пеньте пену
бумаги белей!
Начинают
черным лататься
оазисы
пальмовых нег.
Вон
среди
золотистых плантаций
засеченный
вымычал негр:
— У-у-у-у-у,
у-у-у!
Нил мой, Нил!
Приплеши
и выплеши
черные дни!
Чтоб чернее были,
чем я во сне,
и пожар чтоб
крови вот этой красней.
Чтоб во всем этом кофе,
враз вскипелом,

вариться пузатым —
черным и белым.
Каждый
добытый
слоновий клык —
тык его в мясо,
в сердце тык.
Хоть для правнуков,
не зря чтоб
кровью литься,
выплыви,
заступник солнцелицый.
Я кончаюсь,—
бог смертей
пришел и поманил.
Помни
это заклинанье,
Нил,
мой Нил! —
В снегах России,
в бреду Патагонии
расставило
время
станки потогонные.
У Ивáнова уже
у Вознесенска
каменные туши
будоражат
выкрики частушек:
«Эх, завод ты мой, завод,
желтоглазина.
Время нового зовет
Стеньку Разина».
Внуки
спросят:
— Что такое капиталист? —
Как дети
теперь:
— Что это
г-о-р-о-д-о-в-о-й?..—
Для внуков
пишу
в один лист

капитализма
портрет родовой.
Капитализм
в молодые годы
был ничего,
деловой парнишка:
первый работал —
не боялся тогда,
что у него
от работ
засалится манишка.
Трико феодальное
ему тесно!
Лез
не хуже,
чем нынче лезут.
Капитализм
революциями
своей весной
расцвел
и даже
подпевал «Марсельезу».
Машину
он
задумал и выдумал.
Люди
и те — ей!
Он
по вселенной
видимо-невидимо
рабочих расплодил
детей.
Он враз
и царства
и графства сжевал
с коронами их
и с орлами.
Встучнел,
как библейская корова
или вол,
облизывается.
Язык — парламент.

С годами
ослабла
мускулов сталь,
он раздобрел
и распух,
такой же
с течением времени
стал,
как и его гроссбух.
Дворец возвел —
не увидишь такого!
Художник
— не один! —
по стенам поерзал.
Пол ампиристый,
потолок рококовый,
стенки —
Людовика XIV,
Каторза.
Вокруг,
с лицом,
что равно годится
быть и лицом
и ягодицей,
задолицая
полиция.
И краске
и песне
душа глуха,
как корове
цветы
среди луга.
Этика, эстетика
и прочая чепуха —
просто —
его
женская прислуга.
Его
и рай
и преисподня —
распродает
старухам

дырки
от гвоздей
креста господня
и перо
хвоста
святого духа.
Наконец,
и он
перерос себя,
за него
работает раб.
Лишь наживая,
жря
и спя,
капитализм разбух
и обдряб.
Обдряб
и лег
у истории на пути
в мир,
как в свою кровать.
Его не объехать,
не обойти,
единственный выход —
взорвать!
Знаю,
лирик
скривится горько,
критик
ринется
хлыстиком выстегать:
— А где ж душа?!

Да это ж —
риторика!
Поэзия где ж?
Одна публицистика!! —
Капитализм —
неизящное слово,
куда изящней звучит —
«соловей»,
но я
возвращусь к нему
снова и снова.

Строку

агитаторским лозунгом взвей.
Я буду писать
и про то
и про это,

но нынче

не время
Я любовных ляс.

всю свою

звонкую силу поэта
тебе отдаю,
атакующий класс.

Пролетариат —

неуклюже и узко
тому,
кому

коммунизм — западня.

Для нас

это слово —
могущая могучая музыка,

могущая

мертвых сражаться поднять.

Этажи

уже зажгались, дрожа,
клич подвалов подымается по этажам:
— Мы прорвемся

небесам в распахнутую синь.

Мы пройдем

сквозь каменный колодец.

Будет.

С этих нар рабочий сын —
пролетариатоводец.

Им

уже земного шара мало.

И рукой,

отяжелевшей от колец,

тянется
упитанная

туша капитала
ухватить
чужой горлéц.

Идут,
железом
клацая и лацкая.
— Убивайте!

Двум буржуям тесно! —
Каждое село —
могила братская,
города —
 завод протезный.

Кончилось —
столы
накрыли чайные.

Пирогом
победа на столе.

— Слушайте
могил чревовещание,
кастаньеты костылей!

Снова
нас
увидите
в военной яви.

Эту
время
не простит вину.
Он расплатится,
придет он
и объявит
вам
и вашинской войне
войну! —

Вырастают
на земле
слезы озёра,
слишком

непролазны
крови топи.
И клонились
одиночки-фантазеры

над решением
немыслимых утопий.

Голову
об жизнь
разбили филантропы.

Разве
путь миллионам —
филантропов тропы?

И уже
бессилен
сам капиталист,

так
его

машина размахалась,—
строй его
песет,
как пожелтевший лист,

кризисов
и забастовок хаос.

— В чей карман
стекаем
золотою лавой?

С кем идти
и на кого пенять? —

Класс миллионоглавый
напрягает глаз —
себя понять.

Время
часы
капитала
крáло,

побивая
прожекторов яркость.

Время
родило
брата Карла —
старший
ленинский брат
Маркс.

Маркс!
Встаёт глазам
седин портретных рама.

Как же
жизнь его
от представлений далека!
Люди
видят
замурованного в мрамор,
гипсом
холодеющего старика.
Но когда
революционной тропкой
первый
делали
рабочие
шажок,
о, какой
невероятной тонкой
сердце Маркс
и мысль свою зажег!
Будто сам
в заводе каждом
стоя стоймя,
будто
каждый труд
размозоливая лично,
грабящих
прибавочную стоимость
за руку
поймал с поличным.
Где дрожали тельцем,
не вздымая глаз свой
даже
до пупа
биржевика-дельца,
Маркс
повел
разить
войною классовой
золотого
до быка
доросшего тельца.
Нам казалось —
в коммунизмовы затоны

только
волны случая
закинут
нас
юля.
Маркс
раскрыл
истории законы,
пролетариат
поставил у руля.
Книги Маркса
не набора гранки,
не сухие
цифр столбцы —
Маркс
рабочего
поставил на ноги
и повел
колоннами
стройнее цифр.
Вел
и говорил: —
сражаясь, лягте,
дело —
корректура
выкладкам ума.
Он придет,
придет
великий практик,
поведет
 полями битв,
 а не бумаг! —
Жерновами дум
 последнее меля
и рукой
 дописывая
 восковой,
 знаю,
 Марксу
 виделось
 и коммуны
 видение Кремля
 флаг
 над красною Москвой.

Назревали,
зрели дни,
как дыни,
пролетариат
взросел
и вырос из ребят.

Капиталовы
отвесные твердыни
валом размывают
и дробят.

У каких-нибудь
годов
на расстоянии
сколько гроз
гудит
от нарастаний.

Завершается
восстанием
гнева нарастание,
нарастают
революции
за вспышками восстаний.

Крут
буржуев
озверевший норов.

Тьерами растерзанные,
воя и стеная,
тени прадедов,

парижских коммунаров,
и сейчас

вопят
парижскою стеною:
— Слушайте, товарищи!

Смотрите, братья!

Горе одиночкам —
выучьтесь на нас!
Сообща взрывайте!
Бейте партией!

Кулаком
одним
собрав
рабочий класс.—

Скажут:

«Мы вожди,
а сами —
шаркунами?»

За речами

шкуру
распознать умей!

Будет вождь

такой,
что мелочами с нами —
хлеба проще,
рельс прямей.

Смесью классов,

вер,
сословий
и наречий

на рублях колес

землища двигалась.

Капитал

ежом противоречий
рос вовсю
и креп,

штыками иглясь.

Коммунизма

призрак
по Европе рыскал,
уходил
и вновь
маячил в отдаленьи...

По всему по этому

в глухи Симбирска
родился
обыкновенный мальчик
Ленин.

Я знал рабочего.

Он был безграмотный.

Не разжевал

даже азбуки соль.

Но он слышал,

как говорил Ленин,

и он

знал — всё.

Я слышал
рассказ
крестьянина-сибирца.

Отбрали,
отстояли винтовками
и раем
разделали селеньице.

Они не читали
и не слышали Ленина,
но это
были ленинцы.

Я видел горы —
на них
Только и куст не рос.
тучи
на скалы
упали ничком.

И на сто верст
лохмотья у единственного горца
сияли
ленинским значком.

Скажут —
это
о булавках ахи.

Барышни их
вкалывают
из кокетливых причуд.

Не булавка вколота —
сердце,
полное
любовью к Ильичу.

Этого
не объяснишь
церковными славянскими крюками,

и не бог
ему
велел —
избранник будь!
Шагом человеческим,
рабочими руками,

собственою головой
прошел он
этот путь.

Сверху
взгляд
на Россию брось —
рассинелась речками,
словно
разгулялась
тысяча розг,
словно
плетью исполосована.
Но синей,
чем вода весной,
синяки

Руси крепостной.

Ты
с боков
на Россию глянь —
и куда
глаза ни кинь,
упираются
небу в склянь
горы,
каторги
и рудники.
Но и каторг

больнее была
у фабричных станков
кабала.

Были страны
богатые более,
красивее видал
и умней.

Но земли
с еще большей болью
не довиделось
видеть
мене.

Да, не каждый
удар
сотрешь со щеки.

Крик крепчал:

— Подымайтесь
за землю и волю вы! —

И берутся

бунтовщики-

одиночки

за бомбу

и за револьвер.

Хорошо

в царя

вогнать обойму!

Ну, а если

только пыль

взметнешь у колеса?!

Подготовщиком

цареубийства

пойман

брат Ульянова,

народоволец

Александр.

Одного убьешь —

другой

во весь свой пыл

пытками

ущедших

переплюнуть тужится.

И Ульянов

Александр

повешен был

тысячным из шлиссельбуржцев.

И тогда

сказал

Ильич семнадцатигодовый —

это слово

крепче клятв

солдатом поднятой руки:

— Брат,

мы здесь

тебя сменить готовы,

победим,

но мы

пойдем путем другим! —

Оглядите памятники —
видите
героев род вы?
Станет Гоголем,
а ты
венком его величь.
Не такой —
чернорабочий,
ежедневный подвиг
на плечи себе
взвалил Ильич.
Он вместе,
учит в кузничной пасты,
как быть,
чтоб зарплата
взросла пятаком.
Что делать,
если
дерется мастер.
Как быть,
чтоб хозяин
поил кипятком.
Но не мелочь
целью в конце:
победив,
не стой так
над одной
сметёйной лужею.
Социализм — цель.
Капитализм — враг.
Не веник —
винтовка оружие.
Тысячи раз
одно и то же
он вбивает
в тугой слух,
а назавтра
друг в друга вложит
руки
понявших двух.
Вчера — четыре,
сегодня — четыреста.

Таимся,
 а завтра
 в открытую встанем,
и эти
 четыреста
 в тысячи вырастут.
Трудящихся мира
 подымем восстанием.
Мы уже
 не тише вод,
 травинок ниже —
гнев трудящихся
 густится в туче.
Режет
 молниями
 Ильичевых книжек.
Сыпет
 градом
 прокламаций и летучек.
Бился
 об Ленина
 темный класс,
тёк
 от него
 в просветленьи,
и, обданный
 силой
 и мыслями масс,
с классом
 рос
 Ленин.
И уже
 превращается в быль
то,
 в чем юношей
 Ленин клялся:
— Мы
 не одиночки,
 мы —
 союз борьбы
за освобождение
 рабочего класса.—

Ленинизм идет
все далее
и более
вширь
учениками
Ильичевой выверки.
Кровью
вписан
героизм подполья
в пыль
и в слякоть
бесконечной Володимирики.
Нынче
нами
Даже шар земной заверчен.
мы,
в кремлевских креслах если,—
скольким
вдруг
из-за декретов Нерчинск
кандалами
раззвенится в кресле!
Вам
опять
напомню птичий путь я.
За волчком —
трамваев
Кто
электрическая рысь.
из вас
решетчатые прутья
не царапал
и не грыз?!

Лоб
разбей
о камень стенки тесной —
за тобою
смыли камеру
и замели.
«Служил ты недолго, но честно
на благо родимой земли».
Полюбилась Ленину
в какой из ссылок

этой песни

траурная сила?

Говорили —

мужичок

своей пойдет дорогой,

заведет

социализм

бесхитростен и прост.

Нет,

и Русь

от труб

становится сторожей.

Город

дымной бородой оброс.

Не попросят в рай —

пожалуйста,

войдите —

через труп буржуазии

коммунизма шаг.

Ста крестьянским миллионам

пролетариат водитель.

Ленин —

пролетариев вожак.

Понаобещает либерал

или эсерик прыткий,

сам охочий до рабочих шей,—

Ленин

фразочки

с него

пооборвет до нитки,

чтоб из книг

сиял

в дворянском нагише.

И нам

уже

не разговорцы досужие,

что-де свобода,

что люди братья,—

мы

в Марковом всеоружии

одна

на мир

большевистская партия.

Америку
пересекаешь
в экспрессном купе,
идешь Чухломой —
тебе
в глаза
вонзается теперь
РКП
и в скобках
маленькое «б».

Теперь
на Марсов
охотится Пулково,
перебирая
небесный ларчик.

Но миру
эта
строчная буква
в сто раз красней,
грандиозней
и ярче.

Слова
у нас
до важного самого
в привычку входят,
ветшают, как платье.

Хочу
сиять заставить заново
величественнейшее слово
«ПАРТИЯ».

Единица!
Кому она нужна?!

Голос единицы
тоньше писка.

Кто ее услышит? —
Разве жена!

И то
если не на базаре,
а близко.

Партия —
это
единый ураган,
из голосов спрессованный
тихих и тонких,

от него

лопаются

укрепления врага,

как в канонаду

от пушек

перепонки.

Плохо человеку,

когда он один.

Горе одному,

один не воин —

каждый дюжий

ему господин,

и даже слабые,

если двое.

А если

в партию

сгрдились малые —

сдайся, враг,

замри

и ляг!

Партия —

рука миллионопалая,

скатая

в один

громящий кулак.

Единица — вздор,

единица — ноль,

один —

даже если

очень важный —

не подымет

простое

пятивершковое бревно,

тем более

дом пятиэтажный.

Партия —

это

миллионов плечи,

друг к другу

прижатые тugo.

Партией

стройки

в небо взмечем,

держа
и вздымая друг друга.
Партия —
спинной хребет рабочего класса.
Партия —
бессмертие нашего дела.
Партия — единственное,
что мне не изменит.
Сегодня приказчик,
а завтра
царства стираю в карте я.
Мозг класса,
дело класса,
сила класса,
слава класса —
вот что такое партия.
Партия и Ленин —
близнецы-братья —
кто более
матери-истории ценен?
Мы говорим Ленин,
подразумеваем —
партия,
мы говорим
партия,
подразумеваем —
Ленин.
Еще
горой
коронованные глáвы,
и буржуи
чернеют,
как вороны в зиме,
но уже
горение
рабочей лавы
по кратеру партии
рвется из-под земель.
Девятое января.
Конец гапонщины.
Падаем,
царским свинцом косимы.

Бредня
о милости царской
прикончена
с бойней Мукденской,
с треском Цусимы.

Довольно!
Не верим
Сами разговорам посторонним!
с оружием
встали пресненцы.

Казалось —
сейчас
покончим с троном,
за ним
и буржуево
кресло треснется.

Ильич уже здесь.
Он изо дня на день
проводит
с рабочими
пятый год.

Он рядом
на каждой стоит баррикаде,
ведет
всего восстания ход.

Но скоро
прошла
лукавая вестийка —
«свобода».

Бантики люди надели,
царь
на балкон
выходил с манифестикиом.

А после
«свободной»
речи,
банты
и пения плавные
пушечный рев
покрывает басом:
по крови рабочей
пустился в плавание

царев адмирал,
каратель Дубасов.

Плюнем в лицо
той белой слякоти,
сюсюкающей
о зверствах Чека!

Смотрите,
как здесь,
связавши за локти,
рабочих насмерть
секли по щекам.

Зверела реакция.
Интеллигентчики
ушли от всего
и всё изгадили.

Заперлись дома,
достали свечки,
ладан курят —
богоискатели.
Сам заскулил
товарищ Плеханов:
— Ваша вина,
запутали, братцы!
Вот и пустили
крови лохани!

Нечего
зря
за оружье браться.—

Ленин
в этот скулеж недужный
врезал голос
бодрый и зычный:
— Нет,
за оружие
браться нужно,
только более
решительно и энергично.

Новых восстаний вижу день я.
Снова подымется
рабочий класс.
Не защита —
нападение

стать должно
лозунгом масс.—
И этот год
в кровавой пене
и эти раны
в рабочем стане
покажутся
школой
первой ступени
в грозе и буре
грядущих восстаний.
И Ленин
снова
в своем изгнании
готовит
нас
перед новой битвой.
Он учит
и сам вбирает знание,
он партию
вновь
собирает разбитую.
Смотри —
забастовки
вздымают год,
еще —
и к восстанию сумеешь сдвинуться ты.
Но вот
из лет
подымается
страшный четырнадцатый.
Так пишут —
солдат-де
раскурит трубку,
балакать пойдет
о походах древних,
но эту
всемирнейшую мясорубку
к какой приравнять
к Полтаве,
к Плевне?!

Имперализм
во всем оголении —

живот наружу,
с вставными зубами,
и море крови
ему по колени —
сжирает страны,
вздымаая штыками.
Вокруг него
его подхалимы —
патриоты —
приспособились Вовы —
пишут,
руки предавшие вымыв:
— Рабочий,
дерись
до последней крови! —
Земля —
город
железного лома,
а в ней
человечья
рвань и рваль.

Среди
всего сумасшедшего дома
трезвый
встал
один Циммервальд.

Отсюда
Ленин
с горсточкой товарищей
встал над миром
и поднял над
мысли
ярче
всякого пожарища,
голос
громче
всех канонад.

Оттуда —
миллионы
канонадою в уши,
стотысячесабельной
конницы бег,

отсюда,
против
и сабель и пушек,—
скуластый
и лысый
один человек.

— Солдаты!
Буржуи,
предав и продаив,
к туркам шлют,
за Верден,
на Двину.

Довольно!
Превратим
войну народов
в гражданскую войну!

Довольно
разгромов,
смертей и ран,
у наций
нет
никакой вины.

Против
буржуазии всех стран
подымем
знамя
гражданской войны! —

Думалось:
сразу
пушка-печка
чихнет огнем
и сдунет гнилью,
потом поди,
ищи человечка,
поди,
вспоминай его фамилию.

Глоткой орудий,
шиповщих и вывших,
друг другу
страны
орут —
на колени!

Додрались,
и вот
никаких победивших —
один победил
товарищ Ленин.
Империализма прорва!
Мы
истощили
Ты терпенье ангельское.
восставшее
Россией прорвана
от Тавриза
и до Архангельска.
Империя —
это тебе не кúра!
Клювастый орел
с двухглавою властью.
А мы,
как докуренный окурок,
просто
сплюнули
их династю.
Огромный,
покрытый кровавою ржою,
народ,
голодный и голоштанный,
к Советам пойдет
или будет
таскать, буржую
как и встарь,
— Народ из огня каштаны?
разорвал
оковы цары,
Россия в буре,
Россия в грозе,—
читал
Владимир Ильич
в Швейцарии,
дрожа,
волнуясь
над кипой газет.

Но что
по газетным узнаешь клочьям?
На аэроплане
прорваться б ввысь,
туда,
на помощь
к восставшим рабочим,—
одно желанье,
единая мысль.

Поехал,
покорный партийной воле,
в немецком вагоне,
немецкая пломба.

О, если бы
знал
тогда Гогенцоллерн,
что Ленин
и в их монархию бомба!

Питерцы
всё еще
всем на радость
лобзались,
скакали детишками малыми,
но в красной ленточке,
слегка припадаясь,

Невский
уже
кишел генералами.

За шагом шаг —
и дойдут до точки,
дойдут
и до полицейского свиста.

Уже
начипают
казать коготочки

буржуи
из лапок своих пушистых.

Сначала мелочь —
вроде малькоб.

Потом повзрослев —
от шпротов до килечек.

Потом Дарданельский,
в девичестве Милюков,

за ним
с коронацией
прет Михаильчик.

Премьер
не власть —
Это
тебе
не грубый нарком.

Прямо девушка —
Истерики закатывает,
Еще

не попало
нам
и росинки
от этих самых
февральских свобод,
а у оборонцев —
уже хворостинки —
«марш, марш на фронт,
рабочий народ».

И в довершение
пейзажа славненького,
нас предававшие

и до
вокруг
сторожами
меньшевики —
и потόм,
эсеры да Савинковы,

ученым котом.
И в город,
уже
вдруг оттуда,
из-за Невы,
с Финляндского вокзала
по Выборгской
загрохотал броневик.

И снова
ветер
свежий, крепкий

валы
революции
поднял в пене.

Литейный
залили
блузы и кепки.
«Ленин с нами!»
— Да здравствует Ленин!
— Товарищи! —
и над головами
первых сотен
вперед
ведущую
руку выставил.
— Сбросим
эсдечества
обветшавшие лохмотья.
Долой
власть
соглашателей и капиталистов!
Мы —
голос
воли низа,
рабочего низа
всего света.
Да здравствует
партия,
строящая коммунизм,
да здравствует
восстание
за власть Советов! —
Впервые
перед толпой обалделой
здесь же,
перед тобою,
близ,
встало,
как простое
делаемое дело,
недосыгаемое слово —
«социализм».
Здесь же,
из-за заводов гудящих,

сияя горизонтом
во весь свод,
встала
завтрашняя
коммуна трудящихся —
без буржуев,
без пролетариев,
без рабов и господ.

На толщь
окрутивших
соглашательских веревок
слова Ильича
ударами топора.

И речь
прерывало
обвалами рева:
«Правильно, Ленин!
Верно!
Пора!»

Дом
Кшесинской,
за дрыгоночество
подаренный,
нынче —
рабочая блузница.

Сюда течет
фабричное множество,
здесь
закаляется
в ленинской кузнице.
«Ешь ананасы,
рябчиков жуй,
день твой последний
приходит, буржуй».

Уж лезет
к сидящим
в хозяйственном стуле —
как живете
да что жуете?
Примериваясь,
в июле
за горло потрогали
и за животик.

Буржуевы зубья
ошерились разом.
— Раб взбунтовался!
Плетями,
да в кровь его! —

И ручку
Керенского
водят приказом —
на мушку Ленина!
в Кресты Зиновьева!

И партия
снова
ушла в подполье.
Ильич на Разливе,
Ильич в Финляндии.

Но ни чердак,
ни шалаш,
ни поле
воождя
не дадут
озверелой банде их.

Ленина не видно,
но он близ.
По тому,
работа движется как,
видна
направляющая
видна ленинская мысль,
ведущая
ленинская рука.

Словам Ильичевым —
падают,
сейчас же
дело растя,
и рядом
уже
с плечом рабочего —
плечи
миллионов крестьян.

И когда
осталось
на баррикады выйти,

день наметив

в ряду недель,

Ленин

сам

явился в Питер:

— Товарищи,

довольно тянуть канитель!

Гнет капитала,

голод-уродина,

войн бандитизм,

интервенция ворья —

будет! —

покажутся

белее родинок

на теле бабушки,

древней истории.—

И оттуда,

на дни

оглядываясь эти,

голову

Ленина

взвидишь сперва.

Это

от рабства

десяти тысячелетий

к векам

коммуны

сияющий перевал.

Пройдут

года

сегодняшних тягот,

летом коммуны

согреет летá,

и счастье

счастью

огромных ягод

дозреет

на красных

октябрьских цветах.

И тогда

у читающих

ленинские веления,

пожелтевших
декретов
перебирая листки,
выступят
слезы,
выведенные из употребления,
и кровь
волнением
ударит в виски.

Когда я
итожу
то, что прожил,
и роюсь в днях —
ярчайший где,
я вспоминаю
одно и то же —
двадцать пятое,
первый день.

Штыками
тычется
чирканье молний,
матросы
в бомбы
играют, как в мячики.

От гуда
дрожит
взбудораженный Смоленный.
В патронных лентах
внизу пулеметчики.

— Вас
вызывает
товарищ Сталин.

Направо
третья,
он
там.

— Товарищи,
не останавливаться!
Чего стали?

В броневики
и на почтамт!
— По приказу
товарища Троцкого!

— Есть! —
поклонился
и только и скрылся скоро,
на ленте
под лампой у флотского
блеснуло —
«Аврора».
Кто мчит с приказом,
кто в куче спорящих,
кто щелкал
затвором
на левом колене.
Сюда
с того конца коридора
бочком
пошел
незаметный Ленин.
Уже
Ильичем
поведенные в битвы,
еще
не зная
его по портретам,
толкались,
орали,
острее бритвы
солдаты друг друга
крыли при этом.
И в этой желанной
железнной буре
Ильич,
как будто
даже заспанный,
шагал,
становился
и глаз, сощуря,
вошел,
заложивши
руки за спину.
В какого-то парня
в обмотках,
лохматого,

уставил
без промаха бьющий глаз,
как будто
сердце
с-под слов выматывал,
как будто
душу
тащил из-под фраз.

И знал я,
что все
раскрыто и понято

и этим
глазом
наверное выловится —
и крик крестьянский,
и вопли фронта,
и воля нобельца,
и воля птиловца.

Он
в черепе
сотней губерний ворочал,
людей
носил
до миллиардов полутора.

Он
взвешивал
мир
в течение ночи,

а утром:

— Всем!

Всем!

Всем это —

фронтом,

кровью пьяным,

рабам

всякого рода,

в рабство

богатым отанным.—

Власть Советам!

Земля крестьянам!

Мир народам!

Хлеб голодным! —

Буржуи
прочли
— погодите,
выловим,—
животики пятят
довоодом веским —
ужо им покажут
Духонин с Корниловым,
покажут ужо им
Гучков с Керёнским.
Но фронт
без боя
слова эти взяли —
деревня
и город
декретами зáлит,
и даже
безграмотным
сердце прожег.
Мы знаем,
не нам,
а им показали,
какое такое бывает
«ужо».
Переходило
от близких к близким,
от близких
дальним взрывало сердца:
«Мир хижинам,
война,
война,
война дворцам!»
Дрались
в любом заводе и цехе,
горохом
из городов вытряхали,
а сзади
шаганье октябрьское
метило вехи
пылающих
дворянских усадеб.
Земля —
подстилка под ихними порками,

и вдруг
ее,
как хлебища в узел,
со всеми ручьями ее
и пригорками
крестьянин взял
и зажал, закорузел.
В очках
манжетщики,
злобой похарков,
ползли туда,
где царство да графство.
Дорожка скатертью!
Мы и кухарку
каждую
выучим
управлять государством!
Мы жили
пока
производством ротаций.
С оконов
летело
в немецкие уши:
— Пора кончать!
Выходите брататься! —
И фронт
расползлся
Такую ли в улитки теплушек.
течь
загородите горстью?
Казалось —
наша лодочонка кренится —
Вильгельмов сапог,
Николаева шпористей,
сотрет
Советской страны границы.
Пошли эсеры
в плащах распашонкой,
ловили бегущих
в свое словоблудьице,
ташили
по-рыцарски
глупой шпажонкой

красиво
сразить
броневые чудища!

Ильич
петушившимся
крикнул:
— Ни с места!

Пусть партия
взвалит
и это бремя.

Возьмем
передышку похабного Бреста.
Потеря — пространство,
выигрыш — время.—

Чтоб не передохнуть
нам
в передышку,
чтоб знал —
запомнят удары мои,
себя
не муштровкой —
сознанием вышколи,
стройся
рядами
Красной Армии.

Историки
с гидрой плакаты выдерут
— чи эта гидра была,
чи нет? —

а мы
знавали
вот эту гидру
в ее
натуральной величине.
«Мы смело в бой пойдем
за власть Советов
и как один умрем
в борьбе за это!»
Деникин идет.
Деникина выкинут,
обрушенный пушкой
подымут очаг.

Тут Врангель вам —
на смену Деникину.
Барона уронят —
уже Колчак.
Мы жрали кору,
ночевка — болотце,
но шли
миллионами красных звезд,
и в каждом — Ильич,
и о каждом заботится
на фронте
в одиннадцать тысяч верст.
Одиннадцать тысяч верст
окружность,
а сколько
вдоль да поперек!
Ведь каждый дом
каждый
атаковывать нужно,
врага
в подворотнях берег.
Эсер с монархистом
шпионят бессонно —
где жалят змеей,
Ты знаешь
где рубят сплеча.
путь
на завод Михельсона?
Найдешь
по крови
из ран Ильича.
Эсеры
целят
не очень верно —
другим концом
да себя же
в бровь.
Но бомб страшнее
и пуль револьвёрных
осада голода,
осада тифов.
Смотрите —
кружат
над крошками мушки,

сытней им,
чем нам
в осьмнадцатом году,—
простаивали
из-за осьмушки
сутки
в улице
на холоду.
Хотите сажайте,
хотите травите —
 завод за картошку —
 кому он не жалок!
И десятикорпусный
судостроитель
пыхтел
и визжал
из-за зажигалок.
А у кулаков
и масло и пышки.
Расчет кулаков
простой и верненский —
запрячь хлеба
да зарой в кубышки
николаевки
да кёренки.
Мы знаем —
голод
сметает начисто,
тут нужен зажим,
а не ласковость воска,
и Ленин
встает
сражаться с кулачеством
и продотрядами
и продразверсткой.
Разве
в этакое время
слово «демократ»
набредет
какой головке дурьей?!

Если бить,
так чтоб под ним
панель была мокра:

ключ побед —
в железной диктатуре.
Мы победили,
но мы
в пробоинах:
машина стала,
обшивка —
лохмотья.

Валы обломков!
Лохмотьев обойных!
Идите залейте!
Возьмите и смойте!

Где порт?
Маяки
поломались в порту,

кренимся,
мачтами
волны крестя!

Нас опрокинет —
на правом борту
в сто миллионов
груз крестьян.

В восторге враги
заливаются воя,

но так
лишь Ильич умел и мог —
он вдруг
повернул

колесо рулевое
сразу
на двадцать румбов вбок.

И сразу тишь,
дивящая даже;
крестьяне

подвозят
к пристани хлеб.

Обычные вывески
— купля —
— продажа —

— цэп.
Прищурился Ленин:
— Чинитесь пока чего,

аршину учись,
не научишься —
плох. —

Команду
усталую
берег покачивал.

Мы к буре привыкли,
что за подвох?

Залив
Ильичем
указан глубокий
и точка
смычки-причала
найдена,

и плавно
в мир,
строительству в доки,

вошла
Советских республик громадина.

И Ленин
сам
где железо,
где дерево
носил
чинить
пробитое место.
Стальными листами
вздымал
и примеривал
кооперативы,
лавки
и тресты.

И снова
становится
Ленин штурман,
огни по бортам,
впереди и сзади.

Теперь
от абордажей и штурма
мы
перейдем
к трудовой осаде.

Мы
отошли,
рассчитавши точно.
Кто разложился —
на берег
за ворот.
Теперь вперед!
Отступленье окончено.
РКП,
команду на борт!
Коммуна — столетия,
что десять лет для ней?
Вперед —
и в прошлом
скроется нэпчик.
Мы двинемся
во сто раз медленней,
зато
в миллион
прочней и крепче.
Вот этой
мелкобуржуазной стихии
еще
колышется
мертвая зыбь,
но, тихие
тучи
молнией выев,
уже —
нарастанье
всемирной грозы.
Враг
сменяет
врага поределого,
но будет —
над миром
зажжем небеса
— но это
уже
полезней проделывать,
чем
об этом писать.

Теперь,
если пьете
и если едите,
на общий завод ли
идем
с обеда,
мы знаем —
пролетариат — победитель,
и Ленин —
организатор победы.
От Коминтерна
до звонких копеек,
серпом и молотом
в новой меди,
одна
неписаная эпопея —
шагов Ильича
от победы к победе.
Революции —
тяжелые вещи,
один не подымешь —
согнется нога.
Но Ленин
меж равными
был первейший
по силе воли,
ума рычагам.
Подымаются страны
одна за одной —
рука Ильича
указывала верно:
народы —
черный,
белый
и цветной —
становятся
под знамя Коминтерна.
Столпов империализма
буржуи
пяти частей света,
вежливо
приподымая
цилиндры и короны,

кланяются
Ильичевой республике Советов.
Нам
не страшно
усилие ничье,
мчим
вперед
паровозом труда...
и вдруг
стопудовая весть —
удар.
с Ильичем

Если бы
выставить в музее
плачущего большевика,
весь день бы
в музее
торчали ротозей.
Еще бы —
такое
не увидишь и в века!
Пятиконечные звезды
выжигали на наших спинах
панские воеводы.
Живьем,
по голову в землю,
закапывали нас банды Мамонтова.
В паровозных топках
сжигали нас японцы,
рот заливали свинцом и оловом,
отрекитесь! — ревели,
но из
горящих глоток
лишь три слова:
— Да здравствует коммунизм! —
Кресло за креслом,
ряд в ряд
эта сталь,
железо это
вваливалось
двадцать второго января
в пятиэтажное здание
Съезда Советов.

Усаживались,
кидались усмешкою,
решали
походя
мелочь дел.
Пора открывать!
Чего они мешкают?
Чего
президиум,
как вырубленный, поредел?
Отчего
глаза
краснее ложи?
Что с Калининым?
Держится еле.
Несчастье?
Какое?
Быть не может!
А если с ним?
Нет!
Потолок Неужели?
на нас
пошел снижаться вороном.
Опустили головы —
еще нагни!
Задрожали вдруг
и стали черными
люстр расплывшихся огни.
Захлебнулся
колокольчика ненужный щелк.
Превозмог себя
и встал Калинин.
Слезы не сжуешь
с усов и щек.
Выдали.
Блестят у бороды на клине.
Мысли смешались,
голову минут.
Кровь в виски,
клокочет в вене:
— Вчера
в шесть часов пятьдесят минут
скончался товарищ Ленин! —

Этот год
видал,
чего не взвидят сто.

День
векам
войдет
в тоскливое преданье.

Ужас
из железа
выжал стон.

По большевикам
прошло рыданье.

Тяжесть страшная!
Самих себя ж

выволакивали
волоком.

Разузнать —
когда и как?

В улицы
и в переулки
плыл
Большой театр.

Радость
ползет улиткой.

У горя
бешеный бег.

Ни солница,
ни льдины слитка —
всё

сквозь газетное ситко
черный
засеял снег.

На рабочего
у станка
весть набросилась.
Пулей в уме.

И как будто
слезы стакан
опрокинули на инструмент.
И мужичонко,
видавший виды,

смерти
в глаз
смотревший не раз,
отвернулся от баб,
но выдала

кулаком
растертая грязь.
Были люди — кремень,
и эти
прикусились,
губу уродуя.

Стариками
рассеръезничались дети,
и, как дети,
плакали седобородые.

Ветер
всей земле
бессонницею выл,

и никак
восставшей
не додумать до конца,
что вот гроб
в морозной
комнатеночке Москвы

революции
и сына и отца.

Конец,
конец,
конец.
Кого

уверять!
Стекло —
и видите под...

Это
его
несут с Павелецкого
по городу,
взятыому им у господ.

Улица,
будто рана сквозная —
так болит
и стонет так.

Здесь
каждый камень
по топоту
первых
октябрьских атак.

Здесь
всё,
что каждое знамя
вышило,
задумано им
и велено им.

Здесь
каждая башня
Ленина слышала,
за ним
поплыла бы
в огонь и в дым.

Здесь
Ленина
знает
каждый рабочий,
сердца ему
ветками елок стели.

Он в битву вел,
победу пророчил,
и вот
пролетарий —
всего властелин.

Здесь
каждый крестьянин
Ленина имя
в сердце
вписал
любовней, чем в святыни.

Он земли
велел
назвать своими,
что дедам
в гробах,
засеченым, снятся.

И коммунары
с-под площади Красной,

казалось,

шепчут:

— Любимый и милый!

Живи,

и не надо

судьбы прекрасней —

сто раз сразимся

и ляжем в могилы! —

Сейчас

прозвучали б

слова чудотворца,

чтоб нам умереть

и его разбудят,—

плотина улиц

враспашку растворится,

и с песней

на смерть

ринутся люди.

Но нету чудес,

и мечтать о них нечего.

Есть Ленин,

гроб

и согнутые плечи.

Он был человек

до конца человечьего —

неси

и казнись

тоской человечьей.

Вовек

такого

бесценного груза

еще

не несли

океаны наши,

как гроб этот красный,

к Дому Союзов

плывущий

на спинах рыданий и маршей.

Еще

в караул

вставала в почетный

суровая гвардия

ленинской выпреки,

а люди
уже
прожидают, впечатаны
во всю длину
и Тверской
и Димитровки.

В семнадцатом
было —
в очередь дочери
за хлебом не вышлешь —
завтра съем!

Но в эту
холодную,
страшную очередь
с детьми и с больными
встали все.

Деревни
строились
с городом рядом.
То мужеством горе,
то детскими вызвени.

Земля труда
проходила парадом —
живым
итогом
ленинской жизни.

Желтое солнце,
косое и лаковое,
взойдет,
лучами к подножью кидается.

Как будто
забитые,
надежду оплакивая,
склоняясь в горе,
проходят китайцы.

В плывали
ночи
на спинах дней,
часы меняя,
путая даты.

Как будто
не ночь
и не звезды на ней,

а плачут
над Лениным
негры из Штатов.

Мороз небывалый
жарил подошвы.

А люди
дняют
Даже давкою тесной.

от холода
бить в ладоши
никто не решается —
нельзя,

Мороз хватает
и тащит,
как будто

пытает,
насколько в любви закаленные.
Врывается в толпы.

вступает
вместе с толпой за колонны.

Ступени растут,
разрастаются в риф.

Но вот
затихает
дыханье и пенье,
и страшно ступить —
под ногою обрыв —
бездонный обрыв
в четыре ступени.

Обрыв
от рабства в сто поколений,
где знают
лишь золота звонкий резон.

Обрыв
и край —
это гроб и Ленин,
а дальше —
коммуна
во весь горизонт.
Что увидишь?
Только лоб егб лишь,

и Надежда Константиновна

в тумане

за...

Может быть,

в глаза без слез

увидеть можно больше.

Не в такие

я

смотрел глаза.

Знамен

плывущих

склоняется шелк

последней

почестью отданной:

«Прощай же, товарищ,

ты честно прошел

свой доблестный путь, благородный».

Страх.

Закрой глаза

и не гляди —

как будто

идешь

по проволоке провода.

Как будто

минуту

один на один

остался

с огромной

единственной правдой.

Я счастлив.

Звенящего марша вода

относит

тело мое невесомое.

Я знаю —

отныне

и навсегда

во мне

минута

эта вот самая.

Я счастлив,

что я

этой силы частица,

что общие
даже слезы из глаз.
Сильнее
и чище
нельзя причаститься
великому чувству
по имени —
класс!

Знамённые
снова
склоняются крылья,
чтоб завтра
опять
подняться в бой —
«Мы сами, родимый, закрыли
орлиные очи твои».
Только б не упасть,
к плечу плечо,
флаги вычернив
и вёками алея,
на последнее
прощанье с Ильичем
шли
и медлили у Мавзолея.
Выполняют церемониал.
Говорили речи.
Говорят — и ладно.
Горе вот,
что срок минуты
мал —
разве
весь
охватишь ненаглядный!
Пройдут
и на́верх
смотрят с опаской,
на черный,
посыпанный снегом кружок.
Как бешено
скачут
стрелки на Спасской.
В минуту —
к последней четверке прыжок.

Замрите
минуту
от этой вести!

Остановись,
движенье и жизнь!
Поднявши молот,
стыньте на месте.

Земля, замри,
ложись и лежи!
Безмолвие.
Путь величайший окончен.

Стреляли из пушки,
а может, из тыщи.

И эта
пальба
казалась не громче,
чем мелочь,
в кармане бренчащая —
в нищем.

До боли
раскрыв
убогое зрение,
почти заморожен,
стою не дыша.

Встает
предо мной
у знамен в озарении

темный
земной
неподвижный шар.

Над миром гроб,
неподвижен и нем.

У гроба —
мы,
людей представители,
чтоб бурей восстаний,
дел и поэм
размножить то,
что сегодня видели.

Но вот
издалёка,
оттуда,
из алого

в мороз,
в караул умолкнувший наш,
чей-то голос —
как будто Муралова —
«Шагом марш».
Этого приказа
и не нужно даже —
реже,
ровнее,
тверже дыши,
с трудом
отрывая
тело-тяжесть,
с площади
вниз
вбиваем шаг.
Каждое знамя
твердыми руками
вновь
над головою
взвито ввысь.
Топота потоп,
сила кругами,
ширясь,
расходится
миру в мысль.
Общая мысль
воедино созвенеяна
рабочих,
крестьян
и солдат-рубак:
— Трудно
будет
республике без Ленина.
Надо заменить его —
кем?
И как?
Довольно
валяться
на перине клоповой!
Товарищ секретарь!
На тебе —
вот —

просим приписать
к ячейке еркаповой
сразу,
коллективно,
весь завод...—

Смотрят
буржуи,
глазки раскоряча,

дрожат
от топота крепких ног.

Четыреста тысяч
от станка
горячих—

Ленину
первый
партийный венок.

— Товарищ секретарь,
бери ручку...

Говорят — заменим...
Надо, мол...

Я уже стар —
берите внутика,

не отстает —
подай комсомол.—

Поднебесный флот,
подымай якоря,

в море
пора
подводным кротам.

«По морям,
по морям,
нынче здесь,
завтра там».

Выше, солнце!
Будешь свидетель —

скорей
разглаживай траур у рта.

В ногу
взрослым
вступают дети —

trä-ta-ta-tá-ta
tá-ta-ta-tá.

«Раз,
два,
три!
Пионеры мы.
Мы фашистов не боимся,
пойдем на штыки».

Напрасно
кулак Европы задран.

Кроем их грохотом.

Назад!
Не сметь!

Стала
величайшим
коммунистом-организатором
даже
сама
Ильичева смерть.

Уже
над трубами
чудовищной рощи,

руки
миллионов
сложив в древко,
красным знаменем
Красная площадь

вверх
вздымаются
страшным рывком.

С этого знамени,
с каждой складки

снова
живой
взывает Ленин:
— Пролетарии,
стройтесь
к последней схватке!

Рабы,
разгибайте
спины и колени!

Армия пролетариев,
встань стройна!
Да здравствует революция,
радостная и скорая!
Это —
единственная
великая война
из всех,
какие знала история.

1924

Х О Р О Ш О!
ОКТЯБРЬСКАЯ ПОЭМА

1

Время —
весь
необычайно длинная.—
были времена —
прошли былинные.
Ни былин,
ни эпосов,
Телеграммой ни эпопеей.
лети,
строфа!
Воспаленной губой
припади
из реки и попей
по имени — «Факт».
Это время гудит
это телографной струной,
сердце
с правдой вдвоем.
Это было
с бойцами,
или или страной,
или
в сердце
было
в моем.
Я хочу,
чтобы, с этою
книгой побыв,

из квартирного
мирка
шел опять
на плечах
как штыком,
пулеметной пальбы,
строкой
просверкал.

Чтоб из книги,
через радость глаз,
от свидетеля
счастливого,—
в мускулы
усталые
лилась
стоящая
и бунтующая сила.

Этот день
воспевать
никого не найдем.
Мы

распишем
карандаш на листе,
чтобы шелест страниц,
как шелест знамен,
надо лбами
годов
шелестел.

2

«Кончайте войну!

Довольно!

Будет!

В этом

голодном году —

невмоготу.

Врали:

«народа —

свобода,

вперед,

эпоха,

заря...» —

и зря.

Где
земля,
и где
закон,
чтобы землю
выдать
к лету? —

Нету!
Что же
дают
за февраль,
за работу,
за то,
что с фронтов
не бежишь? —

Шип.
На шее
кучей
Гучковы,
чертти,
министры,
Родзянки...

Мать их за ноги!
Власть
к богатым
рыло
воротит —
чего
подчиняться
ей?!

Бей!!»
То громом,
то шепотом
этот ропот
сползал
из Керенской
тюрьмы-решета.

В деревни
шел
по травам и тропам,
в заводах
сталью зубов скрежетал.

Чужие
партии
бросали швырком.
— На что им
собор
болтунов
дался?! —
И отдавали
большевикам
гроши,
и силы,
и голоса.
До самой
мужичьей
земляной башки
докатывалась слава,—
лилась
и слышала,
что есть
за мужиков
какие-то
«большаки»
— у-у-у!
Сила! —

3

Царям
дворец
построил Растрелли.
Цари рождались,
жили,
старели.
Дворец
не думал
о вертлявом постреле,
не гадал,
что в кровати,
царицам вверенной,
раскинется
какой-то
присяжный поверенный.

От орлов,
от власти,
одеял
и кружевца
голова
присяжного поверенного
кружится.

Забывши
и классы
и партии,
идет
на дежурную речь.

Глаза
у него
бонапартии
и цвета
защитного
френч.

Слова и слова.
Огнесловая лава.

Болтает
сорокой радостной.
Он сам
опьянен
свою славой
пьяней,
чем сорокаградусной.

Слушайте,
пока не устанете,
как щебечет
иной адъютантик:
«Такие случаи были —
он едет
в автомобиле.

Узнавши,
кто
и который,—
толпа
распрягла моторы!
Взамен
лошадиной силы
сама
на руках носила!»

В аплодисментном
плеске
премьер
проплывает
над Невским,
и дамы,
и дети-пузанчики
кидают
цветы и розанчики.
Если же
с безработы
загрустится,
сам
себя
уверенно и быстро
 назначает —
то военным,
то юстиции,
то каким-нибудь
еще
министром.
И вновь
возвращается,
сказав,
ворочать дела
и вертеть казну.
Подмахивает подписи
достойно
и старательно.
«Аграрные?
Беспорядки?
Ряд?
Пошлите,
этот,
как его,—
карательный
отряд!
Ленин?
Большевики?
Арестуйте и выловите!
Что?
Не дают?
Не слышу без очков.

Кстати...
об его превосходительстве...
Корнилове...

Нельзя ли
сговориться
сюда
казачков?!

Их величество?
Знаю.
Ну да!..

И руку жал.
Какая ерунда!

Императора?
На воду?
И черную корку?

При чем тут Совет?
Приказываю,
туда,
в Лондон,

к королю Георгу».

Пришит к истории,
пронумерован
и скреплен,
и его
рисуют —
и Бродский и Репин.

4

Петербургские окна.
Синё и темно.

Город
соном
и покоем скован.

НО
не спит
мадам Кускова.

Любовь
и страсть вернулись к старушке.
Кровать
и мечты
розоватит восток.

Ее
воло́с
пожелтые стружки
причудливо
склеил
слезливый восторг.
С чего это
девушка
сохнет и вянет?
Молчит...
но чувство,
видать, великоб.
Ее
утешает
усастая няня,
видавшая виды,—
Пе эН Милюков.
«Не спится, няня...
Здесь так душно...
Открой окно
да сядь ко мне».
— Кускова,
что с тобой? —
«Мне скучно...
Поговорим о старине».
— О чем, Кускова?
Я,
бывало,
хранила
в памяти
немало
старинных былей,
небылиц —
и про царей
и про цариц.
И я б,
с моим умишкой хилым,—
короновала б
Михаила.
Чем брать
династию
чужую...
Да ты
не слушаешь меня?! —

«Ах, няня, няня,
я тоскую.

Мне тошно, милая моя.

Я плакать,
я рыдать готова...»

— Господь помилуй
и спаси...

Чего ты хочешь?

Попроси.

Чтобы тебе
на нас

не дуться,

дадим свобод
и конституций...

Дай
окроплю
речей водою
горящий бунт... —
«Я не больна.

Я...
знаешь, няня...
влюблена...»

— Дитя мое,
господь с тобою! —
И Милюков

ее
с мольбой
крестил
профессорской рукой.
— Оставь, Кускова,

в наши лета
любить
задаром

смысла нету. —
«Я влюблена», —
шептала

в ушко снова
профессору
она.

— Сердечный друг,
ты нездорова. —
«Оставь меня,
я влюблена».

— Кускова,
нервы,—
полечись ты... —

«Ах, няня,
он
такой речистый...»

Ах, няня-няня!
няня!
Ах!

Его же ж
носят на руках.

А как поет он
про свободу...

Я с ним хочу,—
не с ним,
так в воду».

Старушка
тычется в подушку,

и только слышно:

«Саша! —
Душка!»

Смахнувши
слезы
рукавом,
взревел уастый нянь:
— В кого?

Да говори ты нараспашку! —
«В Керенского...»
— В какого?
В Сашку? —

И от признания
такого
лицо
расплылось

Милюкова.

От счаствия
профессор бжил:

— Ну, это что ж —
одно и то же!

При Николае
и при Саше
мы

сохраним доходы наши.—

Быть может,
на берегах Невы
подобных
дам
видали вы?

5

Звякая
шпорами
довоенной выковки,
аксельбантами
увещанные до пупов,
говорили —
адъютант
(в «Селекте» на Лиговке)
и штабс-капитан
Попов.
«Господин адъютант,
не возражайте,
не дам,—

скажите,
чего еще
поджидаем мы?

Россию
жиды
продают жидам,
и кадровое
офицерство
уже под жидами!

Вы, конечно,
профессор,
либерал,
но казачество,
пожалуйста,
оставьте в покое.

Например,
мое положенье беря,
это...
черт его знает, что это такое!

Сегодня с денщиком:
ору ему
— эй,
наваксь
щиблетину,
чтоб видеть рыло в ней! —
И конечно —
к матушке,
а он меня
к моей,
к матушке,
к свет
к Елизавете Кирилловне!»
«Нет,
я не за монархию
с коронами,
НО
с орлами,
для социализма
нужен базис.
Сначала демократия,
потом
парламент.
Культура нужна.
А мы —
Азия-с!
Я даже —
социалист.
Но не граблю,
не жгу.
Разве можно сразу?
Конечно, нет!
Постепенно,
понемногу,
по вершочку,
по шажку,
сегодня,
завтра,
через двадцать лет.
А эти?
От Вильгельма кресты да ленты.
В Берлине
выходили
с билетом перронным.

Деньги
штаба —
шипионы и агенты.

В Кресты бы
тех,
кто ездит в пломбированном!»
«С этим согласен,
это конечно,
этой сволочи
мало повешено».
«Ленина,
который
смуту сеет,
председателем,
что ли,
совета министров?

Что ты?!
Рехнулась, старушка Расея?
Касторки прими!
Поправься!
Выздоровь!

Офицерам —
Суворова,
Голенищева-Кутузова
благодаря
политикам ловким
быть
под началом
Бронштейна бескардзого,
какого-то
беспитанного
Лёвки?!

Дудки!
С казачеством
шутки плохі —
повыпускаем
им
потроха...»
И все адъютант
— ха да хи,—
Попов
— хи да ха.—

«Будьте дважды прокляты
и трижды поколейте!

Господин адъютант,
позвольте ухо:

их

...ревосходительство

...ерал

Каледин,

с Дону,

с плеточкой,

извольте понюхать!

Его превосходительство...

Да разве он один?!

Казачество кубанское,

Днепр,

Дон...»

И всё стаканами —

дон и динь,

и шпорами —

динь и дон.

Капитан

упился, как сова.

Челядь

чайники

бесшумно подавала.

А в конце у Лиговки

другие слова

подымались

из подвалов.

«Я,

товарищи,—

из военной бюрь.

Кончили заседание —

тёка-тёка.

Вот тебе,

к маузеру,

двести бери,

а это —

сто патронов

к винтовкам.

Пока

соглашатели

замазывали рты,

подходит
казатчина
и самокатчина.

Приказано
питерцам
идти на фронты,
а сюда
направляют
с Гатчины.

Вам,
которые
с Выборгской стороны,
вам
заходить
с моста Литейного.
В сумерках,
тоныше
дискантовой струны,
не галдеть
и не делать
заведенья питейного.

Я
за Лашевичем
беру телефон,—
не задушим,
так нас задушат.

Или
возьму телефон,
или вон
из тела
пролетарскую душу.

Сам
приехал,
в пальтишке рваном,—
ходит,
никем не опознан.

Сегодня,
говорит,
подыматься рано.
А послезавтра —

поздно.

Завтра, значит.
Ну, несдобровать им!

Быть
Керéнскому
биту и ободрану!
Уж мы
подымем
с царевой кровати
эту
самую
Александру Федоровну».

6

Дул,
как всегда,
октябрь
ветра́ми,
как дуют
при капитализме.
За Троицкий
дули
авто и трамы,
обычные
рельсы
вызмеив.
Под мостом
Нева-река,
по Неве
плывут кронштадтцы...
От винтовок говорка
скоро
Зимнему шататься.
В бешеном автомобиле,
тихий,
вроде
упакованной трубы,
за Гатчину,
забившись,
«В рог,
в баrаний!
Взбунтовавшиеся рабы!..»

Видят
редких звезд глаза,
окружая
Зимний
в кольца,
по Мильонной
из казарм
надвигаются кексгольмцы.

А в Смольном,
в думах
о битве и войске,
Ильич
грифированный
да перед картой
втыкают
в места атак
Лучше

власть
 добром оставь,
 никуда
 тебе
 не деться!
 От всех
 идут
 застав
 к Зимнему
 красногвардейцы.

Отряды рабочих,
матросов,
голи —
дошли,
штыком домерцав,
как будто
руки
сошлись на горле,
холёном
горле
дворца.

Две тени встало.
Огромных и шатких.

Сдвинулись.
Лоб о лоб.

И двор
дворцовый
руками решетки
стиснул
торс
толп.

Качались
две
огромных тени
от ветра
и пуль скоростей,—
да и пулеметы,
будто
хрустенье

ломаемых костей.
Серчают стоящие павловцы.
«В политику...
начали...

Куда
против нас
бочкаревским дурам?!

Приказывали б
на штурм».

Но тень
боролась,
спутав лапы,—
и лап
никто
не разнимал и не рвал.

Не выдержав
молчания,
сдавался слабый —
уходил
от испуга,
от нервá.

Первым,
боязнью одолен,
снялся
бабий батальон.

Ушли с батарей
к одиннадцати
михайловцы или константиновцы...
А Кéренский —
спрятался,
попробуй
вымань его!

Задумывалась
И казачья башка.

редели
защитники Зимнего,
как зубья
у гребешка.

И долго
длилось
это молчанье,
молчанье надежд
и молчанье отчаянья.

А в Зимнем,
в мягких мебелях
с бронзовыми вы́крутами,
сидят
министры
в меди блях,
и пахнет
гладко выбритыми.

На них не глядят
и их не слушают —
они
у штыков в лесу.

Они
упадут
переспевшей грушею,
как только
их
потрясут.

Голос — редок.
Шепотом,
знаниями.
— Кéренский где-то? —

— Он?

За казаками.—

И снова молча.

И только

под вечер:

— Где Прокопович? —

— Нет Прокоповича.—

А из-за Николаевского
чугунного моста,
как смерть,

глядит

неласковая

Аврорых

башен

сталь.

И вот высоко

над воротником

поднялось

лицо Коновалова.

Шум,

который

тек родником,

теперь

прибоем наваливал.

Кто длинный такой?..

Дотянуться смог!

По каждому

из стекол

удары палки.

Это —

из трехдюймовок

шарахнули

форты Петропавловки.

А поверху

город

как будто взорван:

бабахнула

шестидюймовка Авророва.

И вот

еще

не успела она
рассыпаться,

гулка и грозна,—

над Петропавловской
взвился
фонарь,
восстанья
условный знак.
— Долой!
На приступ!
Вперед!
Ворвались.
На ковры!
На приступ! —
Под раззолоченный кров!
Каждой лестницы
каждый выступ
брали,
перешагивая
через юнкеров.
Как будто
водою
текли, комнаты польня,
сливались
над каждой потерей
и схватки
вспыхивали
жарче полдня
за каждым диваном,
у каждой портьеры.
По этой
анфиладе,
приветствиями бранной
монархам,
несущим
короны-клады,—
бархатными залами,
раскатистыми коридорами
громели,
бились
сапоги и приклады.
Какой-то
смущенный
сукин сын,
а над ним
путиловец —
нежней папаши!

«Ты,
парнишка,
выкладай
ворованные часы —
часы
теперича
наши!»

Топот рос
и тех
сгреб,
забил,
зашиб,
тринадцать
затыркал.

Забились
под галстук —
за что им приняться? —

Как будто
топор
навис над затылком.

За двести шагов...
за тридцать...

Вбегает
юнкер:
«Драться глупо!»

Тринадцать визгов:
— Сдаваться!
Сдаваться! —

А в двери —
бушлаты,
шинели,

И в эту
тишину
раскатившийся всласть
бас,
окрепший
над реями рея:
«Которые тут временные?
Славь!

Кончилось ваше время».
И один
из ворвавшихся,
пенсишки тронув.

объявил,
как об чем-то простом
и несложном:

«Я,
председатель реввоенкомитета
Антонов,
Временное
правительство
объявляю низложенным».

А в Смольном
толпа,
покрывала растопырив груди,
песней
фейерверк сведений.

Впервые
вместо:
— и это будет...—
пели:
— и это есть
наш последний...—

До рассвета
осталось
руки не больше аршина,—
лучай с востока взмоблены.

Товарищ Подвойский
сел в машину,
сказал устало:
«Кончено...
в Смольный».

Умолк пулумет.
Угодил толкоб.

Умолкнул
пуль
звенящий улей.

Горели,
как звезды,
грани штыков,
бледнели
звезды небес
в карауле.

Дул,
как всегда,
октябрь
ветрами.

Рельсы
по мосту вызмеив,
гонку
свою
продолжали трамы
уже —
при социализме.

7

В такие ночи,
в такие дни,
в часы
такой поры
на улицах
разве что
одни
поэты
и воры.

Сумрак
на мир
оcean катнúл.

Синь.
Над кострами —
бур.

Подводной
лодкой
пошел ко дну
взорванный
Петербург.

И лишь
когда
от горящих вихров
шатался
сумрак бурый,
опять вспоминалось:
с боков
и с верхов
непрерывная буря.

На воду
сумрак
похож и так —
бездонна
синяя прорва.
А тут
еще
и виденьем кита
туша
Авророва.
Огонь
пулеметный
площадь остриг.
Набережные —
пусты.
И лишь
хорохорятся
костры
в сумерках
густых.
И здесь,
где земля
с испугу от жары вязка,
или со льда,
ладони
держа
греется у огня в языках,
солдат.
Солдату
упал
огонь на глаза,
на клок
волос
лег.
Я узнал,
удивился,
сказал:
«Здравствуйте,
Александр Блок.
Лафа футуристам,
фрак старья
разлазится
каждым швом».

Блок посмотрел —
костры горят —
«Очень хорошо».
Кругом
тонула
Россия Блока...
Незнакомки,
дымки севера
шли
на дно,
как идут
обломки
и жестянки
консервов.
И сразу
лицо
скучее менял,
мрачнее,
чем смерть на свадьбе:
«Пишут...
из деревни...
сожгли...
у меня...
библиотеку в усадьбе».
Уставился Блок —
и Блокова тень
глазеет,
на стенке привстав...
Как будто
оба
ждут по воде
шагающего Христа.
Но Блоку
Христос
являться не стал.
У Блока
тоска у глаз.
Живые,
с песней
вместо Христа,
люди
из-за угла.

Вставайте!

Вставайте!

Вставайте!

Работники

и батраки.

Зажмите,

косарь и кователь,

винтовку

в железо руки!

Вверх —

флаг!

Рвань —

встань!

Враг —

ляг!

День —

дрянь.

За хлебом!

За миром!

За волей!

Бери

у буржуев

завод!

Бери

у помещика поле!

Братайся,

дерущийся взвод!

Сгинь —

стар.

В пух,

в прах.

Бей —

бар!

Трах!

такс!

Довольно,

довольно,

довольно

покорность

нести

на горбах.

Дрожи,

капиталова дворня!

Тряситесь,
короны,
на лбах!

Жир
ёжь
страх
плах!
Трах!
так!
Tax!
tax!

Эта песня,
перепетая по-своему,
доходила
до глухих крестьян —
и вставали села,
содрогая воем,
по дороге
топоры крестя.

Но-
жи-
чком
на
месте чик
лю-
то-
го
по-
мешника.

Гос-
по-
дин
по-
мешичек,
со-
би-
райте
вещи-ка!

До-
шло
до поры,

вы-
х о -
ди,
босы,
вос-
три
топоры,
подымай косы.
Чем
хуже
моя Нина?!
Ба-
рыни сами.
Ташь
в хату
пианино,
граммомфон с часами!
Под-
х о -
ди-
те, орлы!
Будя —
пограбили.
Встречай в колы,
проводай
в грабли!
Дело
Стеньки
с Пугачевым,
разгорайся жарчи-ка!
Все
поместья
богачевы
разметем пожарчиком.
Под-
пусть
петуха!
Подымай вилы!
Эх,
не
потухай,—
пет-
тух милый!

Черт
ему
теперь
родня!

Головы —
кочаном.

Пулеметов трескотня
сияется с тачанок.

«Эх, яблочко,
цвета ясного.

Бей
справа
белаво,
слева краснова».

Этот вихрь,
от мысли до курка,
и постройку,
и пожара дым
прибирала
партия
к рукам,
направляла,
строила в ряды.

8

Холод большой.
Зима здоровá.
Но блузы
прилипли к потненьким.
Под блузой коммунисты.
Грузят дрова.
На трудовом субботнике.
Мы не уйдем,
хотя
уйти
имеем
все права.
В наши вагоны,
на нашем пути,

наши
грузим
дрова.
Можно
уйти
часа в два,—
но мы —
уйдем поздно.
Нашим товарищам
наши дрова
нужны:
товарищи мерзнут.
Работа трудна,
работа
томит.
За нее
никаких копеек.
Но мы
работаем,
будто мы
делаем
величайшую эпопею.
Мы будем работать,
все стерпя,
чтоб жизнь,
колеса дней торопя,
бежала
в железном марше
в *наших* вагонах,
по *нашим* стеням,
в города
промерзшие
наши.

«Дяденька,
что вы делаете тут,
столько
больших дядей?»
— Что?
Социализм:
свободный труд
свободно
собравшихся людей.

Перед нашею
республикой
стоят богатые.
Но как постичь ее?

И вопросам
разнедоуменным
нёт числа:

что это
за нация такая
«социалистичья»

и что это за
«соци-
алистическое отечество»?

«Мы
восторги ваши
понять бессильны.

Чем восторгаются?
Про что поют?

Какие такие
фрукты-апельсины
растут
в большевицком вашем
раю?

Что вы знали,
кроме хлеба и воды,—

с трудом
перебиваясь
со дня на день?

Такого отечества
такой дым

разве уж
настолько приятен?

За что вы
идете,
если велят —
«воюй»?

Можно
быть
разорванным бомбищей,
можно

умереть
за землю за свою,

но как
умирать
за общую?

Приятно
русскому
с русским обняться,—
но у вас
и имя
«Россия»
утеряно.

Что это за
отечество
у забывших об нации?
Какая нация у вас?
Коминтерна?

Жена,
да квартира,
да счет текущий —
вот это —
отечество,
райские кущи.

Ради бы
вот
такого отечества
мы понимали б
и смерть
и молодечество».

Слушайте,
национальный трутень,—
день наш
тем и хорош, что труден.

Эта песня
песней будет
наших бед,
побед,
буден.

Политика —
 проста.
 Как воды глоток.
 Понимают
 ощерившие
 сытую пасть,
 что если
 в Россиях
 увязнет коготок,
 всей
 буржуазной птичке —
 пропасть.
 Из «сюортó женераль»,
 из «интéллидженс сéрвис»,
 «дефензивы»
 и «сигуранцы»
 выходит
 разная
 шьет сволочь и стерва,
 шинели
 цвета серого,
 бомбы
 кладет
 в ранцы.
 Набились в трюмы,
 палубы обсели
 на деньги
 вербовочного агентства.
 В Новороссийск
 плывут из Марселя,
 из Дувра
 плывут к Архангельску.
 С песней,
 с виски,
 сыты по-свински.
 Килиями
 вскопаны
 воды холодные.
 Смотрят
 перископами
 лодки подводные.

Плынут крейсера,
снаряды соря.
И
миноносцы
с минами носятся
А
поверх
всех
с пушками
чудовищной длины
сверх-
дредноуты.
Разными
газами
воняя гадко,
тучи
пропеллерами выдрав,
с авиаматки
на авиаматку
пе-
ре-
пархивают «гидро».
Послал
капитал
капитанов ученых.
Горло
нащупали
и стискивают.
Ткнешься
в Белое,
ткнешься
в Черное,
в Каспийское,
в Балтийское,—
куда
корабль
ни тычется,
конец
катаниям.
Стоит
морей владычица,
бульдожья
Британия.

Со всех концов
блокады кольцо
и пушки

смотрят в лицо.

— Красным не правится?!

Им

Рыбкой

голоднó?!

наедитесь,

пойдя

на дно.—

А кому

на суше

грабить охота,

те

с кораблей

сходили пехотой.

— На море потопим,

на суше

потопаем.—

Чужими

руками

жар гребя,

дым

отечества

пускают

пострелины —

выставляют

впереди

одураченных ребят,

баронов

и князей недорасстрелянных.

Могилы копайте,

гроба копите —

Юденича

рати

прут

на Питер.

В обозах

ёды вкúсятся,

консервы —

пуд.

Танков
гусеницы
на Питер
прут.
От севера
идет
адмирал Колчак,
сибирский
хлеб
сапогом толча.
Рабочим на расстрел,
поповнам на утехи,
с ним
идут
голубые чехи.
Траншеи,
машинами выбранные,
саперами
Крым
перекопан,—
Врангель
крупнокалиберными
орудует
с Перекопа.
Любят
полковников
 сентиментальные леди.
Полковники
любят
поговорить на обеде.
— Я
иду, мол
(прихлебывает виски),
а на меня
десяток
чудовищ
большевицких.
Раз — одного,
другого —
кстати,
как денди,
и девушку спас.—

Леди,
спросите
у мерина сивого —

он
как Мурманск
разизнасиловал.

Спросите,
как —
Двина-река,
кровью
крашенная,
труны
вытая,
с кладью
страшною
шла
в Ледовитый.

Как храбрецы
расстреливали кучей
коммуниста
одного,
да и тот скручен.

Как офицерá
его
величества

бежали
от выстрелов,
берег вычистя.

Как над серыми
хатами
огненные перья
и руки
холёные
туго
у горл.

Но...
«итс э лонг уэй
ту Типерери,
итс э лонг уэй
ту го!»

На первую
республику
рабочих и крестьян,
сверкая
выстрелами,
штыками блестя,
гнали
армии,
флоты катили
богатые миры,
и эти
и те...
Будьте вы прокляты,
прогнившие
королевства и демократии,
со своими
подмоченными
«фратэрнитé» и «эгалитé»! ¹

Свинцовый
льется
на нас
кипяток.

Одни мы —
и спрятаться негде.
«Янки
дудль
кип ит об,
Янки дудль денди».

Посреди
винтовок
и орудий голосища

Москва —
островком,
и мы на островке.

Мы —
голодные,
мы —
нищие,
с Лениным в башке
и с наганом в руке.

¹ Братство и равенство (фрanc. fraternité, égalité). — Ред.

Несется
жизнь,
овеевая,
проста,
суха.
Живу
в домах Стакеева я,
теперь
Вэсэнха.
Свезли,
винтовкой звякая,
богатых
и кассы.
Теперь здесь
всякие
и люди
и классы.
Зимой
в печурку-пчелку
суют
тома Шекспирьи.
Зубами
щелкают,—
картошка —
пир им.
А летом
слушают асфальт
с копейками
в окне:
— Трансваль,
Трансваль,
ты вся
горишь
Я в этом в огне! —
каменном
котле
варюсь,
и эта жизнь —
и бег, и бой,
и сон,
и тлен —

в домовья
этажи
отражена
от пят
до лба,
грозою
омываемая,
как отражается
толпа
идущими
трамваями.
В пальбу
присев
на корточки,
в покой
глазами к форточке,
чтоб было
видней,
я
в комнатенке-лодочке
проплыл
три тыщи дней.

12

Ходят
спекулянты
вокруг Главтопа.
Обнимут,
зацелуют,
убьют за руп.
Секретарши
ответственные
валенками топают.
За хлебными
карточками
Много дела,
мало
горя им,
фунт
— целый! —
первой категории.

стоят лесорубы.

Рубят,
липовый
чай
выкушав.
— Мы
не Филипповы,
мы —
привыкши.
Будет
обед,
будет
белых бы ужин,—
вон
отбить от ворот.
Есть захотелось,
пояс —
потуже,
в руки винтовку
и
на фронт.—

А
мимо —
незаменимый.
Стуча
сапогом,
идет за пайком —
правление
выдало
урюк
и повидло.
Богатые —
ловче,
едят
у Зунделовича.
Ни щей,
ни каш —
бифштекс
с бульоном,
хлеб
ваш,
полтора миллиона.

Ученому
хуже:
фосфор
нужен,
масло
на блюдце.

Но,
как на зло,
есть революция,
а нету
масла.

Они
научные.
Напишут,
вылечат.

Мандат, собственноручный,
Анатоль Васильича.

Где
хлеб
да мясá,
придут
на час к вам.

Читает
комиссар
мандат Луначарского:
«Так...
сахар...
так...
жирок вам.

Дров...
березовых...
посуше поленья...

и шубу
широкого
потребления.
Я вас,
товарищ,
спрашиваю в упор.

Хотите —
берите
головной убор.

Приходит
каждый
с разной блажью.
Берите
пока что
ногу
лошажью!»

Мех
на глаза,
как баба-яга,
идут
назад
на трех ногах.

13

Двенадцать
квадратных аршин жилья.
Четверо
в помещении —
Лиля,
Ося,
я
и собака
Щеник.
Шапчонку
взял
оборванную
и вытащил салазки.
— Куда идешь? —
Б уборную
иду.
На Ярославский.
Как парус,
шуба
на весу,
воняет
козлом она.
В санях
полено везу,
забрал
забор разломанный.

Полено —
тушею,
тверже камня.
Как будто
вспухшее

колено
великанье.

Вхожу
с бревном в обнимку.
Запотел,
вымок.

Важно
и чинно
строгаю перочинным.

Нож —
ржак.

Режу.
Радуюсь.

В голове
жар
подымает градус.
Зацветают луга,
май
поет
в уши —

это
тянется угар
из-под черных выюшек.
Четверо сосулек
свернулись,
уснули.

Приходят
люди,
ходят,
будят.

Добудились еле —
с углей
угорели.

В окно —
сугроб.
Глядит горбат.
Не вымерзли покамест?

Морозы

в ночь

идут, скрипят
снегами-сапогами.

Небосвод,

наклонившийся

на комнату мою,
морем

заката

облит.

По розовой

глади

мёря,

на юг —

тучи-корабли.

За гладь,

за розовую,

бросать якоря,

туда,

где березовые

дрова

горят.

Я

много

в теплых странах плутал.

Но только

в этой зиме

понятной

стала

мне

любовей, теплота

дружб

и семей.

Лишь лежа

в такую вот гололедь,

зубами

вместе

проляскав —

поймешь:

нельзя

на людей жалеть

ни одеяло,

ни ласку.

Землю,
где воздух
как сладкий морс,
бросишь
и мчишь, колеся,—
но землю
с которой
вместе мерз,
вовек
разлюбить нельзя.

14

Скрыла
та зима,
худа и строга,
всех,
кто навек
ушел ко сну.
Где уж тут словам!
И в этих
строках
боли
волжской
я не коснусь.
Я
дни беру
из ряда дней,
что с тыщей
дней в родне.
Из серой
полосы
деньки,
их гнали
годы—
водники —
не очень
сытенькие,
не очень
голодненькие.
Если
я
чего написал,

если
чего
сказал —
тому виной
любимой
моей
глаза.
Круглые
да карие,
горячие
до гари.
Телефон
взбесился шалый,
в ухо
гронул обухом:
карие
глазища
сжала
голода
опухоль.
Врач наболтал —
чтоб глаза
глазели,
нужна
теплота,
нужна
зелень.
Не домой,
не на суп,
а к любимой
в гости,
две морковинки
несу
за зеленый хвостик.
Я
много дарил
конфект да букетов,
но больше
всех
дорогих даров
я помню
морковь драгоценную эту

и пол-
полена
березовых дров.

Мокрые,
тощие
под мышкой
дровинки,

чуть
потолще
средней бровинки.

Вспухли щеки.

Глазки —
щелки.

Зелень
и ласки
выходили глазки.

Больше
блюдца,
смотрят
революцию.

Мне
легче, чем всем, —

я
Маяковский.

Сижу
и ем
кусок
конский.

Скрип —
дверь,
плача.

Сестра
младшая.
— Здравствуй, Володя!
— Здравствуй, Оля!
— Завтра новогодие —
нет ли
соли? —

Делю,
в ладонях вешаю
щепотку
отсыревшую.

Одолевая
снег
и страх,
скользит сестра,
идет сестра,
бредет
трехверстной Преснею
солить
картошку пресную.
Рядом
мороз
шел
и рос.
Затевал
щекотку —
отдай
щепотку.
Пришла,
а соль
не вáлится —
примерзла
к пальцам.
За стенкой
шарк:
«Иди,
жена,
продай
пиджак,
купи
пшена».
Окно,—
с него
идут
снега,
мягка
снегов,
тиха
нога.
Бела,
гола
столиц
скала.

Прилип
к скале
лесов
скелет.

И вот
из-за леса
небу в шаль
вползает
солнца
вша.

Декабрьский
рассвет,
изможденный
и поздний,

встает
над Москвой
горячкой тифозной.

Ушли
тучи
к странам
тучным.

За тучей
берегом
лежит
Америка.
Лежала,
лакала
кофе,
какао.
В лицо вам,
толще
свиных причуд,
круглей
ресторанных блюд,
из нищей
нашей
земли
кричу:

Я
землю
эту
люблю.

Можно
забыть,
где и когда
пузы растил
и зобы,
но землю,
с которой
вдвоем голодал,—
нельзя
никогда
забыть!

15

Под ухом
самым
лестница
ступенек на двести,—
несут
минуты-вестницы
по лестнице
вести.
Дни пришли
и топали:
— Дёжили,
вот вам,—
нету
топлив
брюхам
 заводовым.
Дымом
небесный
лак помутив,
до самой трубы,
до носа
локомотив
стоит
в заносах.
Положив
на валенки
цветные заплаты,

из ворот,
из железного зёва,
снова
шли,
ухватясь за лопаты,
все,
кто мобилизован.

Вышли
за лес,
вместе
взялись.

Я ли,
вы ли,
откопали,
вырыли.

И снова
поезд
катит
за снежную
скатерть.

Слабеет
тело
без ед
и питья,
носилки сделали,
руки сплетя.

Теперь
запевай,
и домой можно —
да на руки
положено
пять обмороженных.

Сегодня
на лестнице,
грязной и тусклой,
копались
обывательские
слухи-свиньи.

Деникин
подходит
к самой,
к тульской,

к пороховой
сердцевине.
Обулись обыватели,
по пыли печатают
шепотоголосые
кухарочьи хоры.
— Будет...
крупичатая!..
руды непочатые...
ручьи — чай,
сухари,
сахары.
Бли-и-и-зко беленькие,
береги кёренки! —
Но город
проснулся,
в плакаты кадрованный, —
это
партия звала:
«Пролетарий, на коня!»
И красные
скачут
на юг
эскадроны —
Мамонтова
нагонять.
Сегодня
день
вбежал второпях,
криком
тиши
порвав,
простреленным
легким
упал
часто хрипя,
и кончался,
кровав.
Кровь
по ступенькам
стекала на пол,
стыла
с пылью пополам

и снова

на пол

каплями

капала

из-под пули

Каплан.

Четверолапые

зашагали,

визг

шел

шакалий.

Салоп

говорит

чуйке,

чуйка

салопу:

— Заёрзали,

длинноносые щуки!

Скоро

всех

слопают! —

А потом

топырили

глаза-тарёлины

в длинную

фамилий

Ветер

и званий тропу.

сдирает

списки расстрелянных,

рвет,

закручивает

и пускает в трубу.

Лапа

класса

лежит на хищнике —

Лубянская

лапа

Чека.

— Замрите, враги!

Отойдите, лишненькие!

Обыватели!

Смирно!

У очага! —

Миллионный
класс
вставал за Ильича
против
белого
чудовища клыкастого,
и вливалось
в Ленина,
леча,
этой воли
лучшее лекарство.
Хоронились
обыватели
за кухни,
за пеленки.
— Нас не трогайте —
мы
цыпленки.
Мы только мошки,
мы ждем кормежки.
Закройте,
время,
вашу пасть!
Мы обыватели —
нас обувайте вы,
и мы
уже
за вашу власть.—
А утром
небо —
вече звонница!
Вчерашний
день
виня во лжи,
расколоколивали
птицы и солнце:
жив,
жив,
жив,
жив!
И снова
дни
чередой заводной

сбегались
и просили.

— Идем
за нами —
«еще
одно
усилье».

От боя к труду —
от труда
в голоде,

в холоде
и наготе
держали

взятое,
да так,
что кровь
выступала из-под ногтей.

Я видел
места,
где инжир с айвой

росли
без труда
у рта моего,—
к таким

относишься
иначе.

Но землю,
которую
завоевал

и полуживую
вынянчил,
где с пулей встань,

с винтовкой ложись,
где каплей
льешься с массами,—

с такою
землею
пойдешь
на жизнь,

на труд,
на праздник
и на смерть!

Мне

рассказывал

тихий еврей,

Павел Ильич Лавут:

«Только что

вышел я

из дверей,

вижу —

они плывут...»

Бегут

по Севастополю

к дымящим пароходам.

За дénь

подметок стопали,

как зá год похода.

На рейде

транспорты

и транспорточки,

драки,

крики,

ругня,

мотня,—

бегут

добровольцы,

задрав порточки, —

чистая публика

и солдатня.

У кого —

канарейка,

у кого —

роялина,

кто со шкафом,

кто

с утюгом.

Кадеты —

на что уж

люди лояльные —

толкались локтями,

крыли матюгом.

Забыли приличия,

бросили моду,

КТО —

без юбки,

а КТО —

без носков.

Бьет

мужчина

даму

солдат в морду,

полковника

сбивает с мостков.

Наши наседали,

крыли по трапам,

кашей

грузился

последний эшелон.

Хлопнув

дверью,

сухой, как рапорт,

из штаба

опустевшего

вышел он.

Глядя

на ноги,

шагом

резким

шел

Врангель

в черной черкеске.

Город бросили.

На молу —

гбло.

Лодка

шестивесельная

стоит

у мола.

И над белым тленом,

как от пули падающий,

на оба

колена

упал главнокомандующий.

Трижды

землю

поцеловавши,

трижды
город
перекрестил.

Под пули
в лодку прыгнул... — Ваше

превосходительство,
грести? — — Грести! —

Убрали весло.
Мотор
заторкал.

Пошла
веселоб
к «Алмазу»
моторка.

Пулей
пролетела
штандартная яхта.

А в транспортах-галошинах
далеко,
сзади,
тащились
оторванные
узлов
полтораста
накручивая зá день.

От родины
в лапы турецкой полиции,
к туркам в дыру,
в Дарданеллы узкие,

плыли
завтрашние галлиполийцы,
плыли
вчерашие русские.

Вне-
реди
година на године.

Каждого
трясись,
который в каске.

Будешь
доить
коров в Аргентине,
будешь
мереть
по ямам африканским.
Чужие
волны
качали транспорты,
флаги
с полумесяцем
бросались в очи,
и с транспортов
за яхтой
гналось —
«Аспиды,
сперли казну
и удрали, сволочи».
Уже
экипажам
оберегаться
пули
шальной
надо.
Два
миноносца-американца
стояли
на рейде
рядом.
Адмирал
трубой обвел
стреляющих
гор
край:
— Ол
райт.—
И ушли
в хвосте отступающих свор,—
орудия на город,
курс на Босфор.
В духовках солнца
горы
жаркое.

Воздух
цветы рассиропили.
Наши
с песней
идут от Джанкоя,
сыпятся
с Симферополя.
Перебивая
пуль разговор,
знаменами
бой
овевая,
с красными
вместе
спускается с гор
песня
боевая.
Не гнулась,
когда
пулеметом крошило,
вставала,
бесстрашная,
в дожде-свинце:
«И с нами
Ворошилов,
первый красный офицер».
Слушают
пушки,
морские ведьмы,
у-
ле-
петывая
во винты во все,
как сыпется
с гор
— «готовы умереть мы
за Эс Эс Эс Эр!». —
Начштаба
морщит лоб.
Пальцы
корявой руки
буквы
непослушные гнут:

«Врангель

оп-
раки-
нут

в море.

Пленных нет».

Покамест —

точка

и телеграмме

Вспомнили —

и войне.

недопахано,

недожато у кого,

у кого

доменные

топки да зёри.

И пошли,

отирая пот рукавом,

расставив

на вышках

дозоры.

17

Хвалить

не заставят

ни долг,

ни стих

всего,

что делаем мы.

Я

пол-отечества мог бы

снести,

а пол —

отстроить, умыв.

Я с теми,

кто вышел

строить

и месть

в сплошной

лихорадке

буден.

Отечество

славлю,

которое есть,

но трижды —

которое будет.

Я

планов наших

люблю громадьё,

размаха

шаги саженьи.

Я радуюсь

маршу,

которым идем

в работу

и в сраженья.

Я вижу —

где сор сегодня гниет,

где только земля простая —

на сажень вижу,

из-под нее

коммуны

дома

прорастают.

И меркнет

доверье

к природным дарам

с унылым

пудом сенцá,

и поворачиваются

к тракторам

крестьян

заскорузлые сердца.

И планы,

что раньше

на станциях лбов

задерживал

нищенства тормоз,

сегодня

встают

из дня голубого,

железом

и камнем формясь.

И я,
как весну человечества,
рожденную
в трудах и в бою,
пою
мое отчество,
республику мою!

18

На девять
сюда
октябрей и маёв,
под красными
флагами
праздничных шествий,
носил
с миллионами
сердце мое,
уверен
и весел,
горд
и торжествен.

Сюда,
под траур
и плеск чернофлажий,
ложка
убитого
кровь горяча,
бежал,
от тревоги,
на выстрелы вражьи,
молчать
и мрачнеть,
кричать

Я
здесь
бывал
в барабанах стучящих
и в мертвом
холоде
слез и льдин,
а чаще еще —

просто
один.
Солдаты башен
стражей стоят,
подняв
свои
островерхие шлемы,
и, злобу
в башках куполов
тая,
притворствуют
церкви,
монашьи шельмы.
Ночь —
и на головы нам
луна.
Она
идет
оттуда откуда-то...
оттуда,
где
Совнарком и ЦИК,
Кремля
кусок
от ночи откутав,
переползает
через зубцы.
Вползает
на гладкий
валун,
на секунду
склоняет
и вновь
голову,
голова-лунь
уносится
с камня
голого.
Место лобное —
для голов
ужасно неудобное.
И лунным
пламенем
озарена мне

площадь
в сиянье,
в яви
в денной...

Стена —
и женщина со знаменем
склонилась
над теми,
кто лег под стеной.

Облил
булыжники
штыки

от луны
и тверже
и, и злей,
как нагроможденные книги,
его

Мавзолей.
Но в эту

дверь
никакая тоска
не втянет
меня,

черна и вязка,—
душй
не смущу
мертвизной,—

он бьется,
как бился
в сердцах
и висках,
живой

человечьей весной.

Но могилы
непускают,—
останавливают имена.
Читаю угрюмо:

«товарищ Красин».
И вижу —
Париж
и из окон Добрио...

И Красин
едет,
сед и прекрасен,
сквозь радость рабочих,
шумящую морево.
Вот с этим
виделся,
чуть не за час.
Смеялся.
Снимался около...
И падает
Войков,
кровью сочась,—
и кровью
газета
намокла.
За ним
предо мной
на мгновенье короткое
такой,
с каким
портретами сжились,—
в шинели измятой,
с острой бородкой,
прошел
человек,
железен и жилист.
Юноше,
обдумывающему
житье,
решающему —
сделать бы жизнь с кого,
скажу
не задумываясь —
«Делай ее
с товарища
Дзержинского».
Кто костьюми,
кто пеплом
улеглись...
стенам под стопу
А то
и пепла нет.

От трудов,
от каторг
и никто
почти —
от долгих лет.
И чудится мне,
что на красном погосте
товарищей
мучит
тревоги отрава.
По пеплам идет,
сочится по кости,
выходит
на свет
по цветам
и по травам.
И травы
с цветами
шуршат в беспокойстве.
— Скажите —
вы здесь?
Скажите —
не сдали?
Идут ли вперед?
Не стоят ли? —
Достроит
коммуну
из света и стали
республики
вашей
сегодня
сегодняшний житель? —
Тише, товарищи, спите...
Ваша
подросток-страна
с каждой
весной
ослепительней,
крепнет,
сильна и стройна.
И снова
шпорах
в пепельной вазе,

лепечут

венки

языками лент:

— А в ихних

черных

Европах и Азиях

боязнь,

дремота и цепи? —

Нет!

В мире

насилья и денег,

тюрем

и петель витья —

ваши

великие тени

ходят,

будя

и ведя.

— А вас

не тянет

всевластная тина?

Чиновность

в мозгах

паутину

не свила?

Скажите —

цела?

Скажите —

едина?

Готова ли

к бою

партийная сила? —

Спите,

товарищи, тише...

Кто

ваш покой отберет?

Встанем,

штыки ощетинивши,

с первым

приказом:

«Вперед!»

Я
 земной шар
 чуть не весь
 обошел,—
 и жизнь
 хороша,
 и жить
 хорошо.
 А в нашей буче,
 боевой, кипучей,—
 и того лучше.
 Вьется
 улица-змея.
 Дома
 вдоль змеи.
 Улица —
 моя.
 Дома —
 мои.
 Окна
 разинув,
 стоят
 магазины.
 В окнах
 продукты:
 вина,
 фрукты.
 От мух
 кисея.
 Сыры
 не засижены.
 Лампы
 сияют.
 «Цены
 снижены».
 Стала
 оперяться
 моя
 кооперация.
 Бьем
 грошом.
 Очень хорошо.

Грудью
у витринных
книжных груд.
Моя
фамилия
в поэтической рубрике.
Радуюсь я —
это
мой труд
вливается
в труд
моей республики.
Пыль
взбили
шиной губатой —
в моем
автомобиле
мои
депутаты.
В красное здание
на заседание.
Сидите,
не совейте
в моем
Моссовете.
Розовые лица.
Револьвер
желт.
Моя
милиция
меня
бережет.
Жезлом
правит,
чтоб вправо
шел.
Пойду
направо.
Очень хорошо.
Надо мною
небо.
Синий
шелк!

Никогда
не было
так
хорошо!
Тучи-
кочки
переплыли летчики.
Это
летчики мои.
Встал,
словно дерево, я.
Всыпят,
как пойдут в бои,
по число
по первое.
В газету
глаза:
молодцы — венцы!
Буржуйм
под зад
наддают
коленцем.
Суд
жгут.
Зер
гут ¹.
Идет
пожар
сквозь бумажный шорох.
Прокуроры
дрожат.
Как хорошо!
Пестрит
передовица
угроз паршой.
Чтоб им подавиться.
Грозят?
Хорошо.
Полки
идут
у меня на виду.

¹ Очень хорошо (нем. Sehr gut). — Ред.

Барабану
в бока
быют
войска.
Нога
крепка,
голова
высока.
Пушки
ввозятся,—
идут
краснозвездцы.
Приспособил
к маршу
такт ноги:
вра-
ги
ва-
ши —
мо-
и
вра-
ги.
Лезут?
Хорошо.
Сотрем
в порошок.
Дымовой
дых
тяг.
Воздухá береги.
Пых-дых,
пых-
тят
мои фабрики.
Пыши,
машина,
шибче-ка,
ловек чтоб
не смолкла,—
побольше
 ситчика

моим
комсомолкам.
Ветер
подул
в соседнем саду.
В ду-
хах
про-
шел.

Как хо-
рошо!
За городом —
поле.

В полях —
деревеньки.
В деревнях —
крестьяне.

Бороды
веники.

Сидят
папаши.

Каждый
хитр.
Землю попашет,
попишет
стихи.

Что ни хутор,
от ранних утр
работа любá.
Сеют,

пекут
мне
хлебá.

Доят,
пашут,
ловят рыбу.
Республика наша
строится,
дыбится.

Другим
странам
по сто.

История —
пастью гроба.
А моя
страна —
подросток,—
твори,
выдумывай,
пробуй!
Радость прет.
Не для вас
уделить ли нам?!
Жизнь прекрасна
и
удивительна.
Лет до стá
растi
нам
без старости.
Год от года
растi
нашой бодрости.
Славьте,
молот
и стих,
землю молодости.

1927

ВО ВЕСЬ ГОЛОС
ПЕРВОЕ ВСТУПЛЕНИЕ в поэму

Уважаемые
товарищи потомки!
Роясь
в сегодняшнем
окаменевшем г....,
наших дней изучая потемки,
вы,
возможно,
спросите и обо мне.
И, возможно, скажет
ваш ученый,
кря эрудицией
вопросов рой,
что жил-де такой
певец кипяченой
и ярый враг воды сырой.
Профессор,
снимите очки-велосипед!
Я сам расскажу
о времени
и о себе.
Я, ассенизатор
и водовоз,
революцией
мобилизованный и призванный,
ушел на фронт
из барских садоводств
поэзии —
бабы капризной.

Засадила садик мило,
дочка,
дачка,
водь
и гладь —
сама садик я садила,
сама буду поливать.
Кто стихами льет из лейки,
кто кропит,
набравши в рот —
кудреватые Митрейки,
мудреватые Кудрейки —
кто их, к черту, разберет!
Нет на прорву карантина —
мандолинят из-под стен:
«Тара-тина, тара-тина,
т-эн-н...»
Неважная честь,
чтоб из этаких роз
мои изваяния высились
по скверам,
где харкает туберкулез,
где б.... с хулиганом
да сифилис.

И мне
агитпроп
в зубах навяз,
и мне бы
строчить
романсы на вас —
доходней оно
и прелестней.
Но я
себя
смирял,
становясь
на горло
собственной песне.
Слушайте,
товарищи потомки,
агитатора,
горлана-главаря.

Заглуша
поэзии потоки,
я шагну
через лирические томики,
как живой
с живыми говоря.
Я к вам приду
в коммунистическое далеко
не так,
как песенно-есененный провитязь.
Мой стих дойдет
через хребты веков
и через головы
поэтов и правительств.
Мой стих дойдет,
но он дойдет не так,—
не как стрела
в амурно-лировой охоте,
не как доходит
к нумизмату стершийся пятак
и не как свет умерших звезд доходит.
Мой стих
трудом
громаду лет прорвет
и явится
весомо,
грубо,
зримо,
как в наши дни
вошел водопровод,
сработанный
еще рабами Рима.
В курганах книг,
похоронивших стих,
железки строк случайно обнаруживая,
вы
с уважением
ощупывайте их,
как старое,
но грозное оружие.

Я
ухо
словом
не привык ласкать;
ушку девическому
в завиточках волоска
с полупохабщины
не разалеться тронуту.
Парадом развернув
моих страниц войска,
я прохожу
по строчечному фронту.
Стихи стоят
свинцово-тяжело,
готовые и к смерти
и к бессмертной славе.
Поэмы замерли,
к жерлу прижав жерло
нацеленных
зияющих заглавий.
Оружия
любимейшего
род,
готовая
рвануться в гике,
застыла
кавалерия острот,
поднявши рифм
отточенные пики.
И все
поверх зубов вооруженные войска,
что двадцать лет в победах
пролетали,
до самого
последнего листка
я отдаю тебе,
планеты пролетарий.
Рабочего
громады класса враг —
он враг и мой,
отъявленный и давний.

Велели нам
идти
под красный флаг
года труда
и дни недоеданий.

Мы открывали
Маркса
каждый том,
как в доме
собственном
мы открываем ставни,
но и без чтения
мы разбирались в том,
в каком идти,
в каком сражаться стане.

Мы
диалектику
учили не по Гегелю.
Бряцанием боев
она врывалясь в стих,
когда
под пулями
от нас буржуи бегали,
как мы
когда-то
бегали от них.

Пускай
за гениями
безутешною вдовой
плетется слава
в похоронном марше —
умри, мой стих,
умри, как рядовой,
как безымянные
на штурмах мерли наши!

Мне наплевать
на бронзы многопудье,
мне наплевать
на мраморную слизь.
Сочтемся славою —
ведь мы свои же люди,—

пускай нам
общим памятником будет
построенный
в боях
социализм.

Потомки,
словарей проверьте поплавки:
из Леты
выплывут
остатки слов таких,
как «проституция»,
«туберкулез»,
«блокада».

Для вас,
которые
здравы и ловки,

поэт
вылизывал
 чахоткины плевки
шершавым языком плаката.

С хвостом годов
я становлюсь подобием
чудовищ
ископаемо-хвостатых.

Товарищ жизнь,
давай быстрей протопаем,
протопаем
по пятилетке

Мне
и рубля
не накопили строчки,
краснодеревщики
не слали мебель на дом.

И кроме
свежевымой сорочки,
скажу по совести,
мне ничего не надо.

Явившись
в Це Ка Ка
идущих
светлых лет,

над бандой
поэтических
рвачей и выжиг
я подыму,
как большевистский партбилет,
все сто томов
моих
партийных книжек.

Декабрь 1929 г. — январь 1930 г.

ПЬЕСЫ

КЛОП

ФЕЕРИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

Девять картин

РАБОТАЮТ

При сыпкин — Пьер Скрипкин — бывший рабочий,
бывший партиец, ныне жених.
Зоя Березкина — работница.
Эльзевира Давидовна — невеста,
маникюрша, кассирша парикмахерской
Розалия Павловна — мать-парикмахерша } Ренессанс
Давид Осипович — отец-парикмахер
Олег Баян — самородок, из домовладельцев.
Милиционер.
Профес sor.
Директор зоосада.
Брандмейстер.
Пожарные.
Шáфер.
Репортер.
Рабочие аудитории.
Председатель горсовета.
Оператор.
Вузовцы.
Распорядитель празднества.
Президиум горсовета, охотники, дети,
старики.

I

Центр — вертящаяся дверища универмага, бока остекленные, затоваренные витрины. Входят пустые, выходят с пакетами. По всему театру расхаживают частники-лоточники.

П у г о в и ч н ы й р а з н о с ч и к

Из-за пуговицы не стоит жениться, из-за пуговицы не стоит разводиться! Нажатие большого и указательного пальца, и брюки с граждан никогда не свалятся.

Голландские,
механические,
самопризывающиеся пуговицы,
6 штук 20 копеек...
Пожалте, мусью!

Р а з н о с ч и к к у к о л

Танцующие люди
из балетных студий.
Лучшая игрушка
в саду и дома,
танцует по указанию
самого наркома!

Р а з н о с ч и ц а я блок

Ананасов!
нету...
Бананов!
нету...
Антоновские яблочки 4 штуки 15 копеек.
Прикажите, гражданочка!

Р а з н о с ч и к т о ч и л ь н ы х к а м н е й

Германский
небьющийся
точильный брусок,
30
копеек
любой
кусок.

Точиг
в любом
направлении
и вкусе
бритвы,
ножи
и языки для дискуссий!
Пожалте, граждане!

Р а з н о с ч и к а б а ж у р о в
Абажуры
любой
расцветки и масти.
Голубые для уюта,
красные для сладострастий.
Устраивайтесь, товарищи!

П р о д а в е ц ш а р о в
Шары-колбаски.
Летай без опаски.
Такой бы
шар
генералу Нобиле,—
они бы на полюсе
дольше побыли.
Берите, граждане...

Р а з н о с ч и к с е л е д о к
А вот
лучшие
республиканские селедки,
незаменимы
к блинам и водке!

Р а з н о с ч и ц а г а л а н т е р е и

Бюстгальтеры на меху,
бюстгальтеры на меху!

П р о д а в е ц к л е я

У нас
и за границей,
а также повсюду
граждане
выбрасывают
битую посуду.

Знаменитый
Экцельзиор,
клей-порошок,
клейт
и Венеру
и ночной горшок.
Угодно, сударыня?

Р а з н о с ч и ц а д у х о в

Духи Коти
на золотники!
Духи Коти
на золотники!

П р о д а в е ц к н и г

Что делает жена, когда мужа нету дома, 105 веселых анекдотов бывшего графа Льва Николаевича Толстого вместо рубля двадцати — пятнадцать копеек.

Р а з н о с ч и ц а г а л а н т е р е и

Бюстгальтеры на меху,
бюстгальтеры на меху!

Входят Присыпкин, Розалия Павловна, Баян.

Р а з н о с ч и ц а

Бюстгальтеры...

Присыпкин (*восторженно*). Какие аристократические чепчики!

Розалия Павловна. Какие же это чепчики, это же...

П р и сы п к и н. Что ж, я без глаз, что ли? А ежели у нас двойня родится? Это вот на Дороти, а это на Лилиан... Я их уже решил назвать аристократическо-кинематографически... так и будут гулять вместе. Во! Дом у меня должен быть полной чашей. Захватите, Розалия Павловна!

Б а я н (*подхихикивая*). Захватите, захватите, Розалия Павловна! Разве у них пошлость в голове? Оне молодой класс, оне всё по-своему понимают. Оне к вам древнее, незапятнанное пролетарское происхождение и профсоюзный билет в дом вносят, а вы рубли жалеете! Дом у них должен быть полной чашей.

Розалия Павловна, вздохнув, покупает.

Я донесу... они легонькие... не извольте беспокоиться... за те же деньги...

Р а з н о с ч и к и г р у ш е к

Танцующие люди из балетных студий...

П р и сы п к и н. Мои будущие потомственные дети должны воспитываться в изящном духе. Во! Захватите, Розалия Павловна!

Р о з а л и я П а в л о в н а. Товарищ Присыпкин...

П р и сы п к и н. Не называйте меня товарищем, гражданка, вы еще с пролетариатом не породнились.

Р о з а л и я П а в л о в н а. Будущий товарищ, гражданин Присыпкин, ведь за эти деньги пятнадцать человек бороды побреют, не считая мелочей — усов и прочего. Лучше пива к свадьбе лишнюю дюжину. А?

П р и сы п к и н (*строго*). Розалия Павловна! У меня дом...

Б а я н. У него дом должен быть полной чашей. И танцы и пиво у него должны быть фонтаном, как из рога изобилия.

Розалия Павловна покупает.

(*Схватывая сверточки.*) Не извольте беспокоиться, за те же деньги.

Р а з н о с ч и к п у г о в и ц

Из-за пуговицы не стоит жениться!

Из-за пуговицы не стоит разводиться!

П р и сы п к и н. В нашей красной семье не должно быть никакого мещанского быта и брючных неприятностей. Во! Захватите, Розалия Павловна!

Б а я н. Пока у вас нет профсоюзного билета, не раздражайте его, Розалия Павловна. Он — победивший класс, и он смеет всё на своем пути, как лава, и брюки у товарища Скрипкина должны быть полной чашей.

Розалия Павловна покупает со вздохом.

Извольте, я донесу за те же самые...

П р о д а в е ц с е л ь д е й

Лучшие республиканские селедки!
Незаменимы

при всякой водке!

Розалия Павловна (*отстраняя всех, громко и повеселевши*). Селедка — это — да! Это вы будете иметь для свадьбы вещь. Это я да захватчу! Пройдите, мосье мужчины! Сколько стоит эта килька?

Р а з н о с ч и к. Эта лососина стоит 2.60 кило.

Розалия Павловна. 2.60 за этого шпрота-переростка?

П р о д а в е ц. Что вы, мадам, всего 2.60 за этого кандидата в осетрины!

Розалия Павловна. 2.60 за эти маринованные корсетные кости? Вы слышали, товарищ Скрипкин? Так вы были правы, когда вы убили царя и прогнали господина Рябушинского! Ой, эти бандиты! Я найду мои гражданские права и мои селедки в государственной советской *общественной* кооперации!

Б а я н. Подождем здесь, товарищ Скрипкин. Зачем вам сливаться с этой мелкобуржуазной стихией и покупать сельдей в таком дискуссионном порядке? За ваши 15 рублей и бутылку водки я вам организую свадьбочку на ять.

П р и с ы п к и н. Товарищ Баян, я против этого мещанского быту — канареек и прочего... Я человек с крупными запросами... Я — зеркальным шкафом интересуюсь...

З о я Б е р е з к и н а почти натыкается на говорящих, удивленно отступает, прислушиваясь.

Б а я н. Когда ваш свадебный кортеж...

П р и с ы п к и н. Что вы болтаете? Какой картеж?

Б а я н. Кортеж, я говорю. Так, товарищ Скрипкин, называется на красивых иностранных языках всякая, и особенно такая, свадебная торжественная поездка.

П р и с ы п к и н. А! Ну-ну-ну!

Баян. Так вот, когда кортэж подъедет, я вам спою эпигималаму Гименея.

Присыпкин. Чего ты болтаешь? Какие еще такие Гималаи?

Баян. Не Гималаи, а эпигималаму о боге Гименее. Это такой бог любви был у греков, да не у этих желтых, озвевших соглашателей Венизелосов, а у древних, республиканских.

Присыпкин. Товарищ Баян, я за свои деньги требую, чтобы была красная свадьба и никаких богов! Понял?

Баян. Да что вы, товарищ Скрипкин, не то что понял, а силой, согласно Плеханову, дозволенного марксистам воображения я как бы сквозь призму вижу ваше классовое, возвышенное, изящное и упоительное торжество!.. Невеста вылезает из кареты — красная невеста... вся красная,— упарилась, значит; ее выводят красный посаженный отец, бухгалтер Ерыкалов,— он как раз мужчина тучный, красный, апоплексический,— вводят это вас красные шафера, весь стол в красной ветчине и бутылки с красными головками.

Присыпкин (*сочувственно*). Во! Во!

Баян. Красные гости кричат «горько, горько», и тут красная (уже супруга) протягивает вам красные-красные губки...

Зоя (*растерянно хватает за рукава обоих. Оба снимают ее руки, сбивая щелчком пыль*). Ваня! Про что он? Чего болтает эта каракатица в галстуке? Какая свадьба? Чья свадьба?

Баян. Красное трудовое бракосочетание Эльзевиры Давидовны Репесанс и...

Присыпкин

Я, Зоя Ванна, я люблю другую.
Она изящней и стройней,
и стягивает грудь тугую
жакет изысканный у ней.

Зоя. Ваня! А я? Что ж это значит: поматросил и бросил?

Присыпкин (*вытягивая отстраняющую руку*). Мы разошлись, как в море корабли...

Розалия Павловна (*вырывается из магазина, неся сельди над головой*). Киты! Дельфины! (*Торговцу сельдями*.) А ну, покажи, а ну, сравни твою улитку! (*Сравнивает; сельдь лоточника больше; всплескивает руками*.) На хвост больше?! За что боролись, а, гражданин Скрипкин? За что мы убили государя императора и прогнали господина Рябушинского, а?

В могилу меня вкопает советская ваша власть... На хвост, на целый хвост больше!..

Баян. Уважаемая Розалия Павловна, сравните с другого конца,— она ж и больше только на головку, а зачем вам головка,— она ж несъедобная, отрезать и выбросить.

Розалия Павловна. Вы слышали, что он сказал? Головку отрезать. Это вам головку отрезать, гражданин Баян, ничего не убавится и ничего не стонит, а ей отрезать головку стоит десять копеек на килограмм. Ну! Домой! Мне очень нужен профессиональный союзный билет в доме, но дочка на доходном предприятии — это тоже вам не бык на палочке.

Зоя. Жить хотели, работать хотели... Значит, всё...

Присыпкин. Гражданка! Наша любовь ликвидирована. Не мешайте свободному гражданскому чувству, а то я милицию позову.

Зоя, плачущая, вцепилась в рукав. Присыпкин вырывается. Розалия Павловна становится между ним и Зоей, роняя покупки.

Розалия Павловна. Чего надо этой лахудре? Чего вы цепляетесь за моего зятя?

Зоя. Он мой!

Розалия Павловна. А!.. Она таки с дитём! Я ей заплачу алименты, но я ей разобью морду!

Милиционер. Граждане, прекратите эту безобразную сцену!

II

Молодняцкое общежитие. Изобретатель сопит и чертит. Парень валяется; на краю кровати девушка. Очкастый ушел головой в книгу. Когда раскрываются двери, виден коридор с дверями и лампочки.

Босой парень (*орет*). Где сапоги? Опять сапоги сперли. Что ж, мне их на ночь в камеру хранения ручного и ножного багажа на Курский вокзалносить, что ли?

Уборщик. Это в них Присыпкин к своей верблюдихе на свидание затопал. Надевал — ругался. В последний раз, говорит. А вечером, говорит, явлюсь в обновленном виде, более соответствующем моему новому социальному положению.

Босой. Сволочь!

Молодой рабочий (*убирает*). И сор-то после него стал какой-то благородный, деликатный. Раньше што? Бутыль

с-под пива да хвост воблы, а теперь баночки ТЭЖЭ да ленточки разрадуженные.

Д е в у ш к а. Брось трепаться, парень галстук купил, так его уже Макдональдом ругаете.

П а р е н ъ. Макдональд и есть! Не в галстуке дело, а в том, что не галстук к нему, а он к галстуку привязан. Даже не думает — головой пошевелить боится.

У б о р щ и к. Лаком дырки покрывает; заторопился, дыру на чулке видать, так он ногу на ходу чернильным карандашом подмазывал.

П а р е н ъ. Она у него и без карандаша черная.

И з о б р е т а т е л ь. Может быть, не на том месте черная. Надо бы ему носки переодеть.

У б о р щ и к. Сразу нашелся — изобретатель. Патент заявляй. Смотри, чтоб идею не сперли. (*Рванул тряпкой по столику, скидывает коробку, — разваливаются веером карточки. Нагибается собрать, подносит к свету, заливается хохотом, еле со-зываая рукой товарищей.*)

В с е (*перечитывают, повторяют*). Пьер Скрипкин. Пьер Скрипкин!

И з о б р е т а т е л ь. Это он себе фамилию изобрел. Присыпкин. Ну, что это такое Присыпкин? На что Присыпкин? Куда Присыпкин? Кому Присыпкин? А Пьер Скрипкин — это уже не фамилия, а роман!

Д е в у ш к а (*мечтательно*). А ведь верно: Пьер Скрипкин — это очень изящно и замечательно. Вы тут гогочете, а он, может, культурную революцию на дому проделывает.

П а р е н ъ. Мордой он уже и Пушкина превзошел. Висят баки, как хвост у собаки, даже не моет — растрепать боится.

Д е в у ш к а. У Гарри Пиля тоже эта культура по всей щеке пущена.

И з о б р е т а т е л ь. Это его учитель по волосатой части развивает.

П а р е н ъ. И на чем только у этого учителя волоса держатся: головы никакой, а курчавости сколько угодно. От сырости, что ли, такие заводятся!

П а р е н ъ с к н и г о й. Н-е-ет. Он — писатель. Чего писал — не знаю, а только знаю, что знаменитый! «Вечерка» про него три раза писала: стихи, говорит, Апухтина за свои продал, а тот как обиделся, опровержение написал. Дураки, говорит, вы, неверно всё, — это я у Надсона списал. Кто из них прав — не знаю. Печатать его больше не печатают, а

знаменитый он теперь очень — молодежь обучает. Кого стихам, кого пению, кого танцам, кого так... деньги занимать.

Парень с метлой. Не рабочее это дело — мозоль лаком нагонять.

Слесарь, засаленный, входит посредине фразы, моет руки, оборачивается.

Слесарь. До рабочего у него никакого касательства, расчет сегодня брал, женится на девице, парикмахеровой дочке — она же кассирша, она же маникюрша. Когти ему теперь стричь будет мадмуазель Эльзевира Ренесанс.

Изобретатель. Эльзевир — шрифт такой есть.

Слесарь. Насчет шрифтов не знаю, а корпус у нее — это верно. Карточку бухгалтеру для скорости расчетов показывал.

Ну и милка, ну и чудо,—
одни груди по два пуда.

Босой. Устроился!

Девушка. Ага! Завидки берут?

Босой. А что ж, я тоже, когда техноруком стану да ежедневные сапоги заведу, я тоже себе лучшую квартиренку пообнюю.

Слесарь. Я тебе вот что советую: ты занавесочки себе заведи. Раскрыл занавесочку — на улицу посмотрел. Закрыл занавесочку — взял тяпнул. Это только работать одному скучно, а курицу есть одному веселее. Правильно? Из окопов такие тоже устраиваться бегали, только мы их шлепали. Ну что ж — пошел!

Босой. И пойду и пойду. А ты что из себя Карла Либкнехта корчишь? Тебя из окна с цветочками помани, тоже небось припустишься... Герой!

Слесарь. Никуда не уйду. Ты думаешь, мне эта рвань и вонь нравится? Нет. Нас, видите ли, много. На всех на нас неповских дочек не наготовишься. Настроим домов и двинем сразу... Сразу все. Но мы из этой окопной дыры с белыми флагами не вылезем.

Босой. Зарядил — окопы. Теперь не девятнадцатый год. Людям для себя жить хочется.

Слесарь. А что — не окопы?

Босой. Врешь!

Слесарь. Вшей сколько хошь.

Босой. Врешь!

Слесарь. А стреляют бесшумным порохом.

Босой. Врешь!

Слесарь. Вот уже Присыпкина из глазной двухстволки подстрелили.

Входит Присыпкин в лакированных туфлях, в вытянутой руке несет за шнурки стоптанные башмаки, кидает Босому. Баян с покупками.

Заслоняет от Скрипкина откальзывающего слесаря.

Баян. Вы, товарищ Скрипкин, внимания на эти грубые танцы не обращайте, оне вам нарождающийся тонкий вкус испортят. Ребята общежития отворачиваются.

Слесарь. Брось кланяться! Набалдашник расколотишь.

Баян. Я понимаю вас, товарищ Скрипкин: трудно, невозможно, при вашей нежной душе, в ихнем грубом обществе. Еще один урок оставьте ваше терпение нелопнутым. Ответственнейший шаг в жизни — первый фокстрот после бракосочетания. На всю жизнь должен впечатление оставить. Ну-с, пройдитесь с воображаемой дамой. Чего вы стучите, как на первомайском параде?

Присыпкин. Товарищ Баян, башмаки сниму: во-первых, жмут, во-вторых, стаптываются.

Баян. Вот, вот! Так, так, тихим шагом, как будто в лунную ночь в мечтах и меланхолии из пивной возвращаешься. Так, так! Да не шевелите вы нижним бюстом, вы же не вагонетку, а мадмуазель везете. Так, так! Где рука? Низко рука!

Присыпкин (*скользит на воображаемом плече*). Не держится она у меня на воздухе.

Баян. А вы, товарищ Присыпкин, легкой разведкой лифчик обнаружьте и, как будто для отдохновения, большим пальчиком упритесь, и dame сочувствие приятно, и вам облегчение — о другой руке подумать можете. Чего плечами затрясли? Это уже не фокстрот, это вы уже шиммское па продемонстрировать изволили.

Присыпкин. Нет. Это я так... на ходу почесался.

Баян. Да разве ж так можно, товарищ Присыпкин! Если с вами в вашем танцевальном вдохновении такой казус случится, вы закатите глаза, как будто даму ревнуете, отступите по-испански к стене, быстро потритеесь о какую-нибудь скульптуру (в фешенебельном обществе, где вы будете вращаться, так этих скульптур и ваз разных всегда до черта наворочено). Потритеесь, передернитесь, сверкните глазами и скажите: «Я вас понял, коваррная, вы мной играете... но...» — и опять пустились в танец, как бы постепенно охлаждаясь и успокаиваясь.

П р и сы п ки н. Вот так?

Б а я н. Браво! Хорошо! Талант у вас, товарищ Присыпкин! Вам в условиях буржуазного окружения и построения социализма в одной стране — вам развернуться негде. Разве наш Средний Козий переулок для вас достойное поприще? Вам мировая революция нужна, вам выход в Европу требуется, вам только Чемберленов и Пуанкарб сломить, и вы Мулен Ружи и Пантеоны красотой телодвижений восхищать будете. Так и запомните, так и замрите! Превосходно! А я пошел. За этими шаферами нужен глаз да глаз, до свадьбы задатком стакан и ни росинки больше, а работу выполнят, тогда хоть из горлышка. Оревуар¹. (*Уходит, крича из дверей.*) Не надевайте двух галстуков одновременно, особенно разноцветных, и зарубите на носу: нельзя навыпуск носить крахмальную рубаху!

Присыпкин меряет обновки.

П а р е нь. Ванька, брось ты эту бузу, чего это тебя так расчучелило?

П р и сы п ки н. Не ваше собачье дело, уважаемый товарищ! За что я боролся? Я за хорошую жизнь боролся. Вон она у меня под руками: и жена, и дом, и настоящее обхождение. Я свой долг, на случай надобности, всегда исполнить сумею. Кто воевал, имеет право у тихой речки отдохнуть. Во! Может, я весь свой класс своим благоустройством возвышаю. Во!

С л е с а рь. Боец! Суворов! Правильно!

Шел я верхом,
шёл я низом,
строил мост в социализм,
не достроил
и устал
и уселся у моста.
Травка выросла у моста.
По мосту идут овечки.
Мы желаем
очень просто
отдохнуть у этой речки...

Так, что ли?

П р и сы п ки н. Да ну тебя! Отстань ты от меня с твоими грубыми агитками... Во! (*Садится на кровать, напевает под гитару.*)

¹ До свидания (франц. Au revoir). — Ред.

На Луначарской улице
я помню старый дом —
с широкой чудной лестницей,
с изящнейшим окном.

Выстрел. Бросаются к двери.

Парень (*из двери*). Зоя Березкина застрелилась!
Все бросаются к двери.

Эх, и покроют ее теперь в ячейке!

Голоса.

— Скорее...

— Скорее...

— Скорую...

— Скорую...

Голос. Скорая! Скорей! Что? Застрелилась! Грудь!
Навылет. Средний Козий, 16.

Присыпкин один, спешно собирает вещи.

Слесарь. Из-за тебя, мразь волосатая, и такая баба
убилась! Вон! (*Берет Присыпкина за пиджак, вышивывает
в дверь и следом выбрасывает вещи.*)

Уборщик (*бегущий с врачом, придерживает и приподы-
мает Присыпкина, подавая ему выпавшую шляпу*). И с тре-
ском же ты, парень, от класса отрываешься!

Присыпкин (*отворачиваясь, орет*). Извозчик, улица
Луначарского, 17! С вещами!

III

Большая парикмахерская комната. Бока в зеркалах. Перед зеркалами
бумажные цветища. На бритвенных столиках бутылки. Слева авансцены
рояль с разинутой пастью, справа печь, заворачивающая трубы по всей
комнате. Посредине комнаты круглый свадебный стол. За столом: Пьер
Скрипкин, Эльзевира Ренессанс, двое шаферов
и шафериц, мамаша и папаша Ренессанс. Посаженный
отец — бухгалтер, и такая же мать. Олег Баин распо-
ряжается в центре стола, спиной к залу.

Эльзевира. Начнем, Скрипочка?
Скрипкин. Обождать.

Пауза.

Эльзевира. Скрипочка, начнем?
Скрипкин. Обождать. Я желаю жениться в органи-
зованном порядке и в присутствии почетных гостей и особенно

в присутствии особы секретаря завкома, уважаемого товарища Лассальченко... Во!

Гость (вбегая). Уважаемые новобрачные, простите великолепно за опоздание, но я уполномочен передать вам брачные пожелания нашего уважаемого вождя, товарища Лассальченко. Завтра, говорит, хоть в церковь, а сегодня, говорит, прийти не могу. Сегодня, говорит, партень, и хочешь не хочешь, а в ячейку, говорит, поттить надо. Переходим, так сказать, к очередным делам.

Призыпкин. Объявляю свадьбу открытой.

Розалия Павловна. Товарищи и мусье, кушайте, пожалуйста. Где вы теперь найдете таких свиней? Я купила этот окорок три года назад на случай войны или с Грецией, или с Польшей. Но... войны еще нет, а ветчина уже портится. Кушайте, мусье.

Все (подымают стаканы и рюмки). Горько! Горько!..

Эльзевира и Пьер целуются.

Горько! Го-о-о-рь-к-о-о!

Эльзевира повисает на Пьере. Пьер целует степенно и с чувством классового достоинства.

Посаженный отец — бухгалтер. Бетховена!.. Шекспеара!.. Просим изобразить кой-чего. Не зря мы ваши юбилеи ежедневно празднуем!

Ташат рояль.

Голоса. Под крылышко, под крылышко ее берите! Ух и зубов, зубов-то! Вдарить бы!

Призыпкин. Не оттопчите ножки моей рояли.

Баян (встает, покачивается и расплескивает рюмку). Я счастлив, я счастлив видеть изящное завершение на данном отрезке времени полного борьбы пути товарища Скрипкина. Правда, он потерял на этом пути один частный партийный билет, но зато приобрел много билетов государственного займа. Нам удалось согласовать и увязать их классовые и прочие противоречия, в чем нельзя не видеть вооруженному марксистским взглядом, так сказать, как в капле воды, будущее счастье человечества, именуемое в простонародье социализмом.

Все. Горько! Горько!

Эльзевира и Скрипкин целуются.

Б а я н. Какими капитальными шагами мы идем вперед по пути нашего семейного строительства! Разве когда мы с вами умирали под Перекопом, а многие даже умерли, разве мы могли предположить, что эти розы будут цвести и благоухать нам уже на данном отрезке времени? Разве когда мы стонали под игом самодержавия, разве хотя бы наши великие учителя Маркс и Энгельс могли бы предположительно мечтать или даже мечтательно предположить, что мы будем сочетать узами Гименея безвестный, но великий труд с поверженным, но очаровательным капиталом?

В с е. Горько!.. Горько!..

Б а я н. Уважаемые граждане! Красота — это двигатель прогресса! Что бы я был в качестве простого трудящегося? Бочкин и — больше ничего! Что я мог в качестве Бочкина? Мычать! И больше ничего! А в качестве Баяна — сколько угодно! Например:

Олег Баян
от счастья пьян.

И вот я теперь Олег Баян, и я пользуюсь, как равноправный член общества, всеми благами культуры и могу выражаться, то есть нет — выражаться я не могу, но могу разговаривать, хотя бы как древние греки: «Эльзевира Скрипкина, передайте рыбки нам». И мне может вся страна отвечать, как какие-нибудь трубадуры:

Для промывки вашей глотки,
за изящество и негу
хвост сельдя и рюмку водки
преподносим мы Олегу.

В с е. Браво! Ура! Горько!

Б а я н. Красота — это мать...

Ш а ф е р (*мрачно и вскачивая*). Мать! Кто сказал «мать»?
Прошу не выражаться при новобрачных.

Шафера оттаскивают.

В с е. Бетховёна! Камаринского!

Тащат Баяна к роялю.

Б а я н

Съезжалися к загсу трамваи —
там красная свадьба была...

В с е
(подпевают)

Жених был во всей прозодежде,
из блузы торчал профбилет!

Б у х г а л т е р . Понял! Все понял! Это значит:

Будь здоров, Олег Баянчик,
кучерявенький баранчик...

П а р и к м а х е р (*с вилкой лезет к посаженой маме*).
Нет, мадам, настоящих кучерявых теперь, после революции,
нет. Шиньон гофрэ делается так... Берутся щипцы (*вертит вилкой*), нагреваются на слабом огне а-ля этауль (*тычет вилку в пламя печи*) и взбивается на макушке эдакое волосяное
суфле.

П о с а ж е н а я . Вы оскорбляете мое достоинство как матери и как девушки... Пустите... Сукин сын!!!

Ш а ф е р . Кто сказал «сукин сын»? Прошу не выражаться при новобрачных!

Бухгалтер разнимает, подпевая, пытаясь крутнуть ручку кассового счетчика, с которым он вертится как с шарманкой.

Э л ь з е в и р а (*к Баяну*). Ах! Сыграйте, ах! Вальс «Тоска Макарова по Вере Холодной». Ах, это так шарман¹, ах, это просто петит истуар...²

Ш а ф е р (*вооруженный гитарой*). Кто сказал «писсуар»?
Прошу при новобрачных...

Баян разнимает и набрасывается на клавиши.

(*Приглядываясь, угрожающе*.) Ты что же это на одной черной кости играешь? Для пролетариата, значит, на половине, а для буржуазии на всех?

Б а я н . Что вы, что вы, гражданин? Я на белых костях в особенности стараюсь.

Ш а ф е р . Значит, опять выходит, что белая кость лучше?
Играй на всех!..

Б а я н . Да я на всех!

Ш а ф е р . Значит, с белыми вместе, соглашатель?

¹ Прелестно (*франц. charmant*). — Ред.

² Маленькая история (*франц. petite histoire*). — Ред.

Б а я н. Товарищ... Так это же... цедура.

Ш а ф е р. Кто сказал «дуря»? При новобрачных. Во!!!
(Грохает гитарой по затылку.)

Парикиахер нацепливает на вилку волосы посаженой матери.
Присыпкин оттесняет бухгалтера от жены.

П р и с y п к и н. Вы что же моей жене селедку в грудь
тычете? Это же ж вам не клумба, а грудь, и это же вам не хри-
зантема, а селедка!

Б у х г а л т е р. А вы нас лососиной угощали? Угощали?
Да? А сами орете — да?

В драке опрокидывают газовую невесту на печь, печь
опрокидывается, — пламя, дым.

К р и к и. Горим!!! Кто сказал «горим»?.. Пожар! Лосо-
сину...

Съезжались из загса трамваи...

IV

В чернейшей ночи поблескивает от недалекого пламени каска пожарного.
Н а ч а л ь н и к один. Подходят и уходят докладывающие п о ж а р н ы е.

1-й пожарный. Не совладать, товарищ начальник!
Два часа никто не вызывал... Пьяные, стервы!! Горит, как
пороховой склад. (*Уходит.*)

Н а ч а л ь н и к. Чего ж ему не гореть? Паутина да спирт.

2-й пожарный. Затухает, вода на лету сосулится.
Погреб водой залили глаже, чем каток. (*Уходит.*)

Н а ч а л ь н и к. Телá нашли?

3-й пожарный. Одного погрузили, вся коробка испор-
чена. Должно быть, балкой поломана. Прямо в морг. (*Уходит.*)

4-й пожарный. Погрузили... одно обгоревшее тело
неизвестного пола с вилкой в голове.

1-й пожарный. Под печкой обнаружена бывшая
женщина с проволочным венчиком на затылочных костях.

3-й пожарный. Обнаружен неизвестный довоенного
телосложения с кассой в руках — очевидно, при жизни бандит.

2-й пожарный. Среди живых нет никого... Среди
трупов недосчитывается один, так что согласно ненахождения
полагаю — сгорел по мелочам.

1-й пожарный. Ну и иллюминация! Прямо театр, только все действующие лица сгорели.

3-й пожарный

Везла их со свадьбы карета,
карета под красным крестом.

Горнист скликает пожарных. Строятся. Маршируют через театр, выкрикивая.

Пожарные

Товарищи и граждане,
водка — яд.

Пьяные

республику
зазря спалят!

Живя с каминами,

живя с примусами,
сожжете дом

и сгорите сами!

Случайный

сон —

причина пожаров, —

на сон

не читайте

Надсона и Жарова!

V

Огромный до потолка зал заседаний, вздымающийся амфитеатром. Вместо людских голосов — радиораструбы, рядом несколько висящих рук по образцу высывающих из автомобилей. Над каждым раструбом цветные электрические лампы, под самым потолком экран. Посредине трибуна с микрофоном. По бокам трибуны распределители и регуляторы голосов и света. Два механика — старик и молодой — возятся в темной аудитории.

Старый (*сдувая разлохмаченной щеткой из перьев пыль с раструбов*). Сегодня важное голосование. Смажь маслом и проверь голосовательный аппарат земледельческих районов. Последний раз была заминка. Голосовали со скрипом.

Молодой. Земледельческие? Хорошо! Центральные смажу. Протру замшей горло смоленским аппаратам. На прошлой

неделе опять похрипывали. Надо подвинтить руки служебным штатам столиц, а то у них какой-то уклончик: правая за левую цепляется.

Старый. Уральские заводы готовы. Металлургические курские включим, там провели новый аппарат на шестьдесят две тысячи голосов второй группы электростанции Запорожья. С ними ничего, работа легка.

Молодой. А ты еще помнишь, как раньше было? Смешно, должно быть?

Старый. Меня раз мамка на руках на заседание носила. Народу совсем мало — человек тысячу скопилось, сидят, как дармоеды, и слушают. Вопрос был какой-то важный и громкий, одним голосом прошел. Мать была против, а проголосовать не могла, потому что меня на руках держала.

Молодой. Ну конечно! Кустарничество!

Старый. Раньше такой аппарат и не годился бы. Бывало, человеку *первому* руку поднять надо, чтоб его заметили, так он ее под нос председателю тычет, к самой ноздре подносит обе, жалеет только, что не древняя богиня Изида, а то б в двенадцать рук голосовал. А многие спасались. Про одного рассказывали, что он какую-то важную дискуссию всю в уборной просидел — голосовать боялся. Сидел и задумывался, шкуру, значит, служебную берег.

Молодой. Уберег?

Старый. Уберег!.. Только по другой специальности назначили. Видят любовь к уборным, так его там главным назначили при мыле и полотенцах. Готово?

Молодой. Готово!

Сбегают вниз к распределительным доскам и проводам. Человек в очках и бородке, распахнув дверь, прямым шагом входит на эстраду, спиной к аудитории, поднимает руки.

Оратор. Включить одновременно все районы федерации!
Старший и младший. Есть!

Одновременно загораются все красные, зеленые и синие лампочки аудитории.

Оратор. Алло! Алло! Говорит председатель института человеческих воскрешений. Вопрос опубликован телеграммами, обсужден, прост и ясен. На перекрестке 62-й улицы и 17-го проспекта бывшего Тамбова прорывающая фундамент бригада на глубине семи метров обнаружила засыпанный землей обледеневший погреб. Сквозь лед феномена просвечивает заморо-

женная человеческая фигура. Институт считает возможным воскрешение индивидуума, замерзшего пятьдесят лет назад.

Урегулируем разницу мнений.

Институт считает, что каждая жизнь рабочего должна быть использована до последней секунды.

Просвечивание показало на руках существа мозоли, бывшие полстолетия назад признаком трудящегося. Напоминаем, что после войн, пронесшихся над миром, гражданских войн, сдавших федерацию земли, декретом от 7 ноября 1965 года жизнь человека неприкосновенна. Довожу до вашего сведения возражения эпидемической секции, боящейся угрозы распространения бактерий, наполнявших бывшие существа бывшей России. С полным сознанием ответственности приступаю к решению. Товарищи, помните, помните, и еще раз помните:

Мы
голосуем
человеческую жизнь!

Лампы тушатся, пронзительный звонок, на экране загорается резолюция, повторяемая оратором.

«Во имя исследования трудовых навыков рабочего человечества, во имя наглядного сравнительного изучения быта требуем воскрешения».

Голоса половины раструбов: «Правильно, принять!», часть голосов: «Долой!» Голоса смолкают мгновенно. Экран тухнет. Второй звонок, загорается новая резолюция. Оратор повторяет.

«Резолюция санитарно-контрольных пунктов металлургических и химических предприятий Донбасса. Во избежание опасности распространения бактерий подхалимства и чванства, характерных для двадцать девятого года, требуем оставить экспонат в замороженном виде».

Голоса раструбов: «Долой!» Одинокие выкрики: «Правильно!»

Есть ли еще резолюции и дополнения?

Загорается третий экран, оратор повторяет.

«Земледельческие районы Сибири просят воскрешать осенью, по окончании полевых работ, для облегчения возможности присутствия широких масс желающих».

Подавляющее количество голосов-труб: «Долой!», «Отклонить!» Лампы загораются.

Ставлю на голосование: кто за первую резолюцию, прошу поднять руки!

Подымается подавляющее большинство железных рук.

Опустить! Кто за поправку Сибири?

Подымаются две редких руки.

Собрание Федерации приняло: «Вос-кре-сить!»

Рев всех раструбов: «Ура!!!» Голоса молкнут.

Заседание закрыто!

Из двух распахнувшихся дверей врываются р е п о р т е р ы . Оратор прорывается, бросая радостно во все стороны.

Воскресить! Воскресить!! Воскресить!!!

Репортеры вытаскивают из карманов микрофоны, на ходу крича:

1-й р е п о р т е р . Алло!!! Волна $472\frac{1}{2}$ метра... «Чукотские известия»... Воскресить!

2-й р е п о р т е р . Алло! Алло!!! Волна 376 метров... «Витебская вечерняя правда»... Воскресить!

3-й р е п о р т е р . Алло! Алло! Алло! Волна 211 метров... «Варшавская комсомольская правда»... Воскресить!

4-й р е п о р т е р . «Армавирский литературный понедельник». Алло! Алло!!!

5-й р е п о р т е р . Алло! Алло! Алло! Волна 44 метра. «Известия чикагского совета»... Воскресить!

6-й р е п о р т е р . Алло! Алло! Алло! Волна 115 метров... «Римская красная газета»... Воскресить!

7-й р е п о р т е р . Алло! Алло! Алло! Волна 78 метров... «Шанхайская беднота»... Воскресить!

8-й р е п о р т е р . Алло! Алло! Алло! Волна 220 метров... «Мадридская батрачка»... Воскресить!

9-й р е п о р т е р . Алло! Алло! Алло! Волна 11 метров... «Кабульский пионер»... Воскресить!

Г а з е т ч и к и врываются с готовыми оттисками.

1-й г а з е т ч и к

Разморозить

или не разморозить?

Передовицы

в стихах и в прозе!

2-й газетчик

Всемирная анкета
по важнейшей теме —
о возможности заноса
подхалимских эпидемий!

3-й газетчик

Статьи про древние
гитары и романсы
и прочие
способы
одурачивания массы!

4-й газетчик

Последние новости!!! Интервью! Интервью!

5-й газетчик

Научный вестник,
пожалуйста, не пугайтесь!
Полный перечень
так называемых ругательств!

6-й газетчик

Последнее радио!

7-й газетчик

Теоретическая постановка
исторического вопроса:
может ли
слона
убить папироса!

8-й газетчик

Грустно до слез,
смешно до колик;
объяснение
слова «алкоголик»!

Матовая стеклянная двухстворчатая дверь, сквозь стены просвечивают металлические части медицинских приборов. Перед стеной старый профессор и пожилая ассистентка, еще сохранившая характерные черты Зои Березкиной. Оба в белом, больничном.

Зоя Березкина. Товарищ! Товарищ профессор, прошу вас, не делайте этого эксперимента. Товарищ профессор, опять пойдет буза...

Профессор. Товарищ Березкина, вы стали жить воспоминаниями и заговорили непонятным языком. Сплошной словарь умерших слов. Что такое «буза»? (*Ищет в словаре.*) Буза... Буза... Буза... Бюрократизм, богоискательство, бублики, богема, Булгаков... Буза — это род деятельности людей, которые мешали всякому роду деятельности...

Зоя Березкина. Эта его «деятельность» пятьдесят лет назад чуть не стоила мне жизни. Я даже дошла до... попытки самоубийства.

Профессор. Самоубийство? Что такое «самоубийство»? (*Ищет в словаре.*) Самообложение, самодержавие, самореклама, самоуплотнение... Нашел «самоубийство». (*Удивленно.*) Вы стреляли в себя? Приговор? Суд? Ревтрибунал?

Зоя Березкина. Нет... Я сама.

Профессор. Сама? От неосторожности?

Зоя Березкина. Нет... От любви.

Профессор. Чушь... От любви надо мосты строить и детей рожать... А вы... Да! Да! Да!

Зоя Березкина. Освободите меня, я, право, не могу.

Профессор. Это и есть... Как вы сказали... Буза. Да! Да! Да! Да! Буза! Общество предлагает вам выявить все имеющиеся у вас чувства для максимальной легкости преодоления размораживаемым субъектом пятидесяти анабиозных лет. Да! Да! Да! Да! Ваше присутствие очень, очень важно. Я рад, что вы нашлись и пришли. Он — это он! А вы — это она! Скажите, а ресницы у него были мягкие? На случай поломки при быстром размораживании.

Зоя Березкина. Товарищ профессор, как же я могу упомянуть ресницы, бывшие пятьдесят лет назад...

Профессор. Как? Пятьдесят лет назад? Это вчера!.. А как я помню цвет волос на хвосте мастодонта полмиллиона лет назад? Да! Да! Да!.. А вы непомните, — он сильно раздувал ноздри при вдохании в возбужденном обществе?

Зоя Березкина. Товарищ профессор, как же я могу помнить?! Уже тридцать лет никто не раздувает ноздрей в подобных случаях.

Профессор. Так! Так! Так! А вы не осведомлены относительно объема желудка и печени, на случай выделения возможного содержания спирта и водки, могущих воспламениться при необходимом высоком вольтаже?

Зоя Березкина. Откуда я могу запомнить, товарищ профессор! Помню, был какой-то живот...

Профессор. Ах, вы ничего не помните, товарищ Березкина! По крайней мере был ли он порывист?

Зоя Березкина. Не знаю... Возможно, но... только не со мной.

Профессор. Так! Так! Так! Я боюсь, что мы отмораживаем его, а отмерзли пока что вы. Да! Да! Да!.. Ну-с, приступаем.

Нажимает кнопку, стеклянная стена тихо расходится. Посредине, на операционном столе, блестящий оцинкованный ящик человечьих размеров. У ящика краны, под кранами ведра. К ящику электропроводки. Цилиндры кислорода. Вокруг ящика шесть врачей, белых и спокойных. Перед ящиком на авансцене шесть фонтанных умывальников. На невидимой проволоке, как на воздухе, шесть полотенец.

Профессор (*переходя от врача к врачу, говорит*). (*Первому.*) Ток включить по моему сигналу. (*Второму.*) Доведите теплоту до 36,4 — пятнадцать секунд каждая десятая. (*Третьему.*) Подушки кислорода наготове? (*Четвертому.*) Воду выпускать постепенно, заменяя лед воздушным давлением. (*Пятому.*) Крышку открыть сразу. (*Шестому.*) Наблюдать в зеркало стадии оживления.

Врачи наклоняют головы в знак ясности и расходятся по своим местам.

Начинаем!

Включается ток, вглядываются в температуру. Каплет вода.

У маленькой правой стенки с зеркалом впившийся доктор.

6-й врач. Появляется естественная окраска!

Пауза.

Освобожден ото льда!

Пауза.

Грудь выбириует!

Пауза.

(*Испуганно.*) Профессор, обратите внимание на неестественную порывистость...

Профес sor (*подходит, вглядывается, успокаительно*). Движения нормальные, чешется,— очевидно, оживают присущие подобным индивидуумам паразиты.

6-й в р а ч. Профессор, непонятная вещь: движением левой руки отделяется от тела...

Профес sor (*вглядывается*). Он сросся с музыкой, они называли это «чуткой душой». В древности жили Страдивариус и Уткин. Страдивариус делал скрипки, а это делал Уткин, и называлось это гитарой.

Профессор оглядывает термометр и аппарат, регистрирующий давление крови.

1-й в р а ч. 36,1.

2-й в р а ч. Пульс 68.

6-й в р а ч. Дыхание выровнено.

Профес sor. По местам!

Врачи отходят от ящика. Крышка мгновенно откинулась, из ящика подымается взъерошенный и удивленный Присыпкин, озирается, прижав гитару.

Присыпкин. Ну и выспался! Простите, товарищи, конечно, выпимши был! Это какое отделение милиции?

Профес sor. Нет, это совсем другое отделение! Это — отделение ото льда кожных покровов, которые вы отморозили...

Присыпкин. Чего? Это вы чевой-то отморозили. Еще посмотрим, кто из нас были пьяные. Вы, как спецы-доктора, всегда сами около спиртов третесь. А я себя, как личность, всегда удостоверить сумею. Документы при мне. (*Выскаивает, выворачивает карманы.*) 17 руб. 60 коп. при мне. В МОПР? Уплатил. В Осоавиахим? Внес. «Долой неграмотность»? Пожалуйста. Это что? Выписка из загса! (*Свистнул.*) Да я же вчера женился! Где вы теперь, кто вам целует пальцы? Ну и всыплют мне дома! Расписка шаферов здесь. Профсоюзный билет здесь. (*Взгляд падает на календарь, трет глаза, озирается в ужасе.*) 12 мая 1979 года! Это ж за сколько у меня в профсоюз не плочено! Пятьдесят лет! Справок-то, справок спросят! Губотдел! ЦК! Господи! Жена!!! Пустите! (*Обжимает окружающим руки, бросается в дверь.*)

За ним беспокоящаяся Березкина. Доктора окружают профессора. Шесть врачей и профессор вдумчиво моют руки.

Х о р о м. Это что он такое руками делал? Совал и тряс, тряс и совал...

П р о ф е с с о р. В древности был такой антисанитарный обычай.

Шесть врачей и профессор вдумчиво моют руки.

П р и сып к и н (*натыкаясь на Зою*). Какие вы, граждане, собственно, есть? Кто я? Где я? Не матушка ли вы Зои Березкиной будете?

Рев спрены обернул присыпкинскую голову.

Куда я попал? Куда меня попали? Что это?.. Москва?.. Париж?? Нью-Йорк?! Извозчик!!!

Рев автомобильных сирен.

Ни людей, ни лошадей! Автодоры, автодоры, автодоры!!! (*Прижимается к двери, почесывается спиной, щет пятерней, оборачивается, видит на белой стене переползающего с воротничка клопа.*) Клоп, клопик, клопуля!!! (*Перебирает гитару, поет.*) Не уходи, побудь со мною... (*Ловит клопа пятерней; клоп уполз.*) Мы разошлись, как в море корабли... Уполз!.. Один! Но нет ответа мне, снова один я... Один!!! Извозчик, автодоры... Улица Луначарского, 17! Без вещей!!! (*Хватается за голову, падает в обморок на руки выбежавшей из двери Березкиной.*)

VII

Середина сцены — треугольник сквера. В сквере три искусственных дерева. Первое дерево — на зеленых квадратах-листьях — огромные тарелки, на тарелках мандарины. Второе дерево — бумажные тарелки, на тарелках яблоки. Третье — зеленое, с елочными шишками,— открытые флаконы духов. Бока стеклянные и облицованные стены домов. По сторонам треугольника — длинные скамейки. Входит репортер, за ним четверо: мужчины и женщины.

Р е п о р т е р. Товарищи, сюда, сюда! В тень! Я вам расскажу по порядку все эти мрачные и удивительные происшествия. Во-первых... Передайте мне мандарины. Это правильно делает городское самоуправление, что сегодня деревья мандаринятся, а то вчера были одни груши — и не сочно, и не вкусно, и не питательно...

Девушка снимает с дерева тарелку с мандаринами, спящие чистят, едят, с любопытством наклоняясь к репортеру.

1-й мужчина. Ну, скорей, товарищ, рассказывайте все подробно и по порядку.

Репортер. Так вот... Какие сочные ломтики! Не хотите ли?.. Ну хорошо, хорошо, рассказываю. Подумаешь, нетерпение! Конечно, мне, как президенту репортажа, известно все... Так вот, видите, видите?..

Быстрой походкой проходит человек с докторским ящиком с термометрами.

Это — ветеринар. Эпидемия распространяется. Будучи оставлено одно, это воскрешенное млекопитающее вступило в общение со всеми домашними животными небоскреба, и теперь все собаки взбесились. Оно выучило их стоять на задних лапах. Собаки не лают и не играют, а только служат. Животные пристают ко всем обедающим, подласкиваются и подлизываются. Врачи говорят, что люди, покусанные подобными животными, приобретут все первичные признаки эпидемического подхалимства.

Сидящие. О-о-о!!!

Репортер. Смотрите, смотрите!

Проходит шатающийся человек, нагруженный корзинками с бутылками пива.

Проходящий (напевает)

В девятнадцатом веке
чудно жили люди—
пили водку, пили пиво,—
сизый нос висел, как слива!

Репортер. Смотрите, конченый, больной человек! Это один из ста семидесяти пяти рабочих второй медицинской лаборатории. В целях облегчения переходного существования врачами было предписано поить воскресшее млекопитающее смесью, отравляющей в огромных дозах и отвратительной в малых, так называемым пивом. У них от ядовитых испарений закружилась голова, и они по ошибке глотнули этой прохладительной смеси. И с тех пор сменяют уже третью партию рабочих. Пятьсот двадцать рабочих лежат в больницах, но страшная эпидемия трехгорной чумы пенится, бурлит и подкашивает ноги.

С и д я щ и е. А-а-а-а!!!

М у ж ч и н а (*мечтательно и томительно*). Я б себя привнес в жертву науке,— пусть привыают и мне эту загадочную болезнь!

Р е п о р т е р. Готов! И этот готов! Тихо... Не спугните эту лунатичку...

Проходит д е в у ш к а, ноги заплатаются в па фокстрота и чарльстона, бормочет стихи по книжице в двух пальцах вытянутой руки. В двух пальцах другой руки воображаемая роза, подносит к ноздрям и вдыхает.

Несчастная, она живет рядом с ним, с этим бешеным млечкопитающим, и вот ночью, когда город спит, через стенку стали доноситься к ней гитарные рокотанья, потом протяжные, душу раздирающие приыхания и всхлипы нараспев, как это у них называется? «Романсы», что ли? Дальше — больше, и несчастная девушки стала сходить с ума. Убитые горем родители собирают консилиумы. Профессора говорят, что это приступы острой «влюбленности»,— так называлась древняя болезнь, когда человечья половая энергия, разумно распределяемая на всю жизнь, вдруг скоротечно конденсируется в неделю в одном воспалительном процессе, ведя к безрассудным и невероятным поступкам.

Д е в у ш к а (*закрывает глаза руками*). Я лучше не буду смотреть, я чувствую, как по воздуху разносятся эти ужасные влюбленные микробы.

Р е п о р т е р. Готова, и эта готова... Эпидемия океанится...

30 г е р л с проходят в танце.

Смотрите на эту тридцатиголовую шестидесятиножку! Подумать только — и это вздымание ног они (*к аудитории*) обзывают искусством!

Фокстротирующая п а р а.

Эпидемия дошла... дошла... до чего дошла? (*Смотрит в словарь.*) До а-по-гэя, ну... это уже двуполое четвероногое.

Вбегает д и р е к т о р зоологического сада с небольшим стеклянным ларчиком в руках. За директором т о л п а, вооруженная зрительными трубами, фотоаппаратами и пожарными лестницами.

Д и р е к т о р (*ко всем*). Видали? Видали? Где он? Ах, вы ничего не видали!! Отряд охотников донес, что его видели здесь четверть часа тому назад: он перебирался на четвертый этаж.

Считая среднюю его скорость в час полтора метра, он не мог уйти далеко. Товарищи, немедленно обследуйте стены!

Наблюдатели развинчивают трубы, со скамеек вскаивают, взглядывают, заслоняя глаза. Директор распределяет группы, руководит поисками.

Г о л о с а

— Разве его найдешь!.. Нужно голого человека на матраце в каждом окне выставить — он на человека бежит...

— Не орите, спугнете!!!

— Если я найду, я никому не отдам...

— Не смеешь: он коммунальное достояние...

В о с т о р ж е н н ы й г о л о с . Нашел!!! Есть! Ползет!..

Бинокли и трубы установлены в одну точку. Молчание, прерываемое щелканием фото- и киноаппаратов.

П р о ф е с с о р (*придушенным шепотом*). Да... Это он! Поставьте засады и охрану. Пожарные, сюда!!!

Люди с сетками окружают место. Пожарные развинчивают лестницу, люди карабкаются гуськом.

Д и р е к т о р (*опуская трубу, плачущим голосом*). Ушел... На соседнюю стену ушел... SOS! Сорвется — убьется! Смельчаки, добровольцы, герои!!! Сюда!!!

Развинчивают лестницу перед второй стеной, вскарабкиваются. Зрители замирают.

В о с т о р ж е н н ы й г о л о с с в е р х у . Поймал! Ура!!!

Д и р е к т о р . Скорей!!! Осторожней!!! Не упустите, не помните животному лапки!!!

По лестнице из рук в руки передают зверя, наконец очутившегося в директорских руках. Директор запрятывает зверя в ларец и подымает ларец над головой.

Спасибо вам, незаметные труженики науки! Наш зоологический сад осчастливлен, ошедеврен... Мы поймали редчайший экземпляр вымершего и популярнейшего в начале столетия насекомого. Наш город может гордиться — к нам будут стекаться ученые и туристы... Здесь, в моих руках, единственный живой «клопус нормалис». Отойдите, граждане: животное уснуло, животное скрестило лапки, животное хочет отдохнуть! Я приглашаю вас всех на торжественное открытие в зоопарк. Важнейший, тревожнейший акт поимки завершен!

Гладкие, опаловые, полупрозрачные стены комнаты. Сверху из-за карниза ровная полоса голубоватого света. Слева большое окно. Перед окном рабочий чертежный стол. Радио. Экран. Три-четыре книги. Справа выдвинутая из стены кровать, на кровати, под чистейшим одеялом, грязнейший Присыпкин. Вентиляторы. Вокруг Присыпкина угол обгрязнен. На столе окурки, опрокинутые бутылки. На лампе обрывок розовой бумаги. Присыпкин стонет. Врач первно шагает по комнате.

Профес sor (входит). Как дела больного?

Врач. Больного — не знаю, а мои отвратительны! Если вы не устроите смену каждые полчаса, — он перезаразит всех. Как дыхнет, так у меня ноги подкашиваются! Я уж семь вентиляторов поставил: дыхание разгонять.

Присыпкин. О-о-о!

Профес sor бросается к Присыпкину.

Профес sor, о профес sor!!!

Профес sor тянет носом и отшатывается в головокружении, ловя воздух руками.

Опохмелиться...

Профес sor наливает пива на донышко стакана, подает.

(*Приподнимается на локтях. Укоризненно.*) Воскресили... и издеваются! Что это мне — как слону лимонад!..

Профес sor. Общество надеется развить тебя до человеческой степени.

Присыпкин. Черт с вами и с вашим обществом! Я вас не просил меня воскрешать. Заморозьте меня обратно! Во!!!

Профес sor. Не понимаю, о чем ты говоришь! Наша жизнь принадлежит коллективу, и ни я, ни кто другой не могут эту жизнь...

Присыпкин. Да какая же это жизнь, когда даже карточку любимой девушки нельзя к стенке прикопить? Все кнопки об проклятое стекло обламываются... Товарищ профес sor, дайте опохмелиться.

Профес sor (*наливает стакан*). Только не дышите в мою сторону.

Зоя Березкина входит с двумя стопками книг. Врачи переговариваются с ней шепотом, выходят.

Зоя Березкина (*садится около Присыпкина, распаковывает книги*). Не знаю, пригодится ли это. Про что ты гово-

рил, этого нет, и никто про это не знает. Есть про розы только в учебниках садоводства, есть грезы только в медицине, в отделе сновидений. Вот две интереснейшие книги приблизительно того времени. Перевод с английского: Хувер — «Как я был президентом».

П р и с ы п к и н (*берет книгу, отбрасывает*). Нет, это не для сердца, надо такую, чтоб замирало...

З о я Б е р е з к и н а. Вот вторая — какого-то Муссолини: «Письма из ссылки».

П р и с ы п к и н (*берет, откладывает*). Нет, это ж не для души. Отстаньте вы с вашими грубыми агитками. Надо, чтоб щипало...

З о я Б е р е з к и н а. Не знаю, что это такое? Замирало, щипало... щипало, замирало...

П р и с ы п к и н. Что ж это? За что мы старались, кровь проливали, когда мне, гегемону, значит, в своем обществе в новоизученном танце и растанцеваться нельзя?

З о я Б е р е з к и н а. Я показывала ваше телодвижение даже директору центрального института движений. Он говорит, что видел такое на старых коллекциях парижских открыточек, а теперь, говорит, про такое и спросить не у кого. Есть пара старух — помнят, а показать не могут по причинам ревматическим.

П р и с ы п к и н. Так для чего же я себе преемственное изящное образование вырабатывал? Работать же я ж и до революции мог.

З о я Б е р е з к и н а. Я возьму тебя завтра на танец десяти тысяч рабочих и работниц, будут двигаться по площади. Это будет веселая репетиция новой системы полевых работ.

П р и с ы п к и н. Товарищи, я протестую!!! Я ж не для того размэрз, чтобы вы меня теперь засушили. (*Срывает одеяло, вскакивает, схватывает свернутую кипу книг и вытряхивает ее из бумаги. Хочет изодрать бумагу и вдруг взглядывается в буквы, перебегая от лампы к лампе.*) Где? Где вы это взяли?..

З о я Б е р е з к и н а. На улицах всем раздавали... Должно быть, в библиотеке в книги вложили.

П р и с ы п к и н. Спасен!!! Ура!!! (*Бросается к двери, как флагом развевая бумажкой.*)

З о я Б е р е з к и н а (*одна*). Я прожила пятьдесят лет вперед, а могла умереть пятьдесят лет назад из-за такой мрази.

Зоологический сад. Посредине на пьедестале клетка, задрапированная материами и флагами. Позади клетки два дерева. За деревьями клетки слонов и жирафов. Слева клетки трибуна, справа возвышение для почетных гостей. Кругом музыка и гости. Группами подходят зрители. Распорядители с бантами расставляют подошедших — по занятиям и росту.

Распорядитель. Товарищи иностранные корреспонденты, сюда! Ближе к трибунам! Посторонитесь и дайте место бразильцам! Их аэрокорабль сейчас приземляется на центральном аэродроме. (*Отходит, любуется.*)

Товарищи негры, стойте вперемежку с англичанами красивыми цветными группами, англосаксонская белизна еще больше оттенит вашу оливковость... Учащиеся вузов,— налево, к вам направлены три старухи и три старика из союза столетних. Они будут дополнять объяснения профессоров рассказами очевидцев.

Въезжают в колясках старики и старухи.

1-я старуха. Как сейчас помню...

1-й стариk. Нет — это я помню, как сейчас!

2-я старуха. Вы помните, как сейчас, а я помню, как раньше.

2-й стариk. А я как сейчас помню, как раньше.

3-я старуха. А я помню, как еще раньше, совсем, совсем рано.

3-й стариk. А я помню и как сейчас и как раньше.

Распорядитель. Тихо, очевидцы, не шепелявьте! Расступитесь, товарищи, дорогу детям! Сюда, товарищи! Скорее! Скорее!!

Дети
(маршируют колонной с песней)

Мы здраво
учимся
на бывшее «ять»!
Зато мы
и лучше всех
умеем
гулять.

Иксы
и греки
давно
сданы.

Идем
туда,
где тигрики
и где
слоны!
Сюда,
где звери многие,
и мы
с людьем
в сад
зоологии
идем!
идем!!
идем!!!

Р а с п о р я д и т е л ь. Граждане, желающие доставлять экспонатам удовольствия, а также использовать их в научных целях, благоволят приобретать дозированные экзотические продукты и научные приборы только у официальных служителей зоосада. Дилетантство и гипербола в дозах — смертельны. Просим пользоваться только этими продуктами и приборами, выпущенными центральным медицинским институтом и городскими лабораториями точной механики.

По саду и театру идут слуги зоосада.

1-й слуги тель

В кулак
бактерии
рассматривать глупо!
Товарищи,
берите
микроскопы и лупы!

2-й слуги тель

Иметь
советует
доктор Тоболкин
на случай оплевания
раствор карболки.

3-й слу ж и т е л ь

Кормление экспонатов —
незабываемая картина!

Берите

дозы

алкоголя и никотина!

4-й слу ж и т е л ь

Пойте алкоголем,
и животные обеспечены
подагрой,

идиотизмом

и расширением печени.

5-й слу ж и т е л ь

Гвоздика огня
и дымная роза

гарантируют

100

процентов

склероза.

6-й слу ж и т е л ь

Держите

уши

в полном вооружении.

Наушники

задерживают

грубые выражения.

Р а с п о р я д и т е л ь (*расчищает проход к трибуне горсовета*). Товарищ председатель и его ближайшие сотрудники оставили важнейшую работу и под древний государственный марш прибыли на наше торжество. Приветствуем дорогих товарищей!

Все аплодируют, проходит группа с портфелями, степенно раскланиваясь и напевая.

В с е

Службы

бремя

не сморщило нас.

Делу —

время,

потехе —
час!
Привет вам
от города,
храбрые ловцы!
Мы вами
гбрды,
мы —
города отцы!!!

Председатель (*входит на трибуну, взмахивает флагом, все затихает*). Товарищи, объявляю торжество открытым. Наши года чреваты глубокими потрясениями и переживаниями внутреннего порядка. Внешние события редки. Человечество, истомленное предыдущими событиями, даже радо этому относительному покоя. Однако мы никогда не отказываемся от зрелища, которое, будучи феерическим по внешности, таит под радужным оперением глубокий научный смысл. Прискорбные случаи в нашем городе, явившиеся результатом неосмотрительного допущения к пребыванию в нем двух паразитов, случаи эти моими силами и силами мировой медицины изжиты. Однако эти случаи, теплящиеся слабым напоминанием прошлого, подчеркивают ужас поверженного времени и мощь и трудность культурной борьбы рабочего человечества.

Да закалятся души и сердца нашей молодежи на этих зловещих примерах!

Не могу не отметить благодарностью и предоставляю слово прославленному нашему директору, разгадавшему смысл странных явлений и сделавшему из пагубных явлений научное и веселое препровождение времени.

Ура!!!

Все кричат «ура», музыка играет туш, на трибуну влезит раскланивающийся директор зоологического сада.

Директор. Товарищи! Я обрадован и смущен вашим вниманием. Учитывая и свое участие, я не могу все же не пристигти благодарности преданным труженикам союза охотников, являющимся непосредственными героями поимки, а также уважаемому профессору института воскрешений, поборовшему замораживающую смерть. Хотя я и не могу не указать, что первая ошибка уважаемого профессора была косвенной причиной известных бедствий. По внешним мимикийным признакам — мозолям, одежде и прочему — уважаемый профессор ошибочно

отнес размороженное млекопитающее к «гомо сапиенс» и к его высшему виду — к классу рабочих. Не приписываю успех исключительно своему долгому обращению с животными и проникновению в их психологию. Мне помог случай. Неясная, подсознательная надежда твердила: «Напиши, дай, разгласи объявления». И я дал:

«Исходя из принципов зоосада, ищу живое человечье тело для постоянных обкусываний и для содержания и развития свежеприобретенного насекомого в привычных ему, нормальных условиях».

Голос из толпы. Ах, кой южас!

Директор. Я понимаю, что ужас, я сам не верил собственному абсурду, и вдруг... существо является! Его внешность почти человеческая... Ну, вот как мы с вами...

Председатель Совета (*звонит в звонок*). Товарищ директор, я призываю вас к порядку!

Директор. Простите, простите! Я, конечно, сейчас же путем опроса и сравнительной зверологии убедился, что мы имеем дело со страшным человекообразным симулянтом и что это самый поразительный паразит. Не буду вдаваться в подробности, тем более что они вам сейчас откроются в этой в полном смысле поразительной клетке.

Их двое — разных размеров, но одинаковых по существу: это знаменитые «клопус нормалис» и... и «обывателиус вульгарис». Оба водятся в затхлых матрацах времени.

«Клопус нормалис», разжирав и упившись на теле одного человека, падает под кровать.

«Обывателиус вульгарис», разжирав и упившись на теле всего человечества, падает на кровать. Вся разница!

Когда трудящееся человечество революции обчесывалось и корчилось, соскрабая с себя грязь, они свивали себе в этой самой грязи гнезда и домики, били жен и клялись Бебелем и отдыхали и благодушествовали в шатрах собственных галифе. Но «обывателиус вульгарис» страшнее. С его чудовищной мимикрией он завлекает обкусываемых, прикидываясь то сверчком-стихоплетом, то романсоголосой птицей. В те времена даже одежда была у них мимикрирующая — птичье обличье — крылатка и хвостатый фрак с белой-белой крахмальной грудкой. Такие птицы свивали гнезда в ложах театров, громоздились на дубах опер, под «Интернационалом» в балетах чесали ногу об ногу, свисали с веточек строк, стригли Толстого под Маркса, голосили и зазывали в возмутительных количествах и... простите за выражение, но мы на научном докладе... гадили в количествах,

иे могущих быть рассматриваемыми, как мелкая птичья неприятность.

Товарищи! Впрочем... убеждайтесь сами!

Делает знак, служители обнажают клетку; на пьедестале клопий ларец, за ним возвышение с двуспальной кроватью. На кровати П р и сы п к и н с гитарой. Сверху клетки свешивается желтая абажурная лампа. Над головой Присыпкина сияющий венчик — веер открыток. Бутылки стоят и валяются на полу. Клетка окружена плевательными урнами. На стенах клетки — надписи, с боков фильтры и озонаторы. Надписи: 1. «Осторожно — плюется!» 2. «Без доклада не входить!» 3. «Берегите уши — оно выражается». Музыка сыграла туш; освещение бенгальское; отхлынувшая толпа приближается, онемев от восторга.

П р и сы п к и н

На Луначарской улице
я помню старый дом —
с широкой темной лестницей,
с завешенным окном!..

Д и р е к т о р. Товарищи, подходите, не бойтесь, оно совсем смирное. Подходите, подходите! Не беспокойтесь: четыре фильтра по бокам задерживают выражения на внутренней стороне клетки, и наружу поступают немногочисленные, но вполне достойные слова. Фильтры прочищаются ежедневно специальными служителями в противогазах. Смотрите, оно сейчас будет так называемое «курить».

Г о л о с из т о л п ы. Ах, какой ужас!

Д и р е к т о р. Не бойтесь — сейчас оно будет так называемое «вдохновляться». Скрипкин,— опрокиньте!

Скрипкин тянется к бутылке с водкой.

Г о л о с из т о л п ы. Ах, не надо, не надо, не мучайте бедное животное!

Д и р е к т о р. Товарищи, это же совсем не страшно: оно ручное! Смотрите, я его выведу сейчас на трибуну. (*Идет к клетке, надевает перчатки, осматривает пистолеты, открывает дверь, выводит Скрипкина, ставит его на трибуну, поворачивает лицом к местам почетных гостей.*) А ну, скажите что-нибудь коротенькое, подражая человечьему выражению, голосу и языку.

С к р и п к и н (покорно становится, покашливает, подымает гитару и вдруг оборачивается и бросает взгляд на зрительный зал. Лицо Скрипкина меняется, становится востор-

женным. Скрипкин отталкивает директора, швыряет гитару и орет в зрительный зал). Граждане! Братцы! Свои! Родные! Откуда? Сколько вас?! Когда же вас всех разморозили? Чего ж я один в клетке? Родимые, братцы, пожалте ко мне! За что ж я страдаю?! Граждане!..

Голоса гостей.

- Детей, уведите детей...
- Намордник... намордник ему...
- Ах, какой ужас!
- Профессор, прекратите!
- Ах, только не стреляйте!

Директор с вентилятором, в сопровождении двух служителей, вбегает на эстраду. Служители оттаскивают Скрипкина. Директор проветривает трибуну. Музыка играет туш. Служители задерживают клетку.

Директор. Простите, товарищи... Простите... Насекомое утомилось. Шум и освещение ввергли его в состояние галлюцинации. Успокойтесь. Ничего такого нет. Завтра оно успокоится... Тихо, граждане, расходитесь, до завтра.

Музыка, марш!

Конец

1928—1929

БАНЯ

ДРАМА В ШЕСТИ ДЕЙСТВИЯХ
С ЦИРКОМ И ФЕЙЕРВЕРКОМ

Д Е Й С Т В УЮЩИЕ ЛИЦА

Товарищ Победоносиков — главный начальник по управлению согласованием, главначчупс.
Поля — его жена.
Товарищ Оптимистенко — его секретарь.
Исак Бельведонский — портретист, баталист, натуралист.
Товарищ Моментальныхников — репортер.
Мистер Понт Кич — иностранец.
Товарищ Ундертон — машинистка.
Растратчик Ночкин.
Товарищ Велосипедкин — легкий кавалерист.
Товарищ Чудаков — изобретатель.
Мадам Мезальянсова — сотрудница ВОКС.
Товарищ Фоскин }
Товарищ Двойкин } рабочие.
Товарищ Тройкин }
Просители.
Преддомком.
Режиссер.
Иван Иванович.
Учрежденская толпа.
Милиционер.
Капельдинер.
Фосфорическая женщина.

I ДЕЙСТВИЕ

Справа стол, слева стол. Свисающие отовсюду и раскиданные везде чертежи. Посредине товарищ Фоскин запаивает воздух паяльной лампой.

Чудаков переходит от лампы к лампе, пересматривая чертеж.

Велосипедкин (*вбегая*). Что, всё еще в Каспийское море впадает подлая Волга?

Чудаков (*размахивая чертежом*). Да, но это теперь ненадолго. Часы закладывайте и продавайте.

Велосипедкин. Хорошо, что я их еще и не купил.

Чудаков. Не покупай! Не покупай ни в коем случае! Скоро эта тикающая плоская глупость станет смешней, чем лучина на Днепрострое, беспомощней, чем бык в Автодоре.

Велосипедкин. Унасекомили, значит, Швейцарию?

Чудаков. Да не щелкай ты языком на мелких сегодняшних политических счетах! Моя идея грандиознее. Волга человечьего времени, в которую нас, как бревна в сплав, бросало наше рождение, бросало баражтаться и плыть по течению,— эта Волга отныне подчиняется нам. Я заставлю время и стоять и мчать в любом направлении и с любой скоростью. Люди смогут вылезти из дней, как пассажиры из трамваев и автобусов. С моей машиной ты можешь остановить секунду счастья и наслаждаться месяц, пока не надоест. С моей машиной ты можешь взвихрить растянутые тягучие годы горя, втянуть голову в плечи, и над тобой, не задевая и не раня, сто раз в минуту будет проноситься снаряд солнца, приканчивая черные дни. Смотри, фейерверочные фантазии Уэльса, футуристический мозг Эйнштейна, звериные навыки спячки медведей и йогов — всё, всё спрессовано, сжато и слито в этой машине.

Велосипедкин. Почти ничего не понимаю и, во всяком случае, совсем ничего не вижу.

Чудаков. Да напяль же ты очки! Тебя слепят эти планки платины и хрусталия, этот блеск лучевых сплетений. Видишь? Видишь?..

Велосипедкин. Ну, вижу...

Чудаков. Смотри, ты призаметил эти две линейки, горизонтальную и вертикальную, с делениями, как на весах?

Велосипедкин. Ну, вижу...

Чудаков. Этими линейками ты отмеряешь куб необходимого пространства. Смотри, ты видишь этот колесный регулятор?

Велосипедкин. Ну, вижу...

Чудаков. Этим ключом ты изолируешь включенное пространство и отсекаешь от всех тяжестей все потоки земного притяжения и вот этими странноватыми рычажками включаешь скорость и направление времени.

Велосипедкин. Понимаю! Здраво! Необычайно!!! Это значит — собирается, например, всесоюзный съезд по вопросу об успокоении возбуждаемых вопросов, ну, и, конечно, предоставляется слово для приветствия от Государственной академии научных художеств государственному товарищу Когану, и как только он начал: «Товарищи, сквозь щупальцы мирового империализма красной нитью проходит волна...» — я его отгораживаю от президиума и запускаю время со скоростью полтораста минут в четверть часа. Он себе потеет, приветствует, приветствует и потеет часа полтора, а публика глядит: академик только рот разинул — и уже оглушительные аплодисменты. Все облегченно вздохнули, подняли с кресел свеженькие зады и айда работать. Так?

Чудаков. Фу, какая гадость! Чего ты мне какого-то Когана суешь? Я тебе объясняю это дело вселенской относительности, дело перевода определения времени из метафизической субстанции, из ноумена в реальность, подлежащему химическому и физическому воздействию.

Велосипедкин. А я что говорю? Я это и говорю: ты себе построй реальную станцию с полным химическим и физическим воздействием, а мы от нее проведем провода, ну, скажем, на все куриные инкубаторы, в пятнадцать минут будем возвращивать полупудовую курицу, а потом ей под крылышко штепсель, выключим время — и сиди, курица, и жди, пока тебя не поджарили и не съели.

Чудаков. Какие инкубаторы, какие курицы?!!
Я тебе...

Велосипедкин. Да ладно, ладно, ты думай себе хоть про слонов, хоть про жирафов, если тебе про мелкую скотину и думать унизительно. А мы все это к нашим серень-ким цыплятам сами приспособим...

Чудаков. Ну, что за пошлятина! Я чувствую, что ты со своим практическим материализмом скоро из меня самого курицу сделаешь. Чуть я размахнусь и хочу лететь — ты из меня перья выщипываешь.

Велосипедкин. Ну, ладно, ладно, не горячись. А если я у тебя даже какое перо и выщипал, ты извини, я тебе его обратно вставлю. Летай, пари, фантазирий, мы твоему энтузиазму помощники, а не помеха. Ну, не злись, парнишка, запускай, закручивай свою машину. Чего помочь-то?

Чудаков. Внимание! Я только трону колесо, и время рванется и пустится сжимать и менять пространство, заключенное нами в клетку изоляторов. Сейчас я отбиваю хлеб у всех пророков, гадалок и предсказателей.

Велосипедкин. Постой, Чудаков, дай я стану сюда, может, я через пять минут выйду из комсомольца в этакие бородатые Марксы. Или нет, буду старым большевиком с трехсотлетним стажем. Я тебе тогда всё сразу предведу.

Чудаков (*оттягивая, испуганно*). Осторожно, сумасшедший! Если в идущих годах здесь проляжет стальная ферма подземной дороги, то, вмешаясь своим щуплым тельцем в занятное сталью пространство, ты моментально превратишься в зубной порошок. И, может быть, в грядущем вагоны сверзятся с рельс, а здесь небывалым времятрясением в тысячу баллов к чертовой бабушке разворотит весь подвал. Сейчас опасно пускаться туда, надо подождать идущих оттуда. Поворачиваю медленно-медленно — всего в минуту пять лет...

Фоскин. Постой, товарищ, обожди минуточку. Тебе все равно крутить машину. Сделай одолжение, сунь в твою машину мою облигацию, — не зря я в нее вцепился и не прощаю, — может, она через пять минут уже сто тысяч выиграет.

Велосипедкин. Догадался! Тогда туда весь Наркомфин с Брюхановым засунуть надо, а то же ты выиграешь, а они все равно тебе не поверят — таблицу спросят.

Чудаков. Ну вот, я вам в будущее дверь пробиваю, а вы па рубли сползли... Фу, исторические материалисты!

Фоскин. Дура, я ж для тебя с выигрышем тороплюсь.
У тебя на твой опыт есть деньги?
Чудаков. Да... Деньги есть?
Велосипедкин. Деньги?

Стук в дверь. Входит Иван Иванович, Понт Кич, Мезальянсова и Моментальников.

Мезальянсова (*Чудакову*). Ду ю спик инглиш?¹
Ах, так шпрехен зи дейч?² Парле ву франсе³, наконец? Ну, я так и знала! Это утомительно очень. Я принуждена делать традюкссион с нашего на рабоче-крестьянский. Мосье Иван Иванович, товарищ Иван Иванович! Вы, конечно, знаете Иван Ивановича?

Иван Иванович. Здравствуйте, здравствуйте, дорогой товарищ! Не стесняйтесь! Я показываю наши достижения, как любит говорить Алексей Максимыч. Я сам иногда... но, понимаете, эта нагрузка! Нам, рабочим и крестьянам, очень, очень нужен свой, красный Эдисон. Конечно, кризис нашего роста, маленькие недостатки механизма, лес рубят — щепки летят... Еще одно усилие — и это будет изжито. У вас есть телефон? Ах, у вас нет телефона! Ну, я скажу Николаю Ивановичу, он не откажет. Но если он откажет, можно пойти к самому Владимиру Панфилычу, он, конечно, пойдет навстречу. Ведь даже и Семен Семенович мне постоянно говорит: «Нужен, говорит, нам, рабочим и крестьянам, нужен красный, свой, советский Эдисон». Товарищ Моментальников, надо открыть широкую кампанию.

Моментальников

Эчеленца, прикажите!

Аппетит наш невелик.

Лишь зад-да-да-да-данье нам дадите,—
все исполним в тот же миг.

Мезальянсова. Мосье Моментальников, товарищ Моментальников! Сотрудник! Попутчик! Видит — советская власть идет, — присоединился. Видит — мы идем, — зашел. Увидит — они идут, — уйдет.

¹ Говорите ли вы по-английски? (англ. Do you speak English?). — Ред.

² Говорите ли вы по-немецки? (нем. Sprechen Sie deutsch?). — Ред.

³ Говорите ли вы по-французски? (франц. Parlez-vous français?). — Ред.

Моментальников. Совершенно, совершенно верно,— сотрудник! Сотрудник дореволюционной и пореволюционной прессы. Вот только революционная у меня, понимаете, как-то выпала. Здесь белые, там красные, тут зеленые, Крым, подполье... Пришлось торговать в лавочке. Не моя,— отца или даже, кажется, просто дяди. Сам я рабочий по убеждениям. Я всегда говорил, что лучше умереть под красным знаменем, чем под забором. Под этим лозунгом можно объединить большое количество интеллигенции моего толка. Эчленца, прикажите,— аппетит наш невелик!

Понт Кич. Кхе! Кхе!

Мезальянсова. Пардон! Простите! Мистер Понт Кич, господин Понт Кич. Британский англосакс.

Иван Иванович. Вы были в Англии? Ах, я был в Англии!.. Везде англичане... Я как раз купил кепку в Ливерпуле и осматривал дом, где родился и жил Антидюриング. Удивительно интересно! Надо открыть широкую кампанию.

Мезальянсова. Мистер Понт Кич, известный, известный и в Лондоне и в Сити филателист. Филателист (сконапель¹, марколюб — по-русски), и он очень, очень интересуется химическими заводами, авиацией и вообще искусством. Очень, очень культурный и общительный человек. Даже меценат. Сконапель... ну, как это вам перевести?.. помогает, там, киноработникам, изобретателям... ну, такой, такой вроде как будто РКИ, только наоборот... Ву компрэнэ?² Он уже смотрел на Москву с небоскреба «Известий» (Нахрихтен), он уже был у Анатоль Васильча, а теперь, говорит, к вам... Такой культурный, общительный, даже нам ваш адрес сказал.

Фоскин. Носатая сволочь: с нюхом!

Мезальянсова. Плиз³, сэр!

Понт Кич. Ай Иван в дверь ревел, а звери обедали. Ай шел в рай менекен, а енот в Индостан, переперчил ой звери изобретайшен.

Мезальянсова. Мистер Понт Кич хочет сказать на присущем ему языке, что на его туманной родине все, от Макдональда до Черчилля, совершенно как звери, заинтересованы вашим изобретеньем, и он очень, очень просит...

Чудаков. Ну, конечно, конечно! Мое изобретенье принадлежит всему человечеству, и я, конечно, сейчас же...

¹ Что называется (фр. ce qu'on appelle). — Ред.

² Понимаете? (фр. vous comprenez?). — Ред.

³ Пожалуйста (англ. please). — Ред.

Я очень, очень рад. (*Отводит иностранца, доставшего блокнот, показывает и объясняет.*) Это вот так. Да... да... да... Здесь два рычажка, а на параллельной хрустальной измерительной линейке... Да... да... да... вот сюда! А это вот так... Ну да...

Велосипедкин (*отводя Ивана Ивановича*). Товарищ, надо помочь парню. Я ходил всюду, куда «без доклада не входить», и часами торчал везде, где «кончил дело...» и так далее, и почти ночевал под вывеской «если вы пришли к занятому человеку, то уходите» — и никакого толку. Из-за волокиты и трусости ассигновать десяток червонцев гибнет, может быть, грандиозное изобретенье. Товарищ, вы должны с вашим авторитетом...

Иван Иванович. Да, это ужасно! Лес рубят — щепки летят. Я сейчас же прямо в Главное управление по согласованию. Я скажу сейчас же Николаю Игнатьевичу... А если он откажет, я буду разговаривать с самим Павлом Варфоломеичем... У вас есть телефон? Ах, у вас нет телефона! Маленькие недостатки механизма... Ах, какие механизмы в Швейцарии! Вы бывали в Швейцарии? Я был в Швейцарии. Везде одни швейцарцы. Удивительно интересно!

Понт Кич (*кладя блокнот в карман и пожимая Чудакову руку*). Дед свел в рай трам из двери в двери лез и не дошел туда. Дуй Иван. Червонцли?..

Мезальянсова. Мистер Понт Кич говорит, что если вам нужны червонцы...

Велосипедкин. Ему? Ему не нужны, ему наплевать на червонцы. Я только что для него сбежал в Госбанк и пришел весь в червонцах. Даже противно. Сквозь карман жмут. Вот тут натыканы купюры по два, вот тут по три, а в этих двух карманах так одни десятичервонцевые. Ол райт! Гуд бай! (*Трясет Кичу руку, обнимает его обеими руками и восхищенно проводит к дверям.*)

Мезальянсова. Я очень прошу вас чуточку такта: с вашими комсомольскими замашками назреет, если еще не назрел, громадный международный конфликт. Гуд бай — до свидания!

Иван Иванович (*похлопывая по плечу Чудакова и прощаюсь*). Я тоже в ваши годы... Лес рубят — щепки летят. Нам нужен, нужен советский Эдисон. (*Уже из дверей.*) У вас нет телефона? Ну, ничего, я обязательно скажу Никандру Пирамидоновичу.

Моментальников (*семенит, напевая*). Эчеленца, прикажите...

Чудаков (*к Велосипедкину*). Это хорошо, что есть деньги.

Велосипедкин. Денег нет!

Чудаков. То есть как же это, нет денег? Я не понимаю, зачем тогда хвастаться и говорить... А тем более отказываться, когда делаются солидные предложения со стороны иностранных...

Велосипедкин. Хоть ты и гений, а дурак! Ты хочешь, чтобы твоя идея обжелезилась и влетела к нам из Англии прозрачным, командующим временами дредноутом невидимо бить по нашим заводам и Советам?

Чудаков. А ведь верно, верно... Как же это я ему все рассказал? А он еще в блокнот вписывал! А ты чего же меня не одернул? Сам еще к двери ведешь, обнимашься!

Велосипедкин. Дура, я его недаром обнимал. Бывшая беспризорщина пригодилась. Я не его — я карман его обнимал. Вот он, блокнот английский. Потерял блокнот англичанин.

Чудаков. Браво, Велосипедкин! Ну, а деньги?

Велосипедкин. Чудаков, я пойду на все. Я буду грызть глотки и глотать кадыки. Я буду драться так, что щеки будут летать в воздухе. Я убеждал, я орал на этого Оптимистенко. Он гладкий и полированный, как дачный шар. На его зеркальной чистоте только начальство отражается, и то вверх ногами. Я почти разагитировал бухгалтера Ночкина. Но что можно сделать с этим проклятым товарищем Победоносиковым? Он просто плющит каждого своими заслугами и стажем. Ты знаешь его биографию? На вопрос: «Что делал до 17 года?» — в анкетах ставил: «Был в партии». В какой — неизвестно, и неизвестно, что у него «бе» или «ме» в скобках стояло, а может, и ни бе ни ме не было. Потом он утек из тюрьмы, засыпав страже табаком глаза. А сейчас, через двадцать пять лет, само время засыпало ему глаза табаком мелочей и минут, глаза его слезятся от довольства и благодушия. Что можно увидеть такими глазами? Социализм? Нет, только чернильницу да пресс-папье.

Фоскин. Товарищи, что же я, слюной буду запаивать, что ли? Тут еще двух поставить надо. Двести шестьдесят рублей минимаксом.

Поля (*вбегает, размахивая пачкой*). Деньги — смешно!

Велосипедкин (*Фоскину, передает деньги. Фоскин выбегает*). Ну, гони! На такси гони! Хватай материал, помощников — и обратно. (*К Поле.*) Ну, что, уговорила начальство по семейной линии?

Поля. Разве с ним можно просто? Смешно! Он шипит бумажным удавом каждый раз, когда возвращается домой, беременный резолюциями. Не смешно. Это Ночкин... это такой бухгалтерчик в его учреждении, я его и вижу-то первый раз... Прибегает сегодня в обед, пакет сует, передайте, говорит... секретно... Смешно! А мне, говорит, к ним нельзя... по случаю возможности подозрения в соучастии. Не смешно.

Чудаков. Может быть, эти деньги...

Велосипедкин. Да. Тут есть над чем подумать, что-то мне кажется... Ладно! Все равно! Завтра разберемся.

Входят Фоскин, Двойкин и Тройкин.

Готово?

Фоскин. Есть!

Велосипедкин (*сгребая всех*). Ну, айда! Валяй, товарищи!

Чудаков. Так, так... Проводки спаяны. Изоляционные перегородки в порядке. Напряжение выверено. Кажется, можно. Первый раз в истории человечества... Отойдите! Включаю... Раз, два, три!

Бенгальский взрыв, дым. Отшатываются, через секунду приливают к месту взрыва. Чудаков выхватывает, обжигаясь, обрывок прозрачной стеклянистой бумаги с отбитым, рваным краем.

Прыгайте! Гогочите! Смотрите на *это!* *Это* — письмо! Это написано пятьдесят лет тому вперед. Понимаете — *тому вперед!!!* Какое необычайнейшее слово! Читайте!

Велосипедкин. Чего читать-то?.. «Бе дэ 5—24—20». Это что, телефон, что ли, какого-то товарища Бедэ?

Чудаков. Не «бе дэ», а «бу-ду». Они пишут одними согласными, а 5 — это указание порядковой гласной. А — е — и — о — у: «Буду». Экономия двадцать пять процентов на алфавите. Понял? 24 — это завтрашний день. 20 — это часы. *Он, она, оно* — будет здесь завтра — в восемь вечера. Катастрофа? Что?.. Ты видишь, видишь этот обожженный, снесенный край? Это значит — на пути времени встретилось препятствие, тело, в один из пятидесяти годов занимавшее это сейчас пустое пространство. Отсюда и взрыв. Немедля, чтоб не убить идущее оттуда, нужны люди и деньги... Много!

Надо немедля вынести опыт возможно выше, на самый пустой простор. Если мне не помогут, я на собственной спине выжму эту машину. Но завтра все будет решено.

Товарищи, вы со мной!

Бросаются к двери.

Велосипедкин. Пойдем, товарищи, возьмем их за воротник, заставим! Я буду жрать чиновников и выплевывать пуговицы.

Дверь распахивается навстречу.

Преддомкома. Я сколько раз вам говорил: выметайтесь вы отсюда с вашей частной лавочкой. Вы воняете вверх ответственному съемщику, товарищу Победоносикову. (Замечает Полю.) И... и... вы-ы... здесь? Я говорю, бог на помощь вашей общественной деятельности. У меня для вас отложен чудный вентиляторчик. До свиданьяца.

II ДЕЙСТИЕ

Канцелярская стена приемной. Справа дверь со светящейся вывеской: «Без доклада не входить». У двери за столом Оптимистенко принимает длинный, во всю стену, ряд просителей. Просители копируют движения друг друга, как валящиеся карты. Когда стена освещается изнутри, видны только черные силуэты просителей и кабинет Победоносикова.

Оптимистенко. В чем дело, гражданин?

Проситель. Я вас прошу, товарищ секретарь, уважите, пожалуйста, уважите!

Оптимистенко. Это можно. Увязать и согласовать — это можно. Каждый вопрос можно и увязать и согласовать. У вас есть отношение?

Проситель. Есть отношение... такое отношение, что прямо проходу не дает. Материт и дерется, дерется и материт.

Оптимистенко. Это кто же, вопрос вам проходу не дает?

Проситель. Да не вопрос, а Пашка Тигролапов.

Оптимистенко. Виноват, гражданин, как же это можно Пашку увязать?

Проситель. Это верно, одному его никак не можно увязать. Но вдвоем-втроем, ежели вы прикажете, так его и связуют и увязнут. Я вас прошу, товарищ, уважите вы этого хулигана. Вся квартира от его стонет...

Оптимистенко. Тьфу! Чего же вы с такими мелочами в крупное государственное учреждение лезете? Обратитесь в милицию... Вам чего, гражданочка?

Просительница. Согласовать, батюшка, согласовать.

Оптимистенко. Это можно — и согласовать можно и увязать. Каждый вопрос можно и увязать и согласовать. У вас есть заключение?

Просительница. Нет, батюшка, нельзя ему заключение давать. В милиции сказали, можно, говорят, его на неделю заключить, а я чего, батюшка, кушать-то буду? Он из заключения выйдет, он ведь опять меня побьет.

Оптимистенко. Виноват, гражданочка, вы же заявляли, что вам согласовать треба. А чего ж вы мне мужем голову морочите?

Просительница. Меня с мужем-то и надо, батюшка, согласовать, несогласно мы живем, нет, пьет он очень вдумчиво. А тронуть его боимся, как он партейный.

Оптимистенко. Тьфу! Да я же ж вам говорю, не суйтесь вы с мелочами в крупное государственное учреждение. Мы мелочами заниматься не можем. Государство крупными вещами интересуется — фордизмы разные, то, сё...

Вбегают Чудаков и Велосипедкин.

О! А вы же куда ж?

Велосипедкин (*пытаясь отстранить Оптимистенко*). К товарищу Победоносикову экстренно, срочно, немедленно!

Чудаков (*повторяет*). Срочно... немедленно...

Оптимистенко. Ага-га! Я вас узнаю. Это вы сами или ваш брат? Тут ходил молодой человек.

Чудаков. Это я сам и есть.

Оптимистенко. Да нет... Он же ж без бороды.

Чудаков. Я был даже и без усов, когда начал толкаться к вам. Товарищ Оптимистенко, с этим необходимо покончить. Мы идем к самому главначпупсу, нам нужен сам Победоносиков.

Оптимистенко. Не треба. Не треба вам его беспокоить. Я же ж вас могу собственолично вполне удовлетворить. Все в порядке. На ваше дело имеется полное решение.

Чудаков (*переспрашивает радостно*). Вполне удовлетворить? Да?

Велосипедкин (*переспрашивает радостно*). Полное решение? Да? Сломили, значит, бюрократов? Да? Здорово!

Оптимистенко. Да что вы, товарищ! Какой же может быть бюрократизм перед чисткой? У меня всё на индикаторе без входящих и исходящих, по новейшей карточной системе. Раз — нахожу ваш ящик. Раз — хватаю ваше дело. Раз — в руках полная резолюция — вот, вот!

Все втыкаются.

Я же говорил — полное решение. Вот! От-ка-зать.

Первый план тухнет. Внутренность кабинета.

Победоносиков (*перелистывает бумаги, дозванивается по вертушке. Мимоходом диктует*). «...Итак, товарищи, этот набатный, революционный призывный трамвайный звонок колоколом должен гудеть в сердце каждого рабочего и крестьянина. Сегодня рельсы Ильича свяжут «Площадь имени десятилетия советской медицины» с бывшим оплотом буржуазии «Сенным рынком»... (*К телефону*.) Да. Алло, алло!.. (*Продолжает*.) «Кто ездил в трамвае до 25 октября? Деклассированные интеллигенты, попы и дворяне. За сколько ездили? Они ездили за пять копеек станцию. В чем ездили? В желтом трамвае. Кто будет ездить теперь? Теперь будем ездить мы, работники вселенной. Как мы будем ездить? Мы будем ездить со всеми советскими удобствами. В красном трамвае. За сколько? Всего за десять копеек. Итак, товарищи...» (*Звонок по телефону. В телефон*.) Да, да, да. Нету? На чем мы остановились?

Машинистка Ундертон. На «Итак, товарищи...».

Победоносиков. Да, да... «Итак, товарищи, помните, что Лев Толстой — величайший и незабвенный художник пера. Его наследие прошлого блещет нам на грани двух миров, как большая художественная звезда, как целое созвездие, как самое большое из больших созвездий — Большая Медведица. Лев Толстой...»

Ундертон. Простите, товарищ Победоносиков. Вы там про трамвай писали, а здесь вы почему-то Льва Толстого в трамвай на ходу впустили. Насколько можно понимать, тут какое-то нарушение литературно-трамвайных правил.

Победоносиков. Что? Какой трамвай? Да, да... С этими постоянными приветствиями и речами... Попрошу без замечаний в рабочее время! Для самокритики вам отве-

дена стенная газета. Продолжаем... «Даже Лев Толстой, даже эта величайшая медведица пера, если бы ей удалось взглянуть на наши достижения в виде вышеупомянутого трамвая, даже она заявила бы перед лицом мирового империализма: «Не могу молчать. Вот они, красные плоды всеобщего и обязательного просвещения». И в эти дни юбилея...» Безобразие! Кошмар! Вызвать мне сюда товарища... гражданина бухгалтера Ночкина.

Кабинет Победоносикова тухнет. Опять очередь у кабинета. Врывающиеся Чудаков и Велосипедкин.

Велосипедкин. Товарищ Оптимистенко, это издавательство!

Оптимистенко. Да нет же ж, никакого издавательства нема. Слушали — постановили: отказать. Не входит ваше изобретение в перспективный план на ближайший квартал.

Велосипедкин. Так ведь не на одном твоем ближайшем квартале социализм строится.

Оптимистенко. Да не мешайте вы со своими фантазиями нашей государственной деятельности! (*К вошедшему Бельведонскому.*) Пожалте! Валяйте! Распространяйтесь! (*К Чудакову.*) Ваше предложение не увязано с НКПС и не треба широчайшим рабочим и крестьянам.

Велосипедкин. При чем тут НКПС? Что за головотяпство!

Чудаков. Конечно, нельзя предугадать всей грандиозности последствий, и возможно, возможно со временем применить с пользой мое изобретенье и к транспортным задачам — при максимальной быстроте и почти вне времени...

Велосипедкин. Ну, да, да, можно и с НКПС увязать. Например, садитесь вы в три часа ночи, а в пять утра — уже в Ленинграде.

Оптимистенко. Ну вот, а я что сказал? Отказать! Нежизненно. И зачем нам быть в пять утра в Ленинграде, когда все учреждения еще же ж закрыты? (*Загорается красная лампочка телефона. Слышает, кричит.*) Ночкина — к товарищу Победоносикову!

Отстраняясь от бросившихся к нему Чудакова и Велосипедкина, к дверям Победоносикова трусит рысцой Ночкин. Кабинет Победоносикова.

Победоносиков (*крутя и дуя в вертушку*). Тьфу! Иван Никанорыч? Здорово, Иван Никанорыч! Я тебя попрошу

два билета. Ну да, международным. Как, уже не заведуешь? Тыфу! С этой нагрузкой просто отрываешься от масс. Нужен билет, так неизвестно, кому телефонить! Алло, алло! (*К машинистке.*) На чем остановились?

Ундертон. «Итак, товарищи...»

Победоносиков. «Итак, товарищи, Александр Семёнович Пушкин, непревзойденный автор как оперы «Евгений Онегин», так и пьесы того же названия...»

Ундертон. Простите, товарищ Победоносиков, но вы сначала пустили трамвай, потом усадили туда Толстого, а теперь влез Пушкин — без всякой трамвайной остановки.

Победоносиков. Какой Толстой? При чем трамвай?! Ах да, да! С этими постоянными приветствиями.. Попрошу без возражений! Я здесь выдержанно и усовершенствованно пишу на одну тему и без всяких уклонов в сторону, а вы... И Толстой, и Пушкин, и даже, если хотите, Байрон — это всё хотя и в разное время, но союбильщики, и вообще. Я, может, напишу одну общую руководящую статью, а вы могли бы потом, без всяких извращений самокритики, разрезать статью по отдельным вопросам, если вы вообще на своем месте. Но вы вообще больше думаете про покрасить губки и припудриться, и вам не место в моем учреждении. Давно пора за счет молодых комсомолок оработать секретариат. Попрошу-с сегодня же...

Входит Бельведонский.

Здравствуйте, здравствуйте, товарищ Бельведонский! Задание выполнено? В ударном порядке?

Бельведонский. Выполнено, конечно, выполнено. Почти не смыкая глаз, так сказать, в социалистическом соревновании с самим с собой, но выполнено все согласно социальному заказу и авансу на все триста процентов. Изволите, товарищ, взглянуть на вашу будущую мебель?

Победоносиков. Продемонстрируйте!

Бельведонский. Извольте! Вы, разумеется, знаете и видите, как сказал знаменитый историк, что стили бывают разных Луёв. Вот это Луи Каторз Четырнадцатый, прозванный так французами после революции сорок восьмого года за то, что шел непосредственно после тринадцатого. Затем вот это Луи Жакоп, и, наконец, позволю себе и посоветую, как наиболее современное, Луи Мове Гу.

Победоносиков. Стили ничего, чисто подобраны. А как цена?

Бельведонский. Все три Луя приблизительно в одну цену.

Победоносиков. Тогда, я думаю, мы остановимся на Луе Четырнадцатом. Но, конечно, в согласии с требованием РКИ об удешевлении, предложу вам в срочном порядке выпрямить у стульев и диванов ножки, убрать золото, покрасить под мореный дуб и разбросать там и сям советский герб на спинках и прочих выдающихся местах.

Бельведонский. Восхитительно! Свыше пятнадцати Людовиков было, а до этого додуматься не могли, а вы сразу — по-большевицки, по-революционному! Товарищ Победоносиков, разрешите мне продолжить ваш портрет и запечатлеть вас как новатора-администратора, а также распределителя кредитов. Тюрьма и ссылка по вас плачет, журнал, разумеется. Музей революции по вас плачет, — оригинал туда — оторвут с руками! А копии с небольшой рассрочкой и при удержании из жалованья расхватают признательные служивцы. Позвольте?

Победоносиков. Ни в каком случае! Для подобных глупостей я, конечно, от кормила власти отрываться не могу, но если необходимо для полноты истории и если на ходу, не прерывая работы, то пожалуйста. Я сяду здесь, за письменным столом, но ты изобрази меня ретроспективно, то есть как будто бы на лошади.

Бельведонский. Лошадь вашу я уже дома нарисовал по памяти, вдохновлялся на бегах и даже, не поверите, в нужных местах сам в зеркало гляделся. Мне теперь только вас к лошади присобачить остается. Разрешите отодвинуть в сторону корзиночку с бумажками. Какая скромность при таких заслугах! Очистите мне линию вашей боевой ноги. Как сапожок чисто блестит, прямо — хоть лизни. Только у Микель Анжело встречалась такая чистая линия. Вы знаете Микель Анжело?

Победоносиков. Анжелов, армянин?

Бельведонский. Итальянец.

Победоносиков. Фашист?

Бельведонский. Что вы!

Победоносиков. Не знаю.

Бельведонский. Не знаете?

Победоносиков. А он меня знает?

Бельведонский. Не знаю... Он тоже художник.

Победоносиков. А! Ну, он мог бы и знать. Знаете, художников много, главначчупус — один.

Бельведонский. Карандаш дрожит. Не передать диалектику характера при общей бытовой скромности. Самоуважение у вас, товарищ Победоносиков, титаническое! Блесните глазами через правое плечо и через самопишувшую ручку-с. Позвольте увековечить это мгновение.

Победоносиков. Войдите!

Входит Ночкин.

Вы??!

Ночкин. Я...

Победоносиков. Двести тридцать?

Ночкин. Двести сорок.

Победоносиков. Пропили?..

Ночкин. Проиграл.

Победоносиков. Чудовищно! Непостижимо! Кто? Растратчик! Где? У меня! В какое время? В то время, когда я веду мое учреждение к социализму по гениальным стопам Карла Маркса и согласно предписаниям центра...

Ночкин. Ну что ж, Карл Маркс тоже в карты поигрывал.

Победоносиков. Карл Маркс? В карты? Никогда!!!

Ночкин. Ну вот, никогда... А что писал Франц Меринг? Что он писал на семьдесят второй странице своего капитального труда «Карл Маркс в личной жизни»? Играл! Играл наш великий учитель...

Победоносиков. Я, конечно, читал и знаю Меринга. Во-первых, он преувеличивает, а во-вторых, Карл Маркс действительно играл, но не в азартные, а в коммерческие игры.

Ночкин. А вот одноклассник, знаток и современник, известный Людвиг Фейербах, пишет, что и в азартные.

Победоносиков. Ну да, я читал, конечно, товарища Фейербахова. Карл Маркс иногда играл и в азартные, но не на деньги...

Ночкин. Нет... На деньги.

Победоносиков. Да, но на свои, а не на казенные.

Ночкин. Положим, каждый, штудировавший Маркса, знает, что был, правда, однажды памятный случай и с казенными.

Победоносиков. Конечно, этот исторический случай заставит нас, ввиду исторического прецедента, подойти внимательнее к вашему проступку, но все же...

Н оч к и н. Да бросьте вы вола вертеть! Не играл никогда Карл Маркс ни в какие карты. Да что мне вам рассказывать! Разве вы человека поймете? Вам только чтоб образцам да параграфам соответствовало. Эх ты, портфель набитый! Клипса канцелярская!

П о б е д о н о с и к о в. Что?! Издеваться? И над своим непосредственным, ответственным начальством и над посредственной... да нет, что я говорю! над безответственной тенью Маркса... Не пускать! Задержать!!!

Н оч к и н. Товарищ Победоносиков, не утруждайте себя звонками, я сам в МУУР сообщу.

П о б е д о н о с и к о в. Прекращу! Не позволю!!!

Б е л ь в е д о н с к и й. Товарищ Победоносиков! Мгновение! Сохраните позу, как таковую. Дайте увековечить это мгновеньице.

У н д е р т о н. Ха-ха-ха!

П о б е д о н о с и к о в. Сочувствие? Растратчику? Смеяться? Да еще накрашенными губами?.. Вон! (*Один, накручивая вертушку.*) Алло, алло! Фу, фу!.. Кто это! Александр Петрович. Да я ж тебя три дня... Прошел? Поздравляю. Ну еще бы, еще бы! Какие могут быть сомнения!.. Как всегда, целыми днями, целыми ночами... Да, наконец сегодня... Два билета. Мягкие. Первый. Со стенографисткой. При чем тут РКИ? Необходимо додиктовать отчет. Какое имеют значение двести сорок рублей туда и обратно? Да проведем их как суточные или еще какие-нибудь. В ударном порядке, с курьером... Ну, конечно, твое продвину... Вот, вот! Зеленый Мыс... Мне. Ну, жму руку, с ответственным приветом. (*Бросает трубку. Мотивом тореадора.*) Алло, алло!

Приемная. Ч у д а к о в и В е л о с и п е д к и н наступают.

О п т и м и с т е н к о. Да куда же вы прете, наконец? Имейте же уважение к трудам и деятельности государственного персонала.

Входит М е з а л ь я н с о в а. Снова рванулись Чудаков и Велосипедкин.

Нет, нет... Вне очереди, согласно телефонограмме... (*Проводит под ручку, выговаривая.*) Все готово... А як же ж. Я ему рассказал со значением, что супруга его по комсомольцам пошла. Он спервоначалу как рассердится! Не потерплю, говорит, небрезганные ухаживания без сериозного стажа и служебного

базиса, а потом даже обрадовался. Секретаршу уже ликвидировал по причинам неэтичности губ. Идите прямо, не бойтесь! И под каждым ей листком был уже готов местком...

Мезальянсова уходит.

Чудаков. Ну, вот, теперь эту пропустили! Товарищ, да поймите же вы — никакая научная, никакая нечистая сила уже не может остановить надвигающееся. Если мы не вынесем опыт в пространства над городом, то может даже быть взрыв.

Оптимистенко. Взрыв? Ну, это вы оставьте! Не угрожайте государственному учреждению. Нам нервничать и волноваться невдобно, а когда будет взрыв, тогда и заявим на вас куда следует.

Велосипедкин. Да пойми ты, дурья голова!.. Это тебя надо распрозаявить и куда следует и куда не следует. Люди горят работать на всю рабочую вселенную, а ты, слепая кишкa, канцелярскими разговорами мочишься на их энтузиазм. Да?

Оптимистенко. Попрошу-с не упирать на личность! Личность в истории не играет особой роли. Это вам не царское время. Это раньше требовался энтузиазм. А теперь у нас исторический материализм, и никакого энтузиазму с вас не спрашивается.

Мезальянсова входит.

Расходитесь, граждане, прием закрыт.

Мезальянсова (*с портфелем*). О баядера, перед твоей красотой! Тара-рам-тара-рам...

III ДЕЙСТВИЕ

Сцена — продолжение театральных рядов. В первом ряду несколько свободных мест. Сигнал: «Начинаем». Публика смотрит в бинокли на сцену, сцена смотрит в бинокли на публику. Начинаются свистки, топанье, крики: «Время!»

Режиссер. Товарищи, не волнуйтесь! На несколько минут придется задержать третье действие по независящим обстоятельствам.

Минута, снова крики: «Время!»

Одну минуту, товарищи! (*В сторону.*) Ну что, идут? Неудобно так затягивать. Переговорить, наконец, можно и потом, пройди-

те в фойе, как-нибудь вежливо намекните. А, идут!.. Пожалте, товарищи. Нет, что вы! Очень приятно! Ну, несущественно, одну минуту, даже полчаса, это ж не поезд, всегда можно задержать. Каждый понимает, в такое время живем. Могут быть всякие там государственные, даже планетарные дела. Вы смотрели первый и второй акт? Ну, как, как? Нас всех, конечно, интересует впечатление и вообще взгляд...

Победоносиков. Ничего, ничего! Мы вот говорим с Иваном Ивановичем. Остро схвачено. Подмечено. Но все-таки это как-то не то...

Режиссер. Так ведь это все можно исправить, мы всегда стремимся. Вы только сделайте конкретные указания,— мы, конечно... оглянуться не успеете...

Победоносиков. Сгущено все это, в жизни так не бывает... Ну, скажем, этот Победоносиков. Неудобно все-таки... Изображен, судя по всему, ответственный товарищ, и как-то его выставили в таком свете и назвали еще как-то «главначпупс». Не бывает у нас таких, ненатурально, не жизненно, непохоже! Это надо переделать, смягчить, опозитизировать, округлить...

Иван Иванович. Да, да, это неудобно! У вас есть телефон? Я позвоню Федору Федоровичу, он, конечно, пойдет навстречу... Ах, во время действия неудобно? Ну, я потом. Товарищ Моментальников, надо открыть широкую кампанию.

Моментальников

Эчеленца, прикажите!

Аппетит наш невелик.

Только слово, слово нам скажите,—
изругаем в тот же миг.

Режиссер. Что вы! Что вы, товарищи! Ведь это в порядке опубликованной самокритики и с разрешения Гублица выведен только в виде исключения литературный отрицательный тип.

Победоносиков. Как вы сказали? «Тип»? Разве же так можно выражаться про ответственного государственного деятеля? Так можно сказать только про какого-нибудь совсем беспартийного прощелыгу. Тип! Это все-таки не «тип», а как-никак поставленный руководящими органами главначпупс, а вы — тип!! И если в его действиях имеются противозаконные нарушения, надо сообщить куда следует на

предмет разбирательства и, наконец, проверенные прокуратурой сведения — сведения, опубликованные РКИ, претворить в символические образы. Это я понимаю, но выводить на общее посмешище в театре...

Режиссер. Товарищ, вы совершенно правы, но ведь это по ходу действия.

Победоносиков. Действия? Какие такие действия? Никаких действий у вас быть не может, ваше дело показывать, а действовать, не беспокойтесь, будут без вас соответствующие партийные и советские органы. А потом, надо показывать и светлые стороны нашей действительности. Взять что-нибудь образцовое, например, наше учреждение, в котором я работаю, или меня, например...

Иван Иванович. Да, да, да! Вы пойдите в его учреждение. Директивы выполняются, циркуляры проводятся, рационализация налаживается, бумаги годами лежат в полном порядке. Для прошений, жалоб и отношений — конвейер. Настоящий уголок социализма. Удивительно интересно!

Режиссер. Но, товарищ, позвольте...

Победоносиков. Не позволю!!! Не имею права и даже удивляюсь, как это вообще вам позволили! Это даже дискредитирует нас перед Европой. (*Мезальянской.*) Это вы не переводите, пожалуйста...

Мезальянсова. Ах, нет, нет, ол райт! Он только что поел икры на банкете и теперь дремлет.

Победоносиков. А кого вы нам противопоставляете? Изобретателя? А что он изобрел? Тормоз Вестингауза он изобрел? Самопишущую ручку он выдумал? Трамвай без него ходит? Рациолярию он канцеляризовал?

Режиссер. Как?

Победоносиков. Я говорю, канцелярию он рационализировал? Нет! Тогда об чем толк? Мечтателей нам не нужно! Социализм — это учет!

Иван Иванович. Да, да. Вы бывали в бухгалтерии? Я бывал в бухгалтерии — везде цифры и цифры, и маленькие, и большие, самые разные, а под конец все друг с другом сходятся. Учет! Удивительно интересно!

Режиссер. Товарищ, не поймите нас плохо. Мы можем ошибаться, но мы хотели поставить наш театр на службу борьбы и строительства. Посмотрят — и заработают, посмотрят — и взбудоражатся, посмотрят — и разоблачат.

Победоносиков. А я вас попрошу от имени всех рабочих и крестьян меня не будоражить. Подумаешь, бу-

дильник! Вы должны мне ласкать ухо, а не будоражить. ваше дело ласкать глаз, а не будоражить.

Мезальянсова. Да, да, ласкать...

Победоносиков. Мы хотим отдохнуть после государственной и общественной деятельности. Назад, к классикам! Учитесь у величайших гениев проклятого прошлого. Сколько раз я вам говорил. Помните, как пел поэт:

После разных заседаний —
нам не радость, не печаль,
нам в грядущем нет желаний,
нам, тарам, тарам, не жаль...

Мезальянсова. Ну, конечно, искусство должно отображать жизнь, красивую жизнь красивых живых людей. Покажите нам красивых живчиков на красивых ландшафтах и вообще буржуазное разложение. Даже если это нужно для агитации, то и танец живота. Или, скажем, как идет на прогнившем Западе свежая борьба со старым бытом. Показать, например, на сцене, что у них в Париже женотдела нет, а зато фокстрот, или какие юбки нового фасона носит старый одряхлевший мир — сконапель — бо монд¹. Понятно?

Иван Иванович. Да, да! Сделайте нам красиво! В Большом театре нам постоянно делают красиво. Вы были на «Красном маке»? Ах, я был на «Красном маке». Удивительно интересно! Везде с цветами порхают, поют, танцуют разные эльфы и... сифилиды.

Режиссер. Сильфиды, вы хотели сказать?

Иван Иванович. Да, да, да! Это вы хорошо заметили — сильфиды. Надо открыть широкую кампанию. Да, да, да, летают разные эльфы... и цвельфы... Удивительно интересно!

Режиссер. Простите, но эльфов было уже много, и их дальнейшее размножение не предусмотрено пятилеткой. Да и по ходу пьесы они нам как-то не подходят. Но относительно отдыха я вас, конечно, понимаю, и в пьесу будут введены соответствующие изменения в виде бодрых и грациозных дополнительных вставок. Вот, например, и так называемый товарищ Победоносиков, если дать ему щекотящую тему, — может всех расхочотать. Я сейчас же сделаю пару указаний, и роль просто разалмазится. Товарищ Победоносиков, возьмите в руки какие-нибудь три-четыре предмета, например, ручку,

¹ Высший свет (франц. beau monde). — Ред.

подпись, бумагу и партмаксимум, и сделайте несколько жонглерских упражнений. Бросайте ручку, хватайте бумагу — ставьте подпись, берите партмаксимум, ловите ручку, берите бумагу — ставьте подпись, хватайте партмаксимум. Раз, два, три, четыре. Раз, два три, четыре. Сов-день — парт-день — бю-ро-кра-та. Сов-день — парт-день — бю-ро-кра-та. Доходит?

Победоносиков (*восторженно*). Хорошо! Бодро! Никакого упадничества — ничего не роняет. На этом можно размяться.

Мезальянсова. Вуй, сэ трэ педагогик¹.

Победоносиков. Легкость телодвижений, нравоучительная для каждого начинающего карьеру. Доступно, просто, на это можно даже детей водить. Между нами, мы — молодой класс, рабочий — это большой ребенок. Оно, конечно, суховато, нет этой округленности, сочности...

Режиссер. Ну, если вам это нравится, здесь горизонты фантазии необъятны. Мы можем дать прямо символистическую картину из всех наличных актерских кадров. (*Хлопает в ладоши.*)

Свободный мужской персонал — на сцену! Станьте на одно колено и согнитесь с порабощенным видом. Сбивайте невидимой киркой видимой рукой невидимый уголь. Лица, лица мрачнее. Темные силы вас злобно гнетут. Хорошо! Пошли!..

Вы будете капитал. Станьте сюда, товарищ капитал. Танцуйте над всеми с видом классового господства. Воображаемую даму обнимайте невидимой рукой и пейте воображаемое шампанское. Пошли! Хорошо! Продолжайте! Свободный женский состав — на сцену!

Вы будете — свобода, у вас обращение подходящее. Вы будете — равенство, значит, все равно, кому играть. А вы — братство, — другие чувства вы все равно не вызовете. Приготовились! Пошли! Подымайте воображаемым призывом воображаемые массы. Заражайте, заражайте всех энтузиазмом! Что вы делаете?!

Выше вздымайте ногу, симулируя воображаемый подъем. Капитал, подтанцовывайте налево с видом Второго Интернационала. Чего руками размахались! Протягивайте щупальцы имперализма... Нет щупальцев? Тогда нечего лезть в актеры. Протягивайте что хотите. Соблазняйте воображаемым богатством танцующих дам. Дамы, отказывайтесь резким

¹ Да, это очень педагогично (*франц.* Oui, c'est très pédagogique). — Ред.

движением левой руки. Так, так, так! Воображаемые рабочие массы, восстаньте символистически! Капитал, красиво падайте! Хорошо!

Капитал, издыхайте эффектно!

Дайте красочные судороги!

Превосходно!

Мужской свободный состав, сбрасывайте воображаемые оковы, вздымайтесь к символу солнца. Размахивайте победоносно руками. Свобода, равенство и братство, симулируйте железную поступь рабочих когорт. Ставьте якобы рабочие ноги на якобы свергнутый якобы капитал.

Свобода, равенство и братство, делайте улыбку, как будто радуетесь.

Свободный мужской состав, притворитесь, что вы — «кто был ничем», и вообразите, что вы — «тот станет всем». Взбирайтесь на плечи друг друга, отображая рост социалистического соревнования.

Хорошо!

Постройте башню из якобы могучих тел, олицетворяя в пластическом образе символ коммунизма.

Размахивайте свободной рукой с воображаемым молотом в такт свободной стране, давая почувствовать пафос борьбы.

Оркестр, подбавьте в музыку индустриального грохота. Так! Хорошо!

Свободный женский состав — на сцену!

Увивайте воображаемыми гирляндами работников вселенной великой армии труда, символизируя цветы счастья, расцветшие при социализме.

Хорошо! Извольте! Готово!

Отдохновенная пантомима на тему —

«Труд и капитал
актеров напитал».

Победоносиков. Браво! Прекрасно! И как вы можете с таким талантом размениваться на злободневные мелочи, на пустяшные фельетоны? Вот это подлинное искусство — понятно и доступно и мне, и Ивану Ивановичу, и массам.

Иван Иванович. Да, да, удивительно интересно! У вас есть телефон? Я позвоню... Кому-нибудь позвоню. Прямо душа через край. Это заражает! Товарищ Моментальников, надо открыть широкую кампанию.

М о м е н т а л ь н и к о в

Эчеленца, прикажите!
Аппетит наш невелик.
Только хлеба-зрелищ нам дадите,—
всё похвалим в тот же миг.

П о б е д о н о с и к о в. Очень хорошо! Всё есть! Вы только введите сюда еще самокритику, этаким символистическим образом, теперь это очень своевременно. Поставьте куда-нибудь в сторонку столик, и пусть себе статьи пишет, пока вы здесь своим делом занимаетесь. Спасибо, до свидания! Я не хочу опошлять и отяжелять впечатления после такой изящной концовочки. С товарищеским приветом!

И в а н И в а н о в и ч. С товарищеским приветом! Кстати, как фамилия этой артисточки, третья сбоку? Очень красивое и нежное... дарование... Надо открыть широкую кампанию, а можно даже и узкую, ну так... я и она. Я позвоню по телефону. Или пускай она позвонит.

М о м е н т а л ь н и к о в

Эчеленца, прикажите!
Стыд природный невелик.
Только адрес, адрес нам дадите,—
стелефоним в тот же миг.

Два капельдинера останавливают лезущего в первый ряд В е л о с и п е д к и н а.

К а п е л ь д и н е р. Гражданин, а гражданин, вас вежливо просят, убирайтесь вы отсюда! Куда вы прете?

В е л о с и п е д к и н. Мне нужно в первый ряд...

К а п е л ь д и н е р. А бесплатных пирожных вам не нужно? Вас вежливо просят, гражданин, а гражданин? У вас билет в рабочей полосе, а вы в чистую публику прете.

В е л о с и п е д к и н. Я иду в первый ряд к товарищу Победоносикову по делу.

К а п е л ь д и н е р. Гражданин, а гражданин, в театр для удовольствий ходят, а не по делу. Вам вежливо говорят, катитесь отсюда колбасой!

В е л о с и п е д к и н. Удовольствие дело послезавтрашнее, а я по делу по сегодняшнему, и, если будет надо, не только первый — мы вам все ряды переворотим с ложками.

Капельдинер. Гражданин, вам вежливо говорят, выметайтесь отсюда! За гардероб не платили, программу не купили, да еще без билета!

Велосипедкин. Да я не смотреть пришел. С моим делом я и по партийному билету сюда пройду... Я к вам, товарищ Победоносиков!

Победоносиков. Чего вы кричите? И кто это такой? Какой-то Победоносиков??!

Велосипедкин. Шутки в сторону, бросьте играться. Вы и есть он, и я к вам, который и есть главначпупс Победоносиков.

Победоносиков. Надо-с узнать если не имя-отчество, то хотя бы фамилию, прежде чем обращаться к выше-сидящему ответственному товарищу.

Велосипедкин. Так как ты ответственный, ты и отвечай, почему у тебя в канцелярии замораживают изобретение Чудакова? В нашем распоряжении минуты. Несчастье будет непоправимо. Отпустите немедленно деньги, вынесем опыт на максимальное возвышенное место и...

Победоносиков. Что за чепуха?! Какой Чудаков? Какие возвышенности? И я вообще сам сегодня выезжаю на возвышенности Кавказа.

Велосипедкин. Чудаков — это изобретатель...

Победоносиков. Изобретателей много, а я один, и вообще прошу не беспокоить меня хотя бы в редкие, урегулированные подлежащими инстанциями минуты отдыха. Зайдите в пятницу.

Режиссер усиленно машет рукой Велосипедкину.

Велосипедкин. К тебе зайдут — и не в пятницу, а сегодня, и не я, а...

Победоносиков. Пускай заходит кто угодно, и не ко мне, а к моему заместителю. Если в приказе объявлено о моем отпуске, значит, меня нет. Надо понимать конструкцию нашей конституции.

Это безобразие!

Велосипедкин (*к Ивану Ивановичу*). Втолкуйте ему, втелефонируйте ему, вы же обещали!

Иван Иванович. Приставать с делами к лицу, находящемуся в отпуску!!! Удивительно интересно! У вас есть телефон? Я позвоню Николаю Александровичу. Надо беречь здоровье старых ответственных, пока они еще молоды.

Режиссер. Товарищ Велосипедкин, умоляю вас, не устраивайте скандала! Он же ж не из пьесы. Он просто похож, и умоляю вас, чтоб они не догадались. Вы получите полное удовлетворение по ходу действия.

Победоносиков. Прощайте, товарищ! Нечего сказать, называетесь прреволюционным театром, а сами раздражаете... как это вы сказали?.. будоражите, что ли, ответственных работников. Это не для масс, и рабочие и крестьяне этого не поймут, и хорошо, что не поймут, и объяснять им этого не надо. Что вы из нас каких-то действующих лиц делаете? Мы хотим быть бездейственными... как они называются? — зрителями. Не-еет! В следующий раз я пойду в другой театр!

Иван Иванович. Да, да, да! Вы видали «Вишневую квадратуру»? А я был на «Дяде Турбинах». Удивительно интересно!

Режиссер (*Велосипедкину*). Что вы наделали? Вы чуть не сорвали весь спектакль. Пожалте на сцену!

Пьеса продолжается!

IV ДЕЙСТВИЕ

Сцена переплетена входными лестницами. Углы лестниц, площадки и двери квартир. На верхнюю площадку выходит одетый и с чемоданом Победоносиков. Пытается плечом придавить дверь, но Поля распахивает дверку и выбегает на площадку. Кладет руку на чемодан.

Поля. Что ж, я так и останусь?.. Не смешно!

Победоносиков. Я прошу тебя прекратить этот разговор. Какое семейное мещанство! Каждый врач скажет, что для полного отдыха необходимо вырвать себя, именно себя, а не тебя, из привычной среды, ну и я еду восстановить важный государству организм, укрепить его в разных гористых местностях.

Поля. Я же знаю, ну, видела,— тебе принесли два билета. Я могла думать... Ну, чем, чем я тебе мешаю? Смешно!

Победоносиков. Оставь ты эти мещанские представления об отдыхе. Мне на лодках кататься некогда. Это мелкие развлечения для разных секретарей. Плыви, моя гондола! У меня не гондола, а государственный корабль. Я тебе не загорать еду. Я всегда обдумываю текущий момент, а потом там... доклад, отчет, резолюция — социализм. По моему

общественному положению мне законом присвоена стенографистка.

П о л я . Когда я твоей стенографии мешала? Смешно! Ну, хорошо, ты перед другими ханжишь, стараешься, но чего ты меня обманываешь? Не смешно. Чего ты меня ширмой держишь?! Пусти ты меня, ради бога, и стенографирай хоть всю ночь! Смешно!

П о б е д о н о с и к о в . Тс... Ты меня компрометируешь своими неорганизованными, тем более религиозными выкриками. «Ради бога». Тсс... Внизу живет Козляковский, он может передать Павлу Петровичу, а тот знаком домами с Семеном Афанасьевичем.

П о л я . Чего скрывать? Смешно!

П о б е д о н о с и к о в . Тебе, тебе нужно скрывать, скрывать твои бабы мещанские, упадочные настроения, создавшие такой неравный брак. Ты вдумайся хотя бы перед лицом природы, на которую я еду. Вдумайся! Я — и ты! Сейчас не то время, когда достаточно было идти в разведку рядом и спать под одной шинелью. Я поднялся вверх по умственной, служебной и по квартирной лестнице. Надо и тебе уметь самообразовываться и диалектически лавировать. А что я вижу в твоем лице? Пережиток прошлого, цепь старого быта!

П о л я . Я тебе мешаю? Чем? Смешно! Это ты из меня сделал ощипанную наседку.

П о б е д о н о с и к о в . Тсс!!! Довольно этой ревности! Сама шляешься по чужим квартирам. Комсомольские удовольствия, да? Думаешь, я не знаю? Не могла себе даже хахалей найти сообразно моему общественному положению. Шкодливая юбконосица!

П о л я . Замолчи! Не смешно!

П о б е д о н о с и к о в . Тсс!!! Я тебе сказал, внизу живет Козляковский. Зайдем в квартиру. Это надо, наконец, кончить!

Хлопает дверью, вталкивая Полю в квартиру. На нижней ступеньке показывается В е л о с и п е д к и н , за ним Ч у д а к о в , груженный невидимой машиной. Невидимую машину поддерживают Д в о й к и н и Т р о й к и н .

В е л о с и п е д к и н . Нажимай, товарищи! Еще ступенек двадцать. Тащи тихо! Чтоб он не спрятался опять за секретарей и бумажки. Пускай эта бомба времени разорвется у него.

Ч у д а к о в . Боюсь, не успеем донести. Просчет в десятую секунды даст разницу в целый час по нашему времени.

Двойкин. Ты чувствуешь, как нагреваются части под рукой? Стекло закипает.

Тройкин. С моей стороны планка накаляется до невозможности. Плита! Честное слово, плита! С трудом держусь, чтоб не разжать ладонь.

Чудаков. Тяжесть машины увеличивается с каждой секундой. Я почти могу поручиться, что в машине материализуется постороннее тело.

Двойкин. Товарищ Чудаков, топай скорей! Поддерживать нет возможности. Огонь несем!!!

Велосипедкин (*подбегает и поддерживает, обжигаясь*). Товарищи, не сдавайтесь. Еще ступенек десять — пятнадцать, он сейчас же здесь, наверху. О, черт, адово пламя! (*Отрывает обожженную руку.*)

Чудаков. Тащить дальше нельзя. Видимо, остаются секунды. Скорее! Хотя б до площадки! Сваливайте здесь!

Из двери выбегает Победоносиков, дверь захлопывает, потом стучит. Дверь приоткрывается, показывается Поля.

Победоносиков. Ты, конечно, не волнуйся... Ты, Полечка, помни, что ты *сама* можешь понять, что нашу жизнь, мою жизнь может устроить только твое доброе желание.

Поля. Мое? Сама? Не смешно.

Победоносиков. Кстати, я забыл спрятать браунинг. Он *мне*, должно быть, не пригодится. Спрячь, пожалуйста. Помни, он заряжен, и, чтоб выстрелить, надо только отвесть вот этот предохранитель. Прощай, Полечка!

Захлопывает дверь, прижимает ухо к замочной скважине, прислушивается. На нижней ступеньке показывается Мезальянсова.

Мезальянсова. Носик, ты скоро?

Победоносиков. Т-с-с-с!!!

Грохот, взрыв, выстрел. Победоносиков распахивает дверь и бросается в квартиру. На нижней площадке фейерверочный огонь. На месте поставленного аппарата светящаяся женщина со свитком в светящихся буквах. Горит слово «Мандат». Общее остоубенение. Выскакивает Оптимистенко, на ходу подтягивает брюки, вочных туфлях на босы ноги, вооружен.

Оптимистенко. Где? Кого?!

Фосфорическая женщина. Привет, товарищи! Я делегатка 2030 года. Я включена на двадцать четыре часа в сегодняшнее время. Срок короткий, задания чрезвычайные. Проверьте полномочия и оповеститесь.

Оптимистенко (*брасается к делегатке, всматривается в мандат, скороговоркой проборматывая текст*). «Институт истории рождения коммунизма...» Так... «Даны полномочия...» Правильно... «Отобрать лучших...» Ясно... «для переброски в коммунистический век...» Что делается-то! Что делается, господи!.. (*Брасается вверх по ступенькам.*)

На пороге появляется раздраженный Победоносиков.

Товарищ Победоносиков, к вам делегат из центру.

Победоносиков снимает кепку, роняет чемодан, растерянно пробегает мандат, потом торопливо приглашает рукой в квартиру. К Оптимистенко шепотом, потом к Фосфорической женщине.

Победоносиков (*к Оптимистенко*). Накрути хвост вертушке. Справься там, знаешь у кого, возможная ли эта вещь, сообразно ли это с партэтикой и мыслимо ли безбожнику верить в такие сверхъестественные явления. (*К Фосфорической женщине.*) Я, конечно, уже в курсе этого дела, и мною оказано всемерное содействие. Ваши компетентные органы поступили вполне продуманно, направив вас ко мне. У нас этот вопрос уже прорабатывается в комиссии и сейчас же за получением руководящих директив будет с вами согласован. Пройдите прямо в мой кабинет, не обращая внимания на некоторое мещанство вследствие неувязки равенства культурного уровня супружества. (*К Велосипедкину.*) Пожалуйста! Я ж вам говорил — заходите прямо ко мне!

Победоносиков пропускает Фосфорическую женщину, постепенно охлаждающуюся и приходящую в нормальный вид.

(*К подбежавшему Оптимистенко.*) Ну, что, что?

Оптимистенко. Оне смеются и говорят, что это за границей человеческого понимания.

Победоносиков. Ах, за границей! Значит, надо с ВОКСом увязать. Самую мельчайшую вещь надо растолковывать. Сами ни малейшей инициативы не могут проявить. Товарищ Мезальянсова, стенография откладывается. Подымайтесь вверх для немедленной сверхурочной культурной связи.

В Д Е Й С Т В И Е

Установка второго действия, только беспорядочная. Надпись: «Бюро по отбору и переброске в коммунистический век». Вдоль стены сидят Мезальянсова, Бельведонский, Иван Иванович, Кич, Победоносиков. Оптимистенко секретарствует на приеме. Победоносиков ходит недовольный, придерживая двумя руками два портфеля.

Оптимистенко. В чем дело, гражданин?

Победоносиков. Нет, так это продолжаться не может! Я об этом еще поговорю. Я и в стенную газету про это напишу. Обязательно напишу!!! С бюрократизмом и протекционизмом надо бороться. Я требую пропустить меня вне очереди!

Оптимистенко. Товарищ Победоносиков, да какой же может быть бюрократизм перед проверкой и перед отбором? Не треба вам ее беспокоить. Идите себе вне очереди. Вот очередь пройдет, и валяйте прямо сами по себе и без всякой очереди.

Победоносиков. Мне нужно сейчас!

Оптимистенко. Сейчас? Пожалуйста, сейчас! Только же ж у вас часы с ихними часами не согласованы. У нее же ж, товарищ, время другое, и как она мне скажет, вы сейчас же ж и пойдете...

Победоносиков. Так ведь мне ж надо в связи с переброской выяснить массу дел: и оклад, и квартиру, и прочее.

Оптимистенко. Тыфу! Да я же ж вам говорю, не суйтесь вы с мелочами в крупное госучреждение! Мы мелочами заниматься не можем. Государство крупными вещами интересуется: фордизмы разные, машины времени, то, сё...

Иван Иванович. Вы когда-нибудь бывали в очереди? Я первый раз бываю в очереди. Удивительно неинтересно!

Бывший кабинет Победоносикова полон. Приподнятость и боевой беспорядок первых октябрьских дней. Фосфорическая женщина говорит.

Фосфорическая женщина. Товарищи, сегодняшняя встреча — наспех. Со многими мы проведем года. Я расскажу вам еще много подробностей нашей радости. Едва разнеслась весть о вашем опыте, ученыe установили дежурство. Они много помогли вам, учитывая и корректируя ваши неизбежные просчеты. Мы шли друг к другу, как две бригады, прорывающие тоннель, пока не встретились сегодня. Вы сами не видите всей грандиозности ваших дел. Нам виднее: мы знаем, что вошло в жизнь. Я с удивлением оглядывала квартирки, исчезнувшие у нас и тщательно реставрируемые музеями, и

я смотрела гиганты стали и земли, благодарная память о которых, опыт которых и сейчас высится у нас образцом коммунистической стройки и жизни. Я разглядывала незаметных вам засаленных юношей, имена которых горят на плитах аннулированного золота. Только сегодня из своего краткого облета я оглядела и поняла мощь вашей воли и грохот вашей бури, выросшей так быстро в счастье наше и в радость всей планеты. С каким восторгом смотрела я сегодня ожившие буквы легенд о вашей борьбе — борьбе против всего вооруженного мира паразитов и поработителей. За вашей работой вам некогда отойти и полюбоваться собой, но я рада сказать вам о вашем величии.

Чудаков. Товарищ, простите, я вас перебью. Но времени остается наших шесть часов, и мне нужны ваши последние указания. Сколько будет отправлено, год назначения, быстрота?

Фосфорическая женщина. Направление — бесконечность, скорость — секунда — год, место — 2030 год, сколько и кто — неизвестно. Известна только станция назначения. Здесь — ценность неясна. Будущему прошлое — ладонь. Примут тех, кто сохранится в ста годах. Приступайте, товарищ! Кто с вами?

Фоскин. Я!

Двойкин. Я!

Тройкин. Я!

Фосфорическая женщина. А кто из математиков — для чертежей и руководства?

Фоскин. Мы!

Двойкин. Мы!

Тройкин. Мы!

Фосфорическая женщина. Как? Вы и рабочие, вы и математики?

Велосипедкин. Очень просто! Мы и рабочие, мы и вузовцы.

Фосфорическая женщина. Для нас просто Я не знала, прост ли для вас переход от конвейера к управлению, от рашипля к арифмететру.

Двойкин. Не такие переходы делали, товарищ. Мы броненосцы делали, потом зажигалки, с зажигалками кончили — штыки начали, штыков наделали — на трактора перешли, да еще всякую учебу на вуз наматывали. И у нас многие не верили, только мы это неверие в рабочий класс ликвидировали. Когда вы наше время изучали, у вас небольшой просчетец вышел. Вы, кажется, про прошлый год думаете?

Фосфорическая женщина. Я вижу, с вашим

подвижным курьерским мозгом встать бы прямо в наши ряды и в нашу работу.

Велосипедкин. Этого мы и боимся, товарищ. Машину мы пустим и, конечно, пойдем, если ячейка пошлет. Но, пожалуйста, лучше пока не берите нас никуда. У нас как раз наш цех на непрерывку переходит — очень важно и интересно знать, выполним ли мы пятилетку в четыре года.

Фосфорическая женщина. Обещаю одно. Остановимся на станции 1934 год для получения справок. Но если таких, как вы, много, то и справок не надо.

Чудаков. Идем, товарищи!

Стена канцелярии. Пробегают Чудаков, Велосипедкин, Двойкин, Тройкин, Фоскин, на ходу сверяя планы. Победоносиков семенит за Чудаковым. Чудаков отмахивается.

Победоносиков (*возбужденно размахивая*). Подумаешь, какой-то Чудаков пользуется тем, что изобрел какой-то аппаратишко времени и познакомился с этой бабой, ответ-женщиной, раньше. Я еще не уверен вообще, что здесь не просто бытовое разложение и вообще связи фридляндского порядка. Полихарacter! Да! Да! (*К Оптимистенко.*) Подчиненный товарищ Оптимистенко, вы же должны понять, что вопрос касается важнейшей вещи о поездке моей, ответственного работника, во главе целого учреждения в столетнюю служебную командировку.

Оптимистенко. Да не согласовано ваше путешествие!

Победоносиков. То есть как это не согласовано? Я уже с утра себе и литеры и мандаты выписал!

Оптимистенко. Ну, видите, а с НКПС не увязано.

Победоносиков. Но при чем же тут НКПС? Это же головотяпство! Это же ж не поезд. Тут в одну секунду сорок человек или восемь лошадей мчат вперед на целый год.

Оптимистенко. Отказать! Нежизненно! Кто же ж согласится ездить в командировку, когда ему за сто лет сугочных треба, а ему секундочные выписывать будут?

Кабинет Победоносикова.

Фосфорическая женщина. Товарищи...

Поля. Прошу слова! Простите за навязчивость, я без всякой надежды, какая может быть надежда! Смешно! Я просто за справкой, что такое социализм. Мне про социализм товарищ Победоносиков много рассказывал, но все это как-то не смешно.

Фосфорическая женщина. Вам недолго осталось ждать. Вы поедете вместе с мужем, с детьми.

П о л я . С детьми? Смешно, у меня нет детей. Муж говорит, что в наше боевое время лучше не связываться с таким несознательным не то элементом, не то алиментом.

Ф осфорическая женщина. Хорошо. Вас не связывают дети, но ведь вас связывает многое другое, раз вы живете с мужем.

П о л я . Живу? Смешно! Я не живу с мужем. Он живет с другими, равными ему умом, развитостью. Не смешно!

Ф осфорическая женщина. Почему же вы называете его мужем?

П о л я . Чтобы все видели, что он против распущенности. Смешно!

Ф осфорическая женщина. Понимаю. Значит, он просто заботится о вас, чтобы у вас все было?

П о л я . Да... он заботится, чтобы у меня ничего не было. Он говорит, что обрастание меня новым платьем компрометирует его в глазах товарищей. Смешно!

Ф осфорическая женщина. Не смешно!

Стена канцелярии. Проходит П о л я .

П о б е д о н о с и к о в . Поля? Ты как здесь? Доносила? Жаловалась?!

П о л я . Жаловалась? Смешно!

П о б е д о н о с и к о в . Ты ей главное рассказала, как мы шли вместе, плечо к плечу, навстречу солнцу коммунизма? Как мы боролись со старым бытом? Женщины любят сентиментальность. Ей это понравилось? Да?

П о л я . Вместе? Смешно!

П о б е д о н о с и к о в . Ты смотри, Поля! Ты не должна запятнать мою честь как члена партии с выдающимся стажем. Ты должна помнить про партийную этику и не выносить сора из избы. Кстати, ты пошла бы в избу, то есть в квартиру, и убрала бы, вынесла сор и уложила вещи. Я еду. Я против совместительства и пока поеду один, а тебя выпишу, когда вообще буду выписывать родственников. Иди домой, Поля, а то...

П о л я . Что «а то»? Не смешно!

Кабинет Победоносикова.

Ф осфорическая женщина. Выбор на ваше учреждение пал случайно, как и изобретения кажутся случайными. Пожалуй, лучшие образцы людей в том учреждении, в котором работают Тройкины и Двойкины. Но у вас на каждой пяди стройка, хорошие экземпляры людей можно вывезти и отсюда.

Ундертон. Скажите, а мне можно с вами?

Фосфорическая женщина. Вы отсюда?

Ундертон. Пока ниоткуда.

Фосфорическая женщина. Как так?

Ундертон. Сократили.

Фосфорическая женщина. Что это значит?

Ундертон. Губы, говорят, красила.

Фосфорическая женщина. Кому?

Ундертон. Себе.

Фосфорическая женщина. Больше ничего не делали?

Ундертон. Перестукивала. Стенографировала.

Фосфорическая женщина. Хорошо?

Ундертон. Хорошо.

Фосфорическая женщина. Отчего же ниоткуда?

Ундертон. Сократили.

Фосфорическая женщина. Почему?

Ундертон. Губы красила.

Фосфорическая женщина. Кому?

Ундертон. Да себе же!

Фосфорическая женщина. Так какое же им дело?

Ундертон. Сократили.

Фосфорическая женщина. Почему?

Ундертон. Губы, говорят, красила!

Фосфорическая женщина. Так зачем же вы красили?

Ундертон. Не покрасить, тогда и совсем не примут.

Фосфорическая женщина. Не понимаю. Если бы вы еще кому-нибудь другому, скажем, приходящим за справками на работе красили бы, ну, тогда бы могли сказать — мешает, посетители обижаются. А так...

Ундертон. Товарищ, вы меня извините за губы. Что мне делать? В подполье я не была, а нос у меня в веснушках, на меня только и внимание обратят, что я губами бросаюсь. Если у вас и без этого на людей смотрят, вы скажите, только покажите вашу жизнь — хоть краешком! Конечно, там у вас все важные... с заслугами, там Победоносиковы разные. Я им на глаза попадаться не буду, но все-таки пустите... Если не подойду, я обратно вернусь... вышлете сейчас же. А в дороге я могу кой-чего поделать, впечатления будете диктовать или отчет в израсходовании — я настукаю.

Н оч к и н. А я подсчитаю. Я лучше у вас в МУУР заявлю, а то пока здесь суды разберутся...

Стена приемной.

П об е д о н о с и к о в. Запишите, занесите в протокол! В таком случае я должен заявить, что я снимаю с себя всякую ответственность, и если вследствие незнамства с предшествующей перепиской, а также неудачного подбора личного состава произойдет катастрофа...

О п т и м и с т е н к о. Ну, это вы оставьте!.. Не угрожайте крупному государственному учреждению, нам нервничать и волноваться невдобно. А если произойдет катастрофа, мы тогда и доведем до сведения милиции на предмет составления протокола.

Проходит Н оч к и н, прячась за У н д е р т о н.

П об е д о н о с и к о в (*останавливая Ночкина и меряя Ундертон глазами*). Как? Еще в учреждении?! Еще на свободе?! Товарищ Оптимистенко! Почему не приняты меры? Но, впрочем, раз вы еще на свободе, вы не можете уклоняться от срочной работы. Надо сообразно с моими командировками выписать подъемные и суточные, исходя из нормального понятия о времени и среднего заработка за сто лет, ну и там командировочные и подотчетные... В случае порчи машины, может, где-нибудь придется простоять, на каком-нибудь глухом полугодии, лет двадцать, тридцать, надо все это предусмотреть и принять во внимание. Нельзя так неорганизованно катиться...

Н оч к и н. А ты организованно катись колбасой!!! (*Скрывается.*)

И ван И ванович. Колбасой? Вы бывали на заседаниях? Я бывал на заседаниях. Безде бутерброды с сыром, с ветчиной, с колбасой — удивительно интересно!

П об е д о н о с и к о в (*один, разваливается в кресле*). Ну, хорошо, я уйду! При таком отношении я скажу, что я ухожу в отставку. Пускай потом изучают меня по воспоминаниям современников и портретам. Я ухожу, но вам же, товарищи, хуже!

Выходит Ф ос ф о р и ч е с к а я ж е н щ и н а.

О п т и м и с т е н к о. Прием закрыт! Придите завтра, в порядке живой очереди.

Ф ос ф о р и ч е с к а я ж е н щ и н а. Какой прием? Какое завтра? Какая очередь??!

О п т и м и с т е н к о (*указывая на вывеску «Без доклада не входить»*). Согласно с основными законами.

Фосфорическая женщина. А, вы эту глупость снять забыли?!

Победоносиков (*вскакивая и идя рядом с Фосфорической женщиной*). Здравствуйте, здравствуйте, товарищ. Простите, что я опоздал, но эти дела... Я все-таки к вам заехал на минутку. Я отказывался. Но никто и слушать не хочет. Езжай, говорят, представительствуй. Ну, раз коллектив просит,— пришлось согласиться. Только имейте в виду, товарищ, я работник центрального значения, пускай другие колхозятся. Вы это учтите заранее и снеситесь. Товарищ Оптимистенко может дать молнией за наш счет. Вы, конечно, сами понимаете, что мне придется предоставить должность согласно стажу и общественному положению как крупнейшему работнику в своей области.

Фосфорическая женщина. Товарищ, я никого никуда не определяю, я явилась к вам только для убедительности. Не сомневаюсь, что с вами поступят так, как вы заслуживаете.

Победоносиков. Инкогнито? Понимаю! Но между нами, как облечеными обоюдным доверием, не может быть тайн. И я, как старший товарищ, должен вам заметить, что вас окружают люди не вполне стопроцентные. Велосипедкин курит. Чудаков — пьет, должно быть, пьет сообразно с фантазией. Должен сказать и про жену, не смею утаить от организации,— мещанка и привержена к новым связям и к новым юбкам, совокупно именуемым старым бытом.

Фосфорическая женщина. Ну какое вам дело? Работают зато...

Победоносиков. Ну что ж, что зато? Я тоже за то, но я зато не пью, не курю, не даю «на чай», не загибаю влево, не опаздываю, не... (*наклоняется к уху*), не предаюсь излишествам, не покладаю рук...

Фосфорическая женщина. Это вы говорите про все, чего вы «не, не, не»... Ну а есть что-нибудь, что вы «да, да, да»?

Победоносиков. Да, да, да? Ну да! Директивы провожу, резолюции подшипаю, связь налаживаю, партвзносы плачу, партмаксимум получаю, подписи ставлю, печать прикладываю... Ну, просто уголок социализма. У вас там, должно быть, циркуляция бумажек налажена, конвойер, а?

Фосфорическая женщина. Не знаю, про что вы говорите, но, конечно, бумага для газет подается в машину исправно.

Входят Понт Кич и Мезальянсова.

Понт Кич. Кхе, кхе!

Мезальянсова. Плиз, сэр.

Понт Кич. Асеев, бегемот, дай в долг, лик избит, и стоимость снизилась май пуд часейшен...

Мезальянсова. Мистер Понт Кич хочет сказать, что он может по сходной государственной цене скупить, ввиду полной ненадобности, все часы, и тогда он поверит в коммунизм.

Фосфорическая женщина. Понятно и без перевода. Сначала признайте — выгоды потом! Товарищи! Приходите вовремя,— ровно в двенадцать часов на станцию 2030 год отбывает первый поезд времени.

VI ДЕЙСТВИЕ

Подвал Чудакова. С двух сторон невидимой машины возятся Чудаков и Фоскин, Велосипедкин и Двойкин. Фосфорическая женщина сверяет с планом невидимую машину. Тройкин хранит двери.

Фосфорическая женщина. Товарищ Фоскин! Щиты, ослабляющие ветер, ставьте ординарные. Пятилетка приучила к темпу и скорости. Переход почти не будет заметен.

Фоскин. Стекло сменю. Полмиллиметра. Небьющееся.

Фосфорическая женщина. Товарищ Двойкин! Проверьте рессоры. Смотрите, чтобы не трясло на ухабах праздников. Непрерывка избаловала плавным ходом.

Двойкин. Пройдем плавно, только б не валялись водочные бутылки на дороге.

Фосфорическая женщина. Товарищ Велосипедкин! Следите за манометром дисциплины. Отклонившихся срежет и снесет.

Велосипедкин. Ничего! Подтянем струною!

Фосфорическая женщина. Товарищ Чудаков, готово?

Чудаков. Отметим линию стояния, и можно пускать пассажиров.

Белая лента-рулон размотана между колесами невидимой машины.

Велосипедкин. Тройкин, пускай!

С четырех сторон с плакатами под «Марш времени» вливаются пассажиры.

Марш времени
Взвивайся, песня,
над маршем
красных рот!
Впе-
ред,
вре-
мя!
Вре-
мя,
вперед!
Вперед, страна,
пускай
старье
сотрет!
Впе-
ред,
вре-
мя!
Вре-
мя,
вперед!
Шагай, страна,
коммуна—
у ворот!
Впе-
ред,
вре-
мя!
Вре-
мя,
вперед!
На пятилетке
мы—
премией
сэкономим год!
Впе-
ред,
вре-
мя!

Вре-
мя,
вперед!
Наляг, страна,
скорей, моя,
на непрерывный ход!

Впе-
ред,
вре-
мя!

Вре-
мя,
вперед!
Сильней, коммуна,
бей, моя,
пусть вымрет
быт-урод!

Впе-
ред,
вре-
мя!

Вре-
мя,
вперед!
Взвивайся, песня,
рей, моя,
над маршем
красных рот!

Впе-
ред,
вре-
мя!

Вре-
мя,
вперед!

О п т и м и с т е н к о (отделяясь от толпы, к Чудакову).
Товарищ, я вас должен конфиденциально спросить — буфет будет? Так и знал! А почему не оповещено приказом? Забыли?
Ну, ничего, питья хватит, с едой перебьемся. Заходите в наше купе. Которое местечко-то?

Ч у д а к о в . Становитесь рядом. Плечо к плечу. Об усталости не беспокойтесь. Только поворот вот этого колеса — и через секунду...

Победоносиков (*входит в сопровождении Мезальянской*). Звонка еще не было? Можно давать. Сразу второй! (*К Двойкину.*) Товарищ, ты партийный? Да? Не в службу, а в дружбу — помоги там с вещами. Документы важные, о-о-о!!! Нельзя доверять разным беспартийным носильщикам, носящим только за деньги, а тебе, как выдвиженцу, пожалуйста, — неси! Доверяю!.. Кто здесь завглавнач посадки? Где мое купе? Мое место, конечно, нижнее...

Фосфорическая женщина. Машина времени еще не вполне оборудована. Вам, как пионерам этого вида транспорта, придется стоять со всеми.

Победоносиков. При чем тут пионеры? Пионерский слет закончен, и попрошу никогда больше не надоедать мне с пионерами. Эта кампания проведена! Я просто не поеду! Черт знает что такое! Надо, наконец, научиться беречь старого гвардейца, а то я уйду из гвардии. Наконец я требую компенсации за неиспользованный отпуск! Одним словом, где вещи?

Двойкин толкает вагонетку с перевязанными кипами бумаг, шляпными картонками, портфелями, охотничими ружьями и шкафом-сундуком Мезальянской. С четырех углов вагонетки четыре сеттера. За вагонеткой

Бельведорнский с чемоданом, ящиком, кистями, портретом.

Фосфорическая женщина. Товарищ, это что за громадный универмаг?

Оптимистенко. Да нет же ж. Это малюсенькое обрастание.

Фосфорическая женщина. Ну, зачем вам? Хоть часть оставьте!

Оптимистенко. Конечно, товарищ, почтой дошлете.

Победоносиков. Попрошу без замечаний! Развесьте себе стенную газету и замечайте там. Я должен представить циркуляры, литеры, копии, тезисы, перекопии, поправки, выписки, справки, карточки, резолюции, отчеты, протоколы и прочие оправдательные документы при хотя бы вещественных собаках. Я мог спросить дополнительный вагон-бис, но я не спрашиваю сообразно со скромностью в личной жизни. Не теряйте политику дальнего прицела. Вам это тоже очень и очень пригодится. Получив штаты, я переведу канцелярию в общемировой масштаб. Расширив штаты, я переведу масштаб в междупланетный. Надеюсь, вы не хотите обесканцелярить и дезорганизовать планету?

Оптимистенко (*Фосфорической женщине*). Не возражайте, гражданка. Жалко же ж планету.

Фосфорическая женщина. Только возитесь быстрее!

Победоносиков. Я попрошу вас не вмешиваться не в свою компетенцию. Это слишком! Попрошу не забывать — это мои люди, и пока я не снят, я здесь распронаиглавный. Мне это надоело! Я буду жаловаться всем на все действия решительно всех, как только вступлю в бразды. Посторонитесь, товарищи! Ставьте вещи сюда. Где портфель светло-желтого молодого теленка с монограммой? Оптимистенко, сбегайте! Не волнуйтесь, подождут! Я останавливаю поезд по государственной необходимости, а не из-за пустяков.

Оптимистенко бросается, навстречу Поля с портфелем.

Поля. Пожалуйста, не шипи! Я прибирала дома, как ты велел, — сейчас вернусь, доприбираюсь. Вижу — забыл. Думаю — важное! Смешно! Прибежала — пожалуйста! (*Передает портфель.*)

Победоносиков. Принимаю портфель и принимаю к сведению. Надо напоминать раньше! В следующий раз я буду рассматривать это как прорыв и ослабление супружеской дисциплины. Провожатые, выйдите! Прощай, Поля! Когда я устроюсь, я тебе буду присыпать треть чего-нибудь в согласии с практикой суда и вплоть до изменения устаревшего законодательства.

Понт Кич (*входя и останавливаясь*). Кхе, кхе!

Мезальянсова. Плиз, сэр!

Понт Кич. Вор нагл драл с лип жасмин дай нам плюньте биллтер...

Мезальянсова. Мистер Кич хочет сказать и говорит, что он без билета, потому что не знал, какой нужен — партийный или железнодорожный, но что он согласен вратить в любой социализм, только чтоб это ему было доходно...

Оптимистенко. Плиз, плиз, сэр. Дорогой договоримся.

Иван Иванович. Привет! Наше вам и вашим и нашим достижениям. Еще одно последнее усилие — и всё будет изжито. Вы видали социализм? Я сейчас увижу социализм — удивительно интересно.

Победоносиков. Итак, товарищи... Почему и на чем мы остановились?

Ундертон. Мы остановились на «Итак, товарищи...».

Победоносиков. Да! Прошу слово! Беру слово! Итак, товарищи, мы переживаем то время, когда в моем аппарате изобретен аппарат времени. Этот аппарат освобожден-

ного времени изобретен именно в моем аппарате, потому что у меня в аппарате было сколько угодно свободного времени. Настоящий текущий момент характеризуется тем, что он момент стоячий. А так как в стоячем моменте неизвестно, где заключается начало и где наступает конец, то я сначала скажу заключительное слово, а потом вступительное. Аппарат прекрасный, аппарату рад — рад и я и мой аппарат. Мы рады потому, что, раз мы едем раз в год в отпуск и не пустим вперед год, мы можем быть в отпуску каждый год два года. И наоборот, теперь мы получаем жалованье один день в месяц, но раз мы можем пропустить весь месяц в один день, то мы можем получать жалованье каждый день весь месяц. Итак, товарищи...

Голоса.

- Долой!
- Довольно!!
- Валий без молебнов!!!
- Чудаков, выключи ему время!

Чудаков подкручивает Победоносикова. Победоносиков продолжает жестикулировать, но уже совсем неслышен.

Оптимистенко. В свою очередь беру слово от лица всех и скажу вам прямо в лицо, невзирая на лица, что нам все равно, какое лицо стоит во главе учреждения, потому что мы уважаем только то лицо, которое поставлено и стоит. Но скажу нeliцеприятно, что каждому лицу приятно, что это опять ваше приятное лицо. Поэтому от лица всех подношу вам эти часы, так как эти идущие часы будут к лицу именно вам, как лицу, стоящему во главе...

Голоса.

- Долой!!!
- Посолите ему язык!!
- Закрути ему кран, Чудаков!

Чудаков выключает Оптимистенко. Оптимистенко тоже жестикулирует, но и его не слышно.

Фосфорическая женщина. Товарищи! По первому сигналу мы мчим вперед, перервав одряхлевшее время. Будущее примет всех, у кого найдется хотя бы одна черта, роднящая с коллективом коммуны,— радость работать, жажда жертвовать, неутомимость изобретать, выгода отдавать, гордость человечностью. Удесятерим и продолжим пятилетние шаги. Держитесь массой, крепче, ближе друг к другу. Летящее время сметет и срежет балласт, отягченный хламом, балласт опустошенных неверием.

Победоносиков. Отойди, Поля!

Ночкин (*вбегает, преследуемый*). Мне бы только добежать до социализма, уж там разберут.

Милиционер (*догоняет, свистя*). Держи!!!

Вскакивает в машину.

Фосфорическая женщина. Раз, два, три!

Бенгальский взрыв. «Марш времени». Темнота. На сцене Победоносиков, Оптимистенко, Бельведонский, Мезальянсова, Понт Кич, Иван Иванович, скинутые и раскиданные чертовым колесом времени.

Оптимистенко. Слезай, приехали!

Победоносиков. Поля, Полечка! Пощупай меня, осмотри меня со всех сторон. Кажется, меня переехало временем. Полина!.. Увезли?! Задержать, догнать и перегнать! Который час? (*Смотрит на даренные часы*.)

Оптимистенко. Отдавайте, отдавайте часы, гражданин! Бытовая взятка нам не к лицу как таковая, коль скоро я один от лица всех месячное жалованье в эти часы вложил. Мы найдем себе другое лицо, чтобы подносить часы и уважать.

Иван Иванович. Лес рубят—щепки летят. Маленькие... большие недостатки механизма. Надо пойти привлечь советскую общественность. Удивительно интересно!

Победоносиков. Художник, лови момент, изобрази живого человека в смертельном оскорблении!

Бельведонский. Не-е-ет! Ракурс у вас какой-то стал неудачный. На модель надо смотреть, как утка на балкон. У меня только снизу вверх получается вполне художественно.

Победоносиков (*Мезальянсовой*). Хорошо, хорошо, пускай попробуют, поплавают без вождя и без ветрил! Удаляюсь в личную жизнь писать воспоминания. Пойдем, я с тобой, твой Носик!

Мезальянсова. Я уже с носиком, и даже с носом, и даже с очень большим. Ни социализма не смогли устроить, ни женщину. Ах вы, импо... зантная фигурочка, нечего сказать! Гуд бай, адье, ауфвидерзейн, прощайте!!! Плиз, май Кичик, май Пончик! (*Уходит с Понтом Кичем*.)

Победоносиков. И она, и вы, и автор — что вы этим хотели сказать,— что я и вроде не нужны для коммунизма?!?

Конец

1929—1930

ПРИМЕЧАНИЯ

Началом своей литературной деятельности Маяковский (1893—1930) считал 1909 г., когда он, находясь под арестом в Бутырской тюрьме, «исписал», — по его выражению из автобиографии «Я сам», — «целую тетрадку». Однако тетрадка была отобрана при выходе из тюрьмы, и стихи этого периода неизвестны. Самое раннее из сохранившихся стихотворений Маяковского — «Ночь» — появилось в печати в декабре 1912 г. Первый стихотворный сборник вышел в мае 1913 г. Это был цикл из четырех стихотворений под названием «Я», изданный литографским способом в количестве трехсот экземпляров. В последующие годы Маяковский выпустил около 90 книг: стихотворные и прозаические сборники, издания отдельных произведений (поэм, пьес, стихотворений), детских стихов и т. д. Семь из них были написаны в соавторстве с другими писателями (Н. Асеевым, С. Третьяковым и О. Бриком).

Свои стихотворные сборники Маяковский строил по-разному, в зависимости от их характера и назначения.

Обращают на себя внимание первые попытки автора собрать воедино свои произведения. К таким попыткам относятся: «Простое как мычание» (1916); «Все сочиненное Владимиром Маяковским (1909—1919)» (1919); «13 лет работы», тт. 1 и 2 (1922). Каждый из этих сборников был этапным для Маяковского. Не случайно в предисловии ко второму из них он писал: «Оставляя написанное школам, ухожу от сделанного и, только перешагнув через себя, выпусчу новую книгу».

Некоторые из сборников составлены по жанровому принципу. Так, на всем протяжении своего творческого пути Маяковский выпускал книги сатиры: «Маяковский издевается. Первая книжица сатиры», изд. 1 и 2 (1922); «Маяковский улыбается, Маяковский смеется, Маяковский издевается» (1923); «Слоны в комсомоле» (1929); «Без доклада не входить» (1930); «Грозный смех» (1932)¹. В 1923 г. была издана «Лирика». Многие

¹ Последние два сборника вышли после смерти Маяковского, но были им подготовлены и сданы в издательство: первый — в феврале, второй — в декабре 1929 г.

сборники построены проблемно-тематически. Важнейшие из них: «Стихи о революции», 1 и 2 изд. (1923); «О Курске, о комсомоле, о мае, о полете, о Чаплине, о Германии, о нефти, о 5 Интернационале и о проч.» (1924); «Париж» (1925); «Испания. Океан. Гавана. Мексика. Америка» (1926); «Мы и прадеды» (1927); «Туда и обратно» (1930). Есть книги с конкретным «адресом»: «Песни крестьянам» (1925); «Песни рабочим» (1925); «Школьный Маяковский» (1929). Или — с целевым назначением: «Маяковский для голоса». Время от времени Маяковский публиковал отдельными сборниками циклы своих новейших произведений: «Вещи этого года (до 1 августа 1923 г.)» (1924); «Только новое» (1925); «Но. С. (Новые стихи)» (1928). Проводил он также работу отбора лучшего из написанного: «Избранный Маяковский» (1923); «Избранное из избранного» (1926).

Естественно, что на определенном этапе творческого пути поэт почувствовал необходимость подвести итог всему сделанному и начал готовить собрание своих сочинений. Десятитомное собрание сочинений, начало работы над которым относится к 1925 г., выходило в свет с 1927 по 1933 г. При жизни Маяковского появилось шесть томов. Он успел подготовить и сдать в печать также тома 7 и 8. 9-й и 10-й были выпущены без участия автора.

В собрании сочинений Маяковский в основном применил хронологический принцип расположения произведений, хотя широко пользовался группировкой их по темам и жанрам. Хронологический принцип построения внутри каждого из разделов — «Стихотворения», «Поэмы», «Пьесы» — использован и в настоящем издании. Причем, как и в собрании сочинений, подготовленном автором, в разделе «Стихотворения» сохранены такие единые и цельные по своему характеру циклы, как «Я», «Париж» и «Стихи об Америке».

Тексты печатаются по научно выверенному их изданию: В лади-
мир М а я к о в с к и й, Полное собрание сочинений в тринадцати то-
мах, Гослитиздат, М. 1955—1961.

С Т И Х О Т В О Р Е Н И Я

Вывескам (стр. 27). — «Maggie» — фирма, выпускавшая бульонный экстракт. Кубики экстракта на рекламных плакатах рисовались в виде звездочек.

Я (стр. 28). — Шустов Н. Л.— владелец винных заводов. Аваню — магазин художественных изделий в Москве. Я люблю смотреть, как умирают дети. — Л. Равич рассказывает, что когда он, много лет спустя, в разговоре с Маяковским процитировал эту строчку, поэт сказал: «Надо знать, почему написано, когда написано и для кого написано... Неужели вы думаете, что это правда?» («Маяковскому», Л. 1940, стр. 181).

Н а т е! (стр. 31).— Стихотворение было прочитано автором 19 октября 1913 г. на открытии литературного кабаре «Розовый фонарь» в Мамоновском переулке, в Москве. Чтение возмутило присутствующую буржуазную публику и вызвало скандал. В раннем варианте автобиографии «Я сам» Маяковский рассказывал, что после этого чтения кабаре закрыли.

К о ф та ф а та (стр. 32).— *Би-ба-бо* — род комической куклы, приводимой в движение пальцами руки.

В о й н а объявлена (стр. 35).— Написано в связи с началом первой мировой войны 1914—1918 гг. *Италия! Германия! Австрия!* — Германия, Австро-Венгрия и Италия входили в Тройственный союз — военно-политический блок, направленный к подготовке войны за передел мира. Вскоре после начала мировой войны Тройственный союз распался, поскольку Италия сначала заявила о своем нейтралитете, а потом перешла на сторону Антанты.

М а м а и убитый немцами вечер (стр. 36).— В автобиографии «Я сам» в связи с этим стихотворением запись: «Отвращение и ненависть к войне. «Ах, закройте, закройте глаза газет» и другие».

С крипка и немножко первено (стр. 37).— *Кузнецкий* — Кузнецкий мост — улица в Москве.

Я и Н а п о л е о н (стр. 38) — ...на Большой Пресне, 36, 24.— По этому адресу Маяковский жил в Москве в 1913—1915 гг. *Ноев Н. Ф.* — владелец цветочного магазина в Москве. Это нам последнее солнце — солнце *Аустерлица!* — Маяковский обыгрывает слова Наполеона, который перед Бородинским сражением, при виде восходящего солнца, воскликнул: «Вот солнце Аустерлица!», желая тем самым напомнить о сокрушительном поражении, нанесенном им своим противникам под Аустерлицем в 1805 г. *Он раз чуме приблизился троном...* — В 1799 г. Наполеон посетил госпиталь зачумленных в Яффе (Палестина).я прошел в одном лишь июле тысячу Аркольских мостов! — На Аркольском мосту (в местечке Аркола, Италия) в 1796 г. произошло ожесточенное сражение французских войск с австрийскими. Наполеон, лично руководивший атакой, едва не был убит. Июль 1914 г. — начало мировой империалистической войны. ...в сердце, выжженном, как Египет, есть тысяча тысяч пирамид! — Продолжая обыгрывать образ Наполеона, Маяковский подразумевает его египетский поход и битву при пирамидах в 1798 г., перед которой Наполеон сказал: «Солдаты, с высоты этих памятников сорок веков глядят на вас!»

Г и м н о б е д у (стр. 43).— ...ударами ядр тысячи Реймсов разбить... — Рейнский собор — выдающийся архитектурный памятник XIII в., был сильно поврежден германской артиллерией осенью 1914 г.

Л и личка! Вместо письма (стр. 53).— Посвящено Л. Ю. Брик. ...в крученыховском аде — подразумевается поэма А. Крученых и В. Хлебникова «Игра в ад».

Надоело (стр. 55).— «Простое как мычание» — стихотворный сборник Маяковского, вышедший в изд. «Парус» в 1916 г. Назван «рибьим» из-за цензурных изъятий.

Дешевая распродажа (стр. 57).— Джон Пирпонт Морган (1867—1943) — американский банкир-миллиардер. ...на Надеждинской... — улица в Петрограде (теперь ул. Маяковского), на которой поэт жил в 1916—1918 гг.

Хвойи (стр. 59).— Стихотворение было напечатано в «рождественском» номере журнала «Новый Сатирикон» 22 декабря 1916 г.

Себе, любимому... (стр. 61).— «Кесарево кесарю — богу богово». — Согласно евангельской легенде, Иисус, на вопрос о том, позволительно ли платить налоги кесарю, сказал, указывая на изображение кесаря на динарии: «Отдавайте кесарево кесарю, а божие богу». Голиаф — великан, о котором повествуется в Ветхом завете.

Последняя петербургская сказка (стр. 62).— Стоит император Петр Великий — памятник Петру I в Петрограде работы Фальконе — всадник вздернулся на дыбы коня, попирающего копытами змею. «Запишу на просторе я!» — перефразированная строка из «Медного всадника» Пушкина («И запишу на просторе»). Гренадин — прохладительный напиток, который принято пить через соломинку.

Революция (стр. 65).— Волынский полк — первый полк петроградского гарнизона, в феврале 1917 г. перешедший на сторону революции. ...в Военной автомобильной школе... — Призванный в армию Маяковский в 1915—1917 гг. служил в петроградской Военно-автомобильной школе. Марсельский марш — «Марсельеза»; в России была распространена ее творческая переработка под названием «Рабочая Марсельеза». ...куполь Думы — купол Таврического дворца, где помещалась Государственная дума. Марат Жан-Поль (1743—1793) — один из наиболее бесстрашных вождей французской буржуазной революции конца XVIII в. ...скрижали с нашего серого Синая. — На горе Синай бог, согласно библейской легенде, дал пророку Моисею скрижали с десятью заповедями.

«Ешь ананасы...» (стр. 72).— По воспоминаниям Н. Венгрова, строки эти входили в текст революционного ревю, инициатором создания которого был в июне—июле 1917 г. Горький, привлекший к работе над ним группу молодых поэтов, и в первую очередь, Маяковского. «Ревю в 4-х действиях» немедленно перевел на свой язык Маяковский французское «ревю», — пишет автор воспоминаний. «Ешь ананасы...» — было заключительной строфой текста, которую поэт расщеплял на мотив «Ехал на ярмарку ухарь-купец». «Ревю не состоялось. Но эта строфа зажила своей жизнью в революционном народе» (Наталия Венгров, Встречи с А. М. Горьким.— Архив А. М. Горького). В статье «Только не воспоминания...» Маяковский говорит: «Это двустишие стало моим любимей-

шим стихом: петербургские газеты первых дней Октября писали, что матросы шли на Зимний, напевая какую-то песенку: «Ешь ананасы... и т. д.».

О да революции (стр. 74).— *Блаженный стропила соборовы тщетно возносит, пощаду моля...*— В дни боев с контрреволюцией в октябре 1917 г. были повреждены снарядами собор Василия Блаженного на Красной площади в Москве и некоторые здания Кремля. *«Слава». Хрипит в предсмертном рейсе...*— военный корабль, геройски сражавшийся в октябре 1917 г. с немецким флотом, выступившим для захвата Петрограда; погиб, подожженный вражескими снарядами. *Прикладами гонишь седых адмиралов...*— Речь идет о волнениях среди моряков-балтийцев в августе—сентябре 1917 г., которые иногда сопровождались расправой с контрреволюционным командованием.

Радовать ся рано (стр. 77).— Было напечатано на страницах газ. «Искусство коммуны», П. 1918, № 2, 15 декабря, и вызвало резкую полемику. В № 4 этой же газеты появилась статья наркома по просвещению А. В. Луначарского «Ложка противоядия», в которой он обвинял Маяковского и других сотрудников газеты в разрушительных наклонностях по отношению к культуре прошлого. Маяковский ответил Луначарскому стихотворением «Той стороне» (см. ниже). ...царь Александр на площади Восстаний...— памятник Александру III скульптора П. Трубецкого, стоявший в Петрограде на Знаменской площади (теперь площадь Восстания). Впоследствии был снят.

Левый марш (стр. 81).— В 1930 г., выступая в Доме комсомола Красной Пресни на вечере, посвященном двадцатилетию деятельности, Маяковский вспоминал об этом стихотворении: «Мне позвонили из бывшего гвардейского экипажа и потребовали, чтобы я приехал читать стихотворения, и вот я на извозчике написал «Левый марш». Конечно, я раньше заготовил отдельные строфы, а тут только объединил адресованные к матросам». Выступление, о котором рассказывает поэт, состоялось 17 декабря 1918 г. в Петрограде, в Матросском театре бывшего Гвардейского экипажа.

Мы идем (стр. 82).— ...революция и на Страстном монастыре начертала...— Страстной монастырь находился в Москве на Страстной площади (теперь площадь Пушкина). В первые годы революции его стены пестрели революционными лозунгами. *Всех младенцев перебили по приказу Ирода...*— Евангельская легенда рассказывает о том, что царь Ирод, узнав о рождении Христа, приказал умертвить в Вифлееме всех младенцев.

Владимир Ильич! (стр. 84).— Написано к пятидесятилетию В. И. Ленина — в апреле 1920 г.

Необычайное приключение... (стр. 86).— *Пушкино, Акулова гора...*— Здесь Маяковский жил летом 1920 г. ...что-де заела

Роста... — РОСТА — Российское телеграфное агентство, выпускавшее «Окна РОСТА» — агитационные плакаты на злобу дня, которые создавались и размножались вручную. С осени 1919 г. Маяковский много и напряженно работал над «Окнами РОСТА».

О д р я н и (стр. 91). — *Слава, слава, слава героям!!!* — Ср. последние строки предыдущего стихотворения. Перекличка не случайна: оба стихотворения были напечатаны в одном и том же номере журнала (*«Бов»*, 1921, № 1).

С ти х о т в о р е н и е о М я с н и ц к о й... (стр. 93). — «Чистка!» — чистка партии, проводившаяся по постановлению ЦК РКП(б) летом и осенью 1921 г. *Правдив и свободен мой вещий язык...* (и далее) — перефразированные строки из «Песни о вещем Олеге» Пушкина: «Правдив и свободен их вещий язык|| И с волей небесною дружен».

П р и к а з № 2 а р м и и и с к у с с т в (стр. 95). — ...футуристики, имажинистики, акмеистики, запутавшиеся в паутине рифм. — Футуризм, имажинизм, акмеизм — литературные группировки тех лет. Пролеткульцы — поэты литературного объединения Пролеткульт; многие из них в своей поэтической практике были подражателями.

П р о з а с е д а в ш и е с я (стр. 97). — Первое стихотворение Маяковского, напечатанное в газ. «Известия». Было высоко оценено В. И. Лениным, который, выступая на заседании коммунистической фракции Все-российского съезда металлистов 6 марта 1922 г. с речью «О международном и внутреннем положении Советской республики», сказал: «Вчера я случайно прочитал в «Известиях» стихотворение Маяковского на политическую тему. Я не принадлежу к поклонникам его поэтического таланта, хотя вполне признаю свою некомпетентность в этой области. Но давно я не испытывал такого удовольствия с точки зрения политической и административной. В своем стихотворении он вдрызг высмеивает заседания и издевается над коммунистами, что они все заседают и перезаседают. Не знаю, как насчет поэзии, а насчет политики ручаюсь, что это совершенно правильно» (В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 45, стр. 13). Тeo — Театральный отдел Главполитпросвета. Гукон — Главное управление коннозаводства при Наркомземе.

С в о л о ч и (стр. 99). — В 1921 г. Поволжье и некоторые другие районы нашей страны, еще не оправившейся от войны и разрухи, постиг страшный голод, возродивший надежды мировой буржуазии на падение Советской власти. Прогрессивная общественность капиталистических стран проводила сборы средств в помощь голодающим. Помгол — Комиссия помощи голодающим при ВЦИК. Фритиоф Нансен (1861—1930) — норвежский океанограф, исследователь Арктики; был одним из организаторов помощи голодающим. ...Вечным Жидом... — По средневековой легенде, Агасфер был обречен на вечное скитание за то, что отказался дать отдохнуть Христу, несущему крест. «Ампир» — ресторан в Москве.

Моя речь на Генуэзской конференции (стр. 104).— Генуэзская международная конференция по экономическим и финансовым вопросам происходила в Генуе в апреле — мае 1922 г. Это была первая конференция, на которую были приглашены представители Советской России. Империалистические государства пытались навязать России кабальные условия соглашения. Советская делегация отвергла несправедливые притязания, выдвинув ряд миролюбивых предложений. Чичерин Г. В. (1872—1936) — народный комиссар иностранных дел, возглавлял советскую делегацию в Генуе. «*Матэн*» — французская буржуазная газета. «*Таймс*» — английская газета консервативного направления. Планкар Раймон (1860—1934) — с 1913 по 1920 г. — президент Франции, один из организаторов интервенции и блокады Советской России. Ллойд Джордж Дэвид (1863—1945) — с 1916 по 1922 г. премьер-министр Англии, один из организаторов интервенции и блокады Советской России. Слышите из Берлина первый шаг трех Интернационалов? — В апреле 1922 г. в Берлине состоялась конференция, в которой приняли участие Исполкомы Коминтерна и оппортунистических — 2-го и 2½-го — Интернационалов с целью организации единого рабочего фронта.

Париж (стр. 106).— Написано в результате поездки в Париж осенью 1922 г. ...от аполлинеровских вирш... — Аполлинер Гийом (1880—1918) — французский поэт. Монмартром на ночи продаваться. — В районе Монмартра в Париже сосредоточеныочные увеселительные заведения. ...чертежами Эйфеля... — Башня построена французским инженером Александром-Гюставом Эйфелем в 1889 г.

Мы не верим! (стр. 110).— ...правительственный бюллетень. — С 12 марта 1923 г., в связи с обострением болезни В. И. Ленина, ежедневно печатались правительственные бюллетени о состоянии его здоровья.

Воровский (стр. 111).— Написано в связи с убийством белогвардейским наймитом 10 мая 1923 г. в Лозанне видного деятеля Коммунистической партии и Советского государства, полпреда в Италии В. В. Воровского (род. в 1871 г.). ...в последний раз Москвой пройдет Воровский. — Стихотворение было напечатано в газ. «Известия» 20 мая — в день прибытия в Москву тела В. В. Воровского.

Нордерней (стр. 113).— Нордерней — немецкий курорт на побережье Северного моря. Маяковский там был в августе 1923 г.

Киев (стр. 115).— Перун — одно из главных божеств у восточных славян. Дир и Аскольд — киевские князья IX в. Плечь креста сжимает каменный святой. — Речь идет о памятнике великому князю Киевскому Владимиру, крестившему ок. 988 г. Русь. Установлен на Владимирской горке и изображает князя несущим большой крест. Был убит и сновастал Столыпин... — Столыпин П. А., реакционный политический деятель, в 1911 г. был убит в Киеве, где ему затем был воздвигнут памятник, сне-

сенний после Октября. ...от пальбы двенадцати правительстве.— В годы гражданской войны в Киеве происходили частые смены властей. *Подол* — промышленный район в Киеве. ... земной Владимир... — В. И. Ленин. *Крещатик* — главная улица в Киеве.

Ю б и л е й н о е (стр. 123).— Написано в связи с 125-летием со дня рождения А. С. Пушкина. *Шкурой ревности медведь лежит когтист* — ср. образ медведя в поэме «Про это». *Koopsах* — кооперация сахарной промышленности; ее рекламные плакаты и вывески изображали сахарную голову на синем фоне с расходящимися оранжевыми лучами. ...выплювают Red и White Star'ы — словесная игра: слово «звезды» в названиях трансокеанских пароходных компаний — основание для шутливого намека на «выплювающие» конъячные бутылки. *Дорогойченко* А. Я. (1894—1947), *Герасимов* М. П. (1889—1939), *Кириллов* В. Т. (1889—1943), *Родов* С. А. (1893—1968) — советские поэты. ...однародственный... — иронический неологизм Маяковского, в котором соединены слова «однообразный» и «наобраз» — отдел народного образования. *Леф* — журнал, выходивший в 1923—1925 гг. под редакцией Маяковского. *Я дал бы вам жиркость и сукна* — шуточное овеществление тем и объектов рекламы, над которой в эти годы (1923—1925) Маяковский много работал. Имеется в виду продукция парфюмерного треста «Жиркость» и треста «Моссукно». ...невольник чести... — из стихотворения Лермонтова «Смерть Поэта». *На Тверском бульваре очень к вам привыкли*.— Памятник Пушкину работы скульптора А. М. Ошекушина стоял на Тверском бульваре у площади Пушкина. В 1949 г. перенесен в центр площади.

В ладика в каз — Т и ф л и с (стр. 134) — ...я вспомнил, что я — грузин.— Маяковский родился и провел детство в Грузии. *Архалух* — азиатская мужская одежда. *Карабах* — порода горных лошадей. *Ройльс* (точнее: «роллс-ройс») — английская марка автомобиля. *Муша* (груз.) — рабочий. «*Мхолот шен эртс...*» — грузинская песня на слова Шалвы Даидани. ...мститель Арсен — Арсен Джорджиашвили (1881—1906), грузинский революционер, в январе 1906 г. убил царского кардинала Григория Гризнова. ...плеток всех Алихановых.— Алиханов-Аварский Максуд (1846—1907) — военный губернатор Кутаисской губернии в 1905 г. *Какие-то люди, мутней, чем Курá...* — грузинские меньшевики, ведшие предательскую политику в годы гражданской войны. *Мадчари* — неперебродившее молодое вино. *Шаири* — распространенный в Грузии вид стиха.

Т а м а р а и Д е м о н (стр. 139).— ...преду искусстве — Петру Семенычу Когану.— Коган П. С. (1872—1932) — историк литературы, президент Государственной Академии художественных наук. ... был бы услышан Тамарой.— Далее в этом образе Маяковский намеренно соединяет черты двух лермонтовских героинь: царицы Тамары из одноименной баллады и княжны из поэмы «Демон». ...пишет себе Пастернак... — Имеется в виду стихотворение «Памяти Демона».

Цикл был назван автором «поэмой (из отдельных стихов) на тему «Париж» (автобиография «Я сам»). Написан по впечатлениям поездки в Париж в ноябре — декабре 1924 г. Отдельные стихотворения публиковались весной — летом 1925 г. Во второй половине года вышли отдельной книгой.

Е д у (стр. 145). — *Этуаль* — площадь в Париже. В переводе — площадь Звезды.

Г о р о д (стр. 147). — *Эррио* Эдуард (1872—1957) — в 1924—1925 гг. премьер-министр Франции. *Попутчик* — термин, возникший в 20-х годах применительно к писателям непролетарского происхождения, но «сотрудничающих» с революцией. Маяковский неоднократно причислялся критикой того времени к «попутчикам». *Елисейские поля* — одна из главных улиц в Париже. *Вандомская колонна* — поставлена в 1806—1810 гг. в честь побед Наполеона I.

В е р л е н и **С е з а н** (стр. 149). — *Верлен* Поль (1844—1896) — французский поэт. *Сезанн* Поль (1839—1906) — французский живописец. ...тянете свой абсент из тысячи репродукций. — Речь идет о репродукциях с портрета Верлена работы Сезанна. *ГУС* — Государственный ученый совет Наркомпроса. Маяковский намекает на то, что работники творческого труда при финансовых обложениях рассматривались как частники-кустари. *Вардин* (Мгеладзе) И. В. (1890—1943) — критик, один из руководителей Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП). *Ван-Гог* Винцент (1853—1890) — голландский художник. *АХРР* — Ассоциация художников революционной России. «*Ротонда*» — кафе в Париже.

Н о т г е - Д а м е (стр. 156). — ...Блаженного Васьки — то есть собора Василия Блаженного в Москве. «*Знак Зоро*» — американский кинофильм.

В е р с а л ь (стр. 158). — *Капет* Гуго — основатель династии французских королей. Здесь речь идет о Людовике XVI, пытавшемся бежать из Франции, чтобы возглавить поход интервентов против начавшейся буржуазной революции. Был задержан на границе. *Мария-Антуанетта* — французская королева, жена Людовика XVI. Как и он, казнена революционным народом в 1793 г.

Ж о р е с (стр. 162). — *Жорес* Жан (1859—1914) — один из руководителей французского социалистического движения, борец против милитаризма, убитый шовинистом накануне империалистической войны. Во время пребывания Маяковского в Париже состоялась церемония перенесения праха Жореса в Пантеон. *71-й год* — год Парижской коммуны.

П р о щ а н и е (кафе) (стр. 165). — ...на кулиджиевской тете... — Кулидж Калвии (1872—1933) — президент США в 1923—1929 гг.

Цикл был написан во время и в результате заграничной поездки Маяковского в мае — ноябре 1925 г. 18 стихотворений из 22-х, составляющих цикл, были в основном созданы в период путешествия, остальные («Сифилис», «Свидетельствую», «Мексика — Нью-Йорк», «Тропики») были завершены весной — летом 1926 г.

Вернувшись в Москву, Маяковский подготовил и в январе 1926 г. сдал в Госиздат сборник «Испания. Океан. Гавана. Мексика. Америка»; в него вошли все стихотворения, написанные в путешествии, кроме «Вызыва». Цикл полностью под названием «Стихи об Америке» был впервые напечатан автором в 5 томе собрания сочинений (стихотворение «Вызов», видимо, случайно не включенное в сборник, не попало и в собр. соч.).

Испания (стр. 169). — Пароход «Эспань», на котором плыл из Франции Маяковский, зашел в испанский порт Сантандер. В этот же день было написано стихотворение.

Мелкая философия на глубоких местах (стр. 176). — Стеклов Ю. М. (1873—1941) — публицист, редактор газеты «Известия» в 1917—1925 гг.

Блек энд уайт (стр. 178). — После двухнедельного плавания через Атлантический океан пароход прибыл в порт Гавану (остров Куба), где и было написано стихотворение. *Коларо* — гаванские цветы *. *Ведадо* — загородный квартал богачей *. «Энри Клей энд Бок, лимитед» — крупная табачная фирма. *Прадо* — главная улица Гаваны *. *Масео Антонио* (1845—1896) — один из руководителей освободительной борьбы кубинского народа.

Христофор Коломб (стр. 187). — *Сан-Сальвадор* — остров, открытый Колумбом во время первой экспедиции (1492 г.). ...фокус со знаменитым Колумбовым яйцом. — Имеется в виду предание о том, что Колумб, желая отвлечь и успокоить свою команду, утомленную долгим плаванием, показал фокус с яйцом, сумев поставить его стоймя. *Мажестик* — название трансатлантического корабля.

Тропики (стр. 193). — *Вера-Круц* (Веракрус) — порт на мексиканском берегу. *Мехико-Сити* — столица Мексики. *Шантеклер* (франц.) — петух.

Мексика (стр. 195). — *И берет набитый «Лефом» чемодан Монтигомо Ястребиный Коготь*. — Первую публикацию стихотворения в журнале «Огонек» автор сопроводил очерком, в котором писал: «Как непохожи

* Это и некоторые следующие примечания — они отмечены звездочкой — сделаны самим Маяковским в первой публикации или в книге «Испания. Океан...».

носильщики-индейцы на героев Купера, легендарных (только на мексиканских плакатах оставшихся) краснокожих, горящих перьями древней птицы Кетцель, птицы-огонь». ...*Гапучипы с гринго*.— В том же очерке Маяковский пояснял: «Гапучипы» — добродушное презрительное название (время стерло злобу) первых завоевателей Мексики — испанцев. «Гринго» — кличка американцам, высшее ругательство в стране». *Кактусовый пульке* — полуводка *. *Пуэбло* — деревня (исп.); поселения древних индейцев: множество примыкающих друг к другу лачуг из необожженного кирпича. ...*Изабелла, жена короля Фердинанда*.— Во времена царствования короля Арагона Фердинанда (1452—1516) и королевы Кастилии Изабеллы (1451—1504) началась колонизация Америки. *Эрнандо Кортес* (1485—1547) — конкистадор, возглавлявший завоевание Мексики. ...*своих Моктецума предал... умер Гватемок*.— В очерке Маяковский писал, что от древней Мексики остались «памятник Гватемоку, вождю ацтеков, отстававшему город от испанцев, да черная память о предавшем последнем индейском царе — Моктецуме». ...*чехарда всех этих Хуэрт и Диэцов...*— Имеется в виду частая смена правительства. *Сарапе* — род национальной одежды. *Гваделупа* — знаменитая католическая святыня в Мексике. *Что Рига, что Мехико...*— В 1922 г. Маяковский был в буржуазной Латвии. «Смит и Вессон» — марка револьвера. *Чапультапек* — тропический сад в Мехико. *Запата* (точнее Сапата) Эмилиано (ок. 1877—1919) — один из вождей мексиканского революционного движения, был расстрелян. *Гальван, Морено, Карيو* — коммунисты Мексики*. ...*над мексиканским арбузом...* — Цвета мексиканского знамени — цвета арбуза: зеленый, белый, красный *.

Мексика — Нью-Йорк (стр. 205).—...*два Ларедо*.— Пограничная река делит город Ларедо на две части: мексиканскую и американскую. *Твенти сэнчери экспресс* («Двадцатый век») — название поезда. *Ranipid* — скорый поезд.

Бродвей (стр. 206).— *Чунгам* — жвачка, которую жует вся Америка *. *Мек мней?* — «Делаешь деньги?» — вместо привета *. *Собвей* — подземная городская железная дорога *. *Элевайтер* — воздушная городская железная дорога*. *Кофе Максвел гуд ту ди ласт дрон*— реклама Нью-Йорка: «Кофе Максвел хорош до последней капли»*. *Gay ду ю ду* — привет при встрече *.

Свидетельство (стр. 209).— «Пенсильвания Стейшен» — вокзал в Нью-Йорке. *Кулидж* Калвин — в 1923—1929 гг. президент США.

Барышни и Вульверт (стр. 212).— *Вульверт* — небоскреб в Нью-Йорке. *Тайпистки* — машинистки *. *Дробс сбода, грет энд феймус компани-нейшенал* — «Великая и знаменитая национальная компания шипучих напитков» — название парфюмерного магазина, при котором всегда имеется стойка для питья вод и еды мороженого *. *Волстрит* — улица банков в Нью-Йорке *.

П о р я д о ч н ы й г р а ж д а н и н (стр. 218).— *Кўни-Айленд* — остров увеселений. *Отель Плаза* — роскошная гостиница в Нью-Йорке. «Армия спасения» — религиозно-филантропическая организация. *Поп Платон* — митрополит Платон Рождественский, в те годы глава православной церкви в США.

В ы з о в (стр. 220).— *Риверсайд* — богатый район Нью-Йорка на берегу реки Гудзон. *Ник Картер* — персонаж детективной литературы, сыщик. *Прогибашен* — здесь: закон о запрещении торговли вином. «Белая лошадь» — марка виски.

1 0 0 % (стр. 223).— *Шеры* — акции.

А м е р и к а н с к и е р у с с к и е (стр. 226).— Организатор выступлений Маяковского П. И. Лавут рассказывает, что Маяковский так комментировал это стихотворение перед чтением: «Все языки в Америке перемешались. Например, английский понимают все, кроме англичан. Русские называют трамвай — стриткарой, угол — корнером, квартал — блоком, квартиранта — бордером, билет — тикетом... Еврей прибавляет к английскому и русскому еще некоторые слова. Иногда получаются такие переводы: «Беру билет с менянием пересядки...» (П. И. Лавут, Маяковский едет по Союзу, М. 1963, стр. 18). *Апартман* — свидание *. *Апартман* — квартира *. *Дрэгс ликет* — аптека. *Бутлегер* — торговец спиртом *. *Сёвен оклб* — семь часов. *Джаб* — работа *. ...а дома «цун» да «цус».— Маяковский иронизирует по поводу распространенных тогда в СССР сокращенных названий учреждений.

Б р у к л и н с к и й м о с т (стр. 228).— *Бруклинский мост* в Нью-Йорке — один из крупнейших подвесных мостов мира. *Юнайтед стейтс оф Америка* — США; усиительная приставка «раз» придает наименованию комический смысл. *Мангэтен* — остров, на котором находится центральная часть Нью-Йорка. *Бруклин* — часть Нью-Йорка, расположенная на острове Лонг-Айленд.

К е м п «Н и т г е д а й г е» (стр. 232).— *Кемп* — лагерь (англ.) *, «Нит гедайге» — «Не унывай» (еврейск.) — название летнего рабочего поселка, организованного под Нью-Йорком еврейской комгазетой «Фрайгайт»*. *M. K. X.* — Московский отдел коммунального хозяйства.

С е р г е ю Е с е н и н у (стр. 238).— Написано в связи со смертью С. А. Есенина (род. в 1895 г.), покончившего жизнь самоубийством 27 декабря 1925 г. В статье «Как делать стихи?» Маяковский рассказывал: «Конец Есенина огорчил, огорчил обыкновенно, по-человечески. ...но утром газеты принесли предсмертные строки: «В этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей». После этих строк смерть Есенина стала литературным фактом. Сразу стало ясно, скольких колеблющихся этот сильный стих, именно — *стих* подведет под петлю и револьвер. И никакими,

никакими газетными анализами и статьями этот стих не аннулируешь. С этим стихом можно и надо бороться стихом и только стихом». ...*взрезанной рукой помешкав...* — Свое последнее стихотворение Есенин написал кровью из вскрытой вены. ...*кого из напостов...* — то есть критиков и писателей — напостовцев, группировавшихся вокруг журнала «На посту» — руководящего органа Ассоциации пролетарских писателей, претендовавших на роль руководителей всего литературного развития в СССР. ...*утомительно и длинно, как Доронин.* — Доронин И. И. (род. в 1900 г.) — советский поэт; его поэму «Тракторный пахарь» Маяковский критиковал за длину и «однообразие... словесного и рифменного пейзажа». «Англетер» — гостиница в Ленинграде, где Есенин покончил с собой. Собинов Л. В. (1872—1934) — выдающийся оперный певец. В январе 1926 г. на вечере памяти Есенина Собинов исполнял романс Чайковского на слова Плещеева «Ни слова, о друг мой»; на сцене были изображены плакучие березы. Вся обстановка этого вечера произвела на Маяковского удручающее впечатление. ...*Леонидом Лоэнгринычем...* — Собинов был исполнителем роли Леонтия Лоэнгрина в одноименной опере Вагнера. Коган П. С. — критик и историк литературы, автор статей о Есенине. Здесь — собирательный образ. *В этой жизни помереть не ново...* — перефразировка строк предсмертного стихотворения Есенина.

Марксизм — оружие, огнестрельный метод... (стр. 243). — Стихотворение является откликом на дискуссию «Наша критика и библиография», проводившуюся в 1926 г. журналом «Журналист», и направлено против упрощенно-вульгаризаторского толкования литературных явлений, которое было характерно главным образом для напостовской критики. ...*двух столетий стык...* — В декабре 1925 г. исполнилось сто лет со дня восстания декабристов. Целые хоры небесных светил... — Имеются в виду строки из поэмы «Демон»: «На воздушном океане, || Без руля и без ветрил, || Тихо плавают в тумане || Хоры стройные светили...» «Интересно,— писал Маяковский после чтения стихотворения на одном из вечеров,— что мои язвительные слова относительно Лермонтова — о том, что у него «целые хоры небесных светил и ни слова об электрификации», изрекаемые в стихе глупым критиком,— писавший отчет в «Красной газете» о вечерах Маяковского приписывает мне как мое собственное недотепистое мнение. Привожу это как образец вреда персонификации поэтических произведений» («А что вы пишете?»). Лежнев А. З. (1893—1938), Вешнев В. Г. (1881—1932) — литературные критики.

Разговор с финансистом о поэзии (стр. 246). — В статье «А что вы пишете?» Маяковский говорит о мотивах, легших в основу стихотворения: «Главной работой, главной борьбой, которую сейчас необходимо вести писателю, это — общая борьба за качество. ...Ощущению квалификации посвящено мое главное стихотворение последних недель —

«Разговор с фининспектором о поэзии». Своеобразным комментарием, поясняющим избранную автором форму разговора с фининспектором, были те реальные переговоры, которые вел Маяковский с Мосфинотделом, доказывая, что писатель должен в правовом отношении быть приравнен к трудащимся, а не числиться в группе кустарей, торговцев и пр. «Это заявление не является случайным, а продумано мной и выведено из всей моей поэтической и теоретической работы...» — писал Маяковский в заявлении в Мосфинотдел. ...за неподачу деклараций.— Лица «свободных профессий», хозяева частных мастерских и т. д. должны были подавать в финотдел «декларации» о предполагаемых доходах за год. Не подавшие декларации— штрафовались. ...перед бродвейской лампионией...— то есть обилием света на Бродвее. ...багдадские небеса...— Багдади (ныне Маяковски) в Грузии — родина Маяковского.

Товарищу Нетте — пароходу и человеку (стр. 262).— Чтение стихотворения на своих вечерах Маяковский предварял рассказом: «Нетте — наш дипломатический курьер в Латвии. Погиб при исполнении служебных обязанностей, отстреливаясь от нападавших на него контрразведчиков в поезде на латвийской территории. ...Я хорошо знал товарища Нетте. Это был коренастый латыш с приятной улыбкой, в больших роговых очках. Я встречался с ним много раз. Здесь в стихотворении встречается фамилия Якобсон Ромка — ну, это наш общий знакомый. В прошлый мой приезд, в Ростове, на улице я услышал — газетчики кричат: «Покушение на наших дипкурьера Нетте и Махмасля». Остолбенел. Это была моя первая встреча с Нетте уже после его смерти. Вскоре первая боль улеглась. Я попадаю в Одессу. Пароходом направляюсь в Ялту. Когда наш пароход покидал одесскую гавань, навстречу шел другой пароход, и на нем золотыми буквами, освещенными солнцем, два слова — «Теодор Нетте». Это была моя вторая встреча с Нетте, но уже не с человеком, а с пароходом» (П. И. Лавут, Маяковский едет по Союзу, М. 1963, стр. 31—32). *Нетте* Т. И. (род. в 1896 г.) погиб 5 февраля 1926 г.

Канцелярские привычки (стр. 264).— Рыков А. И. (1881—1938) — в те годы председатель Совнаркома СССР. В 1937 г. за антипартийную деятельность был исключен из партии.

Стабилизация быта (стр. 274).— «Медвежья свадьба» — популярный в те годы кинофильм с артистом Эггертом К. В. (1883—1955) в главной роли.

Погородам Союза (стр. 284) — ВАПП — Всесоюзная ассоциация пролетарских писателей. ...воспоминание о великом своем гражданине. — В 1887 г. в Казанском университете учился В. И. Ленин. Смотрю в затихший и замерший зал...— 21 января 1927 г. Маяковский выступал в Казанском университете с чтением третьей части поэмы «Владимир Ильич Ленин».

Моя речь на показательном процессе... (стр. 288).— Шенгели Г. А. (1894—1956) — поэт, переводчик, автор брошюры «Как писать статьи, стихи и рассказы», которую Маяковский называл «беспринципным и вредным руководством». В 1926 г. Шенгели выступил с докладом, в котором отрицательно оценивал все творчество Маяковского (в 1927 г. выпущен отдельной книгой: «Маяковский во весь рост»). ...хоть я и слыхал про суровый закон... — декрет Совнаркома СССР «О мероприятиях по борьбе с хулиганством», принят в октябре 1926 г. Крыленко Н. В. (1885—1938) — заместитель народного комиссара юстиции в 1922—1928 гг.

Лучший стих (стр. 294).— *Аудитория сыплет вопросы колючие.*— 21 марта 1927 г. Маяковский выступал в городском театре Ярославля. В отчете о вечере говорилось: «После одного из перерывов Владимир Маяковский сообщил радиограмму «Северного рабочего» о взятии Шанхая, встреченную громом аплодисментов» («Северный рабочий», 23 марта 1927 г.). *Рабочими и войсками Кантоня взят Шанхай!*— В 1924—1927 гг. в Кантоне (Южный Китай) было создано буржуазно-демократическое антиимпериалистическое правительство. В феврале 1927 г. национально-революционная армия кантонского правительства начала наступление на Шанхай, которое было поддержано вооруженным восстанием рабочих в самом Шанхае. 21 марта власть милитаристов была свергнута и войска кантонцев вступили в город.

«Ленин с нами!» (стр. 296).— Написано к десятилетию со дня возвращения В. И. Ленина в Россию в апреле 1917 г. ...цитаты из сердца и из стиха.— Взятые в кавычки строки стихотворения — цитаты из поэмы «Владимир Ильич Ленин».

Господин «народный артист» (стр. 301).— С бас-рина с белого сорвите, наркомпросцы, народного артиста красный венок! — В августе 1927 г. Шаляпин был лишен звания народного артиста.

Ну, что ж! (стр. 303).— Написано в связи с провокационным убийством 7 июня 1927 г. полпреда СССР в Польше П. Л. Войкова и в связи с предстоящей «Неделей обороны».

Маруся отравилась (стр. 307).— Написано для «Комсомольской правды» и напечатано в подборке под общей шапкой: «Мы против снижения цен на человека». Гарри Пиль (род. в 1893 г.) — немецкий киноактер.

Письмо к любимой Молчановы... (стр. 314).— Напечатано в «Комсомольской правде» 4 октября 1927 г. как ответ на стихотворение И. Н. Молчанова «Свидание», помещенное там же 25 сентября. Обращаясь к героине стихотворения Молчанова, Маяковский во многих местах иронически пересказывает или цитирует (заключено в кавычки) это стихотворение.

Размышления о Молчанове Иване и о поэзии (стр. 317).— Продолжение полемики с И. Молчановым. Напечатано в «Комсомольской правде» 23 октября 1927 г. одновременно со стихотворением Молчанова «У обрыва». Читаю: «Скучет Молчанов Иван».— В стихотворении «У обрыва» говорится: «За пей, за рекою||Дожди да туман...|| Грустны мы с тобою,||Молчанов Иван. Вы нам обещаете, скучный Ваня, на случай нужды пойти барабана.— Пересказ заключительных строк из стихотворения «У обрыва»: «А может случиться —||Нахлынет туман...||Тревогу былую||Забыт||Барабан».

Служака (стр. 322).— Напечатано в «Комсомольской правде» в подборке, посвященной разоблачению типа «делягии» и «службиста» в комсомоле. Мопров знаки золотые...— значки членов МОПРа (Международного общества помощи борцам революции). МКК — Московская контрольная комиссия.

Плюшкин (стр. 330).— Gross — дюжина дюжин, единица счета мелких товаров. Никиш Артур (1855—1922) — венгерский дирижер.

Халтурик (стр. 333).— «Жизнь за царя» — ставшее официальным в царской России название оперы Глинки «Иван Сусанин». Воронов С. А. (1866—1951) — врач, занимался проблемой омоложения.

Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви (стр. 351).— Написано во время пребывания в Париже в октябре — ноябре 1928 г. Костров Тарас (Мартыновский А. С., 1901—1930) — журналист, редактор «Комсомольской правды» и, в 1928 г., журнала «Молодая гвардия», где было напечатано стихотворение.

Письмо Татьяне Яковлевой (стр. 355).— Обращено к Яковлевой Т. А. (род. в 1906 г.), с которой Маяковский познакомился осенью 1928 г. в Париже. По вызову своего дяди, художника А. Е. Яковлева, Т. Яковleva в 1925 г. уехала из СССР.

Разговор с товарищем Лениным (стр. 358).— Написано в связи с пятой годовщиной со дня смерти В. И. Ленина.

Красавицы (стр. 369).— ...убиганятся... — образовано от названия французской парфюмерной фирмы «Убиган». Рефы — участники литературной группы «Реф», организованной Маяковским в 1929 г.

Рассказ Хренова о Кузнецкстроите людях Кузнецка (стр. 376).— Хренов У. П. — участник строительства Кузнецкого металлургического комбината, знакомый Маяковского.

Марш ударных бригад (стр. 379).— Ударные бригады стали возникать на предприятиях в связи с лозунгом «Пятилетку в четыре года!». В декабре 1929 г. состоялся Первый Всесоюзный съезд ударных бригад.

Ленинцы (стр. 381).— Написано к шестой годовщине со дня смерти В. И. Ленина.

ПОЭМЫ
ОБЛАКО В ШТАНАХ

Замысел поэмы относится к началу 1914 г. В автобиографии «Я сам» под этой датой запись: «Чувствую мастерство. Могу овладеть темой. В плотную. Ставлю вопрос о теме. О революционной. Думаю над «Облаком в штанах». Толчком к написанию поэмы послужили личные переживания. Но эпизод личного характера оказался лишь исходной точкой для развертывания большого содержания социально-исторического и философского характера, «личная тема» постепенно вырастала в тему революционную.

Начавшаяся война, несомненно, усилила революционное звучание поэмы. Впоследствии в одной из своих статей Маяковский писал: «*Война велела видеть завтрашию революцию* («Облако в штанах») («За что борется Леф?»).

Во второй половине июля 1915 г. поэма была закончена. Маяковский первоначально назвал ее «Тринадцатый апостол». Название это полемически противопоставляло религиозному учению, которое, по церковной легенде, распространяли 12 апостолов, учеников Христа,— проповедь нового «апостола», возвещающего миру правду борьбы и революции. Цензура заставила поэта отказаться от подобного «богохульства». «Когда я,— рассказывал он,— пришел с этим произведением в цензуру, то меня спросили: «Что вы, на каторгу захотели?» Я сказал, что ни в каком случае... Тогда мне вычеркнули шесть страниц, в том числе и заглавие. Это — вопрос о том, откуда взялось заглавие. Меня спросили — как я могу соединить лирику и большую грубость. Тогда я сказал: «Хорошо, я буду, если хотите, как бешеный, если хотите, буду самым нежным, не мужчина, а облако в штанах» (Выступление в Доме комсомола Красной Пресни).

Издать поэму полностью, без цензурных изъятий, Маяковскому удалось только после революции, в начале 1918 г. В предисловии к этому изданию Маяковский очень четко определил идеиную суть поэмы: «Облако в штанах» ...считаю катехизисом сегодняшнего искусства. «Долой вашу любовь», «долой ваше искусство», «долой ваш строй», «долой вашу религию»—четыре крика четырех частей» («Второму изданию»). (Отсюда подзаголовок поэмы: тетраптих — то есть композиция из четырех частей.)

Стр. 390. ...рекая, как «наме!»... — Ср. название одного из ранних стихотворений Маяковского («Нате!»), содержащего резкое обличение буржуазной публики.

Стр. 391. *Джиконда* (портрет Монны Лизы)— прославленная картина Леонардо да Винчи, хранящаяся в Лувре. В 1911 г. была украдена из музея, в 1913 г. возвращена в Лувр.

Стр. 392. «Лузитания» — английский пассажирский пароход, в мае 1915 г. торпедированный германской подводной лодкой и погибший в море.

Стр. 395. *Заратустра* — по религиозному преданию, иранский пророк (1-е тысячелетие до н. э.). В конце XIX — начале XX в. в среде декадентски настроенной интеллигенции была модной книга Ницше «Так говорил Заратустра», возвеличивающая «сверхчеловека», «аристократа духа», попирающего «толпу». Маяковский противопоставляет Ницше своего Заратустру — глашатая и проповедника, выступающего от лица массы. Основной смысл этого образа разъясняет самим поэтом, сказавшим, что он только для того «позволяет назвать себя Заратустрой, чтоб непреложнее были слова, возвеличивающие человека» («О разных Маяковских»).

Стр. 399. *Галифе* (Галиффе) Гастон (1830—1909) — французский генерал, жестоко расправившийся с Парижской коммуной 1871 г.

Стр. 400. *Азеф* Е. Ф. (1869—1918) — один из руководителей партии эсеров, провокатор, состоявший на службе в департаменте полиции. Был разоблачен в 1908 г.

Стр. 401. *Варавва* — по евангельскому преданию, разбойник и злодей. Толпа требовала помилования Вараввы и казни Христа.

Стр. 404. *Тиана* — имя женщины в стихотворении И. Северянина «Тиана».

Стр. 405. *Тысячу раз опляшет Иродиадой...* — По евангельскому преданию, Саломея, дочь Иродиады, по наущению своей матери, потребовала в награду за свой танец голову Иоанна Крестителя.

Ки-ка-ку — модный эстрадный танец.

ПРО ЭТО

Начало работы над поэмой относится к последним числам декабря 1922 г. Поэма создавалась в необычных условиях: поэт обрек себя на двухмесячное домашнее заточение, чтобы наедине, без сутолоки обычных встреч и разговоров, обдумать и осмыслить то, чтоказалось ему самым важным, — как должен жить новый человек, каковы должны быть его мораль, быт, любовь, чтобы соответствовать тем великим преобразованиям, которые принесла революция в общественную жизнь. «По личным мотивам об общем быте» — так определил сам Маяковский основную тему своего произведения. А на диспуте «Футуризм сегодня» 3 апреля 1923 г., отвечая на критику «Про это» после чтения отрывков из поэмы, он сказал: «Здесь говорили, что в моей поэме нельзя уловить общей идеи. Я читал прежде всего лишь куски, но все же и в этих прочитанных мною кусках есть основной стержень: быт. Тот быт, который ни в чем почти не изменился,

тот быт, который является сейчас злейшим нашим врагом, делая из нас мещан».

Поэма была закончена 11 февраля 1923 г.

Вопреки многочисленным критикам, увидевшим в поэме обращение к «мелкой», «личной» теме, «издерганность и неврастеничность», А. В. Луначарский сразу почувствовал большое социальное, общественное значение поэмы, одновременно лирической и революционной, понял важность и насущность ее проблем. Имея в виду главным образом «Про это», он писал: «...выработка новой этики в муках содрогающихся сердец, отражение вечных вопросов любви и смерти... — вот необъятные темы, вот необъятные краски, вот необъятная сокровищница, из которой должна черпать современная драматургия. Уже есть нечто подобное в области поэзии...» (А. В. Луначарский, Собр. соч., т. 1, М. 1963, стр. 208).

Стр. 408. Эта тема придет, позвонится с кухни... — Имеются в виду записи, которые приносила от «нее» домработница.

Стр. 410. Баллада Редингской тюрьмы — написанное в тюрьме произведение английского писателя Оскара Уайльда (1856—1900).

Стр. 411. Из фабричной марки — две стрелки яркие омолни или телефон. — Две перекрещивающиеся молнии — фабричная марка телефонов того времени.

Мясницкая — теперь — улица Кирова. По ней лежал путь от Лубянского проезда (квартиры Маяковского) к Водопьяну переулку, где жила Л. Ю. Брик.

Стр. 416. Эрфуртская — программа Германской социал-демократической партии, принятая в октябре 1891 г. на съезде в г. Эрфурте.

Стр. 417. Бальшин Ю. Я. (1871—1938) — сосед Маяковского.

Стр. 419. Человек из-за 7-ми лет. — Имеется в виду лирический герой поэмы «Человек», над которой Маяковский работал примерно за 7 лет до поэмы «Про это».

Стр. 427. ...600 с небольшим этих крохотных верст — расстояние от Москвы до Ленинграда.

Стр. 430. ...ангел-хранитель — жилец в галифе... — Желая обойти закон об уплотнении, владельцы больших площадей в годы нэпа стремились заполучить в квартиранты «ответственных» советских работников.

Стр. 434. Бёклин Арнольд (1827—1901) — швейцарский художник, автор картины «Остров мертвых», один из родоначальников декадентского стиля в живописи, популярный в среде энгманского мещанства.

...недвижный перевозчик. — На картине Бёклина изображен Харон, по древнегреческой мифологии — перевозчик душ умерших через подземную реку в царство смерти.

Стр. 441. Монмартр — район Парижа. С выступления рабочих Монмартра 18 марта 1871 г. началась история Парижской коммуны.

Стр. 443. ...как будто с Вербы — руками картонными.— В «вербную неделю» на Красной площади в Москве устраивался базар с продажей картонных игрушек.

Стр. 444. Один уж такой попался — гусар! — Имеется в виду Лермонтов, убитый на дуэли в Пятигорске, у подножия горы Машук.

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН

Замысел поэмы «Владимир Ильич Ленин» относится к 1923 г. Смерть Ленина и всенародные похороны вождя, на которых присутствовал поэт, глубокое волнение, испытанное им, дали толчок к художественному воплощению замысла. Поэма была закончена в первой половине октября 1924 г.

«Закончил поэму «Ленин»,— пишет поэт в автобиографии.— Читал во многих рабочих собраниях. Я очень боялся этой поэмы, так как легко было снизиться до простого политического пересказа. Отношение рабочей аудитории обрадовало и утвердило в уверенности нужности поэмы».

В течение октября Маяковский неоднократно выступал с публичными чтениями поэмы. 21 октября состоялось чтение партийному активу в Красном зале МК РКП(б). В отчете, напечатанном в газете «Рабочая Москва» 23 октября 1924 г., говорилось: «Зал был переполнен. Поэма была встречена дружными аплодисментами всего зала. В открывшихся прениях... ряд товарищей говорили, что это сильнейшее из того, что было написано о Ленине. Огромное большинство выступавших сошлось на одном, что поэма вполне наша, что своей поэмой Маяковский сделал большое пролетарское дело».

В дальнейшем Маяковский неоднократно читал поэму в рабочих и партийных аудиториях различных городов Союза. В его бумагах сохранился экземпляр поэмы, который он брал с собой за границу: это текст, убористо напечатанный на пишущей машинке, без разбивки на стихотворные строки и без названия,— в таком виде поэма могла преодолеть пограничный полицейский кордон.

Двадцать первого января 1930 г. Маяковский читал третью часть поэмы в Большом театре на траурном вечере памяти В. И. Ленина.

Стр. 461. Бромлей и Гужон — имеются в виду крупные металлургические заводы в дореволюционной Москве; теперь — «Красный пролетарий» и «Серп и молот».

Стр. 473. Парижская стена — стена в северном углу парижского кладбища Пер-Лашез, где происходил расстрел коммунаров. Превращена французским народом в памятник героям Коммуны.

Стр. 474. *Коммунизма призрак по Европе рыскал... —* перефразировка начала Манифеста Коммунистической партии К. Маркса и Ф. Энгельса.

Стр. 477. ...*за землю и волю... —* Имеется в виду тайная революционная организация народников в России «Земля и воля» (70-е годы XIX в.).

Стр. 482. ...*на Марсов охотится Пулково... —* Пулковская обсерватория под Ленинградом принимала участие в наблюдениях за планетой Марс во время ее великого противостояния в 1924 г.

Стр. 485. ...*царь на балкон выходил с манифестикиом. —* С целью ослабить нарастание революции и выиграть время, 17 октября 1905 г. царь Николай II издал манифест, в котором народу были обещаны «незыблемые основы гражданских свобод» — «свобода слова, собраний» и т. д. Одновременно были приняты меры для подавления революции.

Стр. 486. ...*ладан курят — богоискатели. —* В годы реакции, последовавшие после разгрома революции 1905 г., некоторые интеллигенты, ранее примыкавшие к революции, ударились в мистику и выступали с проповедью необходимости создания новой религии.

Нечего зря за оружье браться. — Г. В. Плеханов писал о пролетариате в одной из своих статей: «Сила его оказалась недостаточной для победы. Это обстоятельство нетрудно было предвидеть. А потому не нужно было и браться за оружие» («Дневник социал-демократа», Женева, 1905, № 4, стр. 12).

Нет, за оружие браться нужно... — В статье «Уроки московского восстания» Ленин утверждал: «Напротив, нужно было более решительно, энергично и наступательно браться за оружие... Наступление на врага должно быть самое энергичное; нападение, а не защита, должно стать лозунгом масс...» (В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 13, стр. 371, 376).

Стр. 488. ...*приспособились Вовы... —* Имеется в виду популярный в годы первой мировой войны водевиль Е. Мировича «Вова приспособился».

В Циммервальде (Швейцария) 5—8 сентября 1915 г. состоялась международная социалистическая конференция интернационалистов, на которой В. И. Ленин возглавил левое крыло, выступившее со своей программой. Принятый в острой борьбе Манифест призвал рабочих Европы развернуть борьбу против войны, за мир без аннексий и контрибуций.

Стр. 489. *Довольно! Превратим войну народов в гражданскую войну! —* Ср. слова Ленина в статье «Положение и задачи социалистического Интернационала» (В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 26, стр. 41).

Стр. 491. ...*Дарданельский, в девичестве Милюков... —* Милюков П. Н. (1859—1943), лидер партии кадетов, сторонник войны «до победного кон-

ца» и захвата проливов Босфор и Дарданеллы. В дни Февральской революции пытался спасти монархию, заменив Николая II его братом Михаилом.

Стр. 492. *Премьер* — то есть А. Ф. Керенский (род. в 1881 г.), глава Временного правительства.

Савинков Б. В. (1879—1925) — эсер, один из активных участников контрреволюционного заговора летом 1917 г.

Стр. 493. *Сбросим эдечества обветшавшие лохмотья*.— В статье «Задачи пролетариата в нашей революции» В. И. Ленин, предлагая заменить старое название «Российская социал-демократическая рабочая партия (большевиков)» названием «Российская Коммунистическая партия (большевиков)», писал: «Пора сбросить грязную рубаху, пора надеть чистое белье» (В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 31, стр. 183).

Стр. 494. *Кшесинская* М. Ф. (род. в 1872 г.) — балерина. В доме, подаренном ей Николаем II, в 1917 г. помещался ЦК РСДРП(б).

Стр. 495. *На мушку Ленина!* в *Кресты Зиновьева!* — 7 июля Временное правительство отдало приказ об аресте В. И. Ленина и ряда других деятелей партии. Зиновьев (Радомыслский) Г. Е. (1883—1936) — член партии с 1901 г., в дни подготовки Октябрьской революции выступал против вооруженного восстания; в 1934 г. за антипартийную деятельность был в третий раз исключен из партии. Кресты — тюрьма в Петрограде.

Стр. 497. *Троцкий* (Бронштейн) Л. Д. (1879—1940) — член РСДРП с 1897 г., меньшевик; после Октябрьской революции занимал ряд государственных постов; в 1927 г. исключен из партии и в 1929 г. за антисоветскую деятельность выслан из СССР.

Стр. 501. *Мы и кухарку каждую выучим управлять государством!*— Ср. слова Ленина в статье «Удержат ли большевики государственную власть?»: «Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством... Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, т. е. к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту» (В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 34, стр. 315).

...*производством ротаций* — то есть печатанием большими тиражами денежных знаков, которые быстро обесценивались. Позже Советское правительство провело денежную реформу и установило твердый курс рубля. (Ср. далее строки: «до звонких копеек, серпом и молотом в новой меди...».)

Стр. 502. *Возьмем передышку похабного Бреста...*— Ср. слова В. И. Ленина в Политическом отчете и Заключительном слове на VII

экстренном съезде РКП(б): «Ловите передышку, хотя бы на час, раз вам ее дали...»; «...уступить пространство фактическому победителю, чтобы выиграть время. В этом вся суть, и только в этом» (В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 26, 27).

...с гидрой плакаты... — В годы гражданской войны контрреволюция часто изображалась на плакатах в виде многоголовой гидры. На одном из «Окон РОСТА» Маяковского тоже есть «гидра контрреволюции».

Стр. 503. *Ты знаешь путь на завод Михельсона?* — 30 августа 1918 г. после митинга на заводе Михельсона в Москве, где Ленин выступал перед рабочими, эсерка-террористка Каплан тяжело ранила Ленина, когда он подходил к автомобилю.

Стр. 507. *Мы двинемся во сто раз медленней...* — Маяковский использует слова Ленина, сказанные им на XI съезде партии: «...если мы капитализм побьем и смычку с крестьянской экономикой создадим... тогда рядовой крестьянин будет видеть: они мне помогают; и он тогда пойдет за нами так, что если эта поступь и будет в сто раз медленнее, зато будет в миллионы раз прочнее и крепче» (В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 45, стр. 92).

...но это уже полезней проделывать... — Ср. слова В. И. Ленина в Послесловии к первому изданию книги «Государство и революция»: «...приятнее и полезнее «пыт революции» проделывать, чем о нем писать» (В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 33, стр. 120).

Стр. 518. *...к последней четверке прижок.* — В 4 часа дня 27 января, когда гроб с телом Ленина установили во временном Мавзолее, был произведен салют одновременно по всей территории Союза. На пять минут прекратили работу фабрики и заводы, остановилось все движение.

Х О Р О Ш О!

В статье «Как делать стихи?», написанной в марте — мае 1926 г., среди тем, волнующих поэта, указана и «Огромная тема об Октябре...». Но непосредственно к работе над поэмой, посвященной десятилетию Октября, поэт приступил в декабре 1926 — начале 1927 г. Начавшаяся работа была форсирована предложением Комиссии по организации празднования десятилетия Октябрьской революции «дать специальную литературную обработку теме юбилея, которая ляжет в основу особого типа «праздничного представления», намеченного к постановке в Большом оперном театре <Ленинград> с участием всех родов театра» («Жизнь искусства», Л. 1927, № 7, стр. 21).

Первая часть поэмы (главы 2—8), которая должна была послужить основой для юбилейного представления, была написана зимой — весной 1927 г. Главы с 9-й по 17-ю и первая были написаны в мае — июле, и две

последние — в июле — августе, в Крыму. 5 августа из Ялты в Госиздат были присланы последние главы поэмы.

Первоначальные заглавия поэмы: «Октябрь», «25 октября 1917». Название «Хорошо!» было дано уже после того, как поэма была закончена. Тогда же Маяковский устранил членение ее на три части, которое существовало при сдаче поэмы в Госиздат.

Отдельным изданием поэма «Хорошо!» вышла в середине октября 1927 г. Главы 2—8 были инсценированы для праздничного спектакля, шедшего в октябрьские дни 1927 г. в ленинградском Малом оперном театре.

Одно из первых чтений поэмы состоялось 18 октября в Красном зале МК ВКП(б) для актива Московской партийной организации. Вслед за этим публичные чтения состоялись в различных аудиториях Москвы, Ленинграда и других городов.

Как выдающееся явление в истории советской литературы отметил поэму А. В. Луначарский в докладе об итогах культурного строительства СССР за десять лет на юбилейной сессии ЦИК СССР 16 октября 1927 г.: «Маяковский создал в честь Октябрьского десятилетия поэму, которую мы должны принять как великолепную фанфару в честь нашего праздника, где нет ни одной фальшивой ноты и которая в рабочей аудитории стяжает аплодисменты» (*«Красная газета*, вечерний выпуск, 1927, № 282, 18 октября).

Маяковский писал в автобиографии: «Хорошо» считаю программной вещью, вроде «Облака в штанах» для того времени. Ограничение отвлеченных поэтических приемов (гиперболы, виньеточного самоценного образа) и изобретение приемов для обработки хроникального и агитационного материала... Буду разрабатывать намеченное».

Стр. 527. ...*присяжный поверенный*. — А. Ф. Керенский по профессии был адвокатом (присяжным поверенным).

Стр. 528. *Забывши и классы и партии...* — Создавая карикатурную зарисовку Керенского, Маяковский в этой строфе использует ритмико-intonационные особенности «Воздушного корабля» Лермонтова, высмеивая претензию Керенского быть похожим на Наполеона.

Стр. 530.*к королю Георгу*. — Георг V — английский король в 1910—1936 гг., двоюродный брат Николая II.

Кускова Е. Д. (1869—1958) — правая социал-демократка. Желая подчеркнуть «эволюцию» Кусковой, в 90-х годах считавшей себя марксисткой, а в 1917 г. ставшей ярым врагом Советской власти, Маяковский дает ей в «*няни*» Миллюкова, лидера партии кадетов — главной партии империалистической буржуазии. Издаваясь над Кусковой, поэт сатирически перефразирует разговор Татьяны Лариной с няней из 3 главы *«Евгения Онегина»*.

Стр. 531. *Михаил Романов* (1878—1918) — брат Николая II, в пользу которого Николай отрекся от престола.

Стр. 536. ...шпионы и агенты.— Буржуазная печать 1917 г. распространяла клевету о том, что политические эмигранты, вернувшись после свержения самодержавия на родину и проехавшие через Германию и Швецию (Франция и Англия не разрешили им проезд через свои территории), якобы были подкуплены правительством Вильгельма II.

Стр. 538. *Лашевич М. М.* (1884—1928) — член Военно-революционного комитета Петроградского Совета. Ему было поручено во главе рабочих отрядов занять почту, телеграф и телефон.

Стр. 539. *Александра Федоровна* (1872—1918) — жена Николая II. Игра слов: Керенского звали — Александр Федорович.

Стр. 540. *Антонов-Овсеенко В. А.* (1884—1937) и *Подвойский Н. И.* (1880—1948) — члены Военно-революционного комитета Петроградского Совета. Принимали непосредственное участие в военно-оперативном руководстве восстанием.

Стр. 541. *Павловцы* — солдаты Павловского пехотного полка, выступившие на стороне революции; осаждали Зимний.

Куда против нас бочкаревским дурам?! — В числе войск, защищавших Временное правительство, был Первый петроградский женский батальон, которым командовала М. В. Бочкарева.

Стр. 542. ...*михайловцы или константиновцы...* — юнкера артиллерийских училищ — Михайловского и Константиновского.

Стр. 543. *Прокопович С. Н.* (1871—1955) — министр продовольствия в правительстве Керенского. Не присутствовал на последнем заседании Временного правительства из-за того, что не мог проникнуть в осажденный восставшими дворец.

Коновалов А. И. (род. в 1875 г.) — министр торговли и промышленности в правительстве Керенского. Председательствовал на последнем заседании.

Стр. 548. «*Здравствуйте, Александр Блок...*» — Об этой встрече с Блоком Маяковский рассказывает и в статье-некрологе «Умер Александр Блок»: «Помню, в первые дни революции проходил я мимо худой, согнутой солдатской фигуры, греющейся у разложенного перед Зимним костра. Меня окликнули. Это был Блок. Мы дошли до Детского подъезда. Спрашивала: «Нравится?» — «Хорошо,— сказал Блок, а потом прибавил: — У меня в деревне библиотеку сожгли».

Вот это «хорошо» и это «библиотеку сожгли» было два ощущения революции, фантастически связанные в его поэме «Двенадцать».

Блоковскому пониманию революции, выраженному в поэме «Двенадцать», Маяковский противопоставляет свое. 7 глава «Хорошо!» построена на полемике с Блоком.

Стр. 549. *Незнакомки, дымки севера*... — то есть характерные для творчества Блока поэтические образы. «Незнакомка» — название стихотворения и лирической драмы Блока.

...по воде шагающего Христа.— Маяковский соединил библейский миф о Христе, прошедшем, как посуху, по водам Генисаретского озера, с образом Христа, являющегося во главе красногвардейского патруля в финале поэмы Блока «Двенадцать».

Стр. 557. «*Сюртэ женераль*», «*интеллиджанс сервис*», «*дефензива*», «*сигуранца*» — названия политической полиции и контрразведки во Франции, Англии, Польше и Румынии.

Стр. 560. ...голубые чехи.— В 1918 г. в Сибири и Поволжье был поднят контрреволюционный мятеж чехословацким корпусом (солдаты его носили голубые мундиры), который в составе частей австро-венгерской армии сдался в плен русским в первую мировую войну.

Стр. 561. ...«*итс э лонг уэй ту Типерери...*» — первые строки английской солдатской песни («Путь далекий до Типерери, путь далекий домой...»)

Стр. 562. «*Янки дудль...*» — слова старинной североамериканской песни («Янки, простофиля, держись крепко, янки, простофиля и франт...»).

Стр. 563. ...слушают асфальт с копейками в окне... — то есть слушают бродячих шарманщиков, бросая им из окна на асфальт конейки.

Трансваль, Трансваль, страна моя...— В 20-е годы получила большое распространение эта песенка времен англо-бурской войны 1899—1902 гг.

Стр. 565. ...*едят у Зунделовича* — частная столовая в доме, где жил Маяковский.

Стр. 567. *Лиля* — Л. Ю. Брик.

Ося — О. М. Брик (1888—1945) — литературовед и критик.

Стр. 570. ...*боли волжской...* — то есть голода, постигшего Поволжье в 1921—1922 гг.

Стр. 572. *Оля* — О. В. Маяковская (1890—1949), сестра поэта.

Стр. 581. *Мне рассказывал тихий еврей...* — Об этом рассказе см. в книге: П. И. Лавут, Маяковский едет по Союзу, М. 1963, стр. 70—74.

Стр. 583. ...*завтрашние галлиполицы...* — Бежавшие из Крыма белые эмигранты высадились в Галлиполи — маленьком полуострове в европейской части Турции.

Стр. 590. *Стена — и женщина со знаменем...* — Говорится о барельефе С. Т. Коненкова в память погибших во время боев в октябре 1917 г. Был снят с Кремлевской стены в 1949 г. в связи с реконструкцией одной из башен Кремля. Находится в Музее Революции в Москве.

Красин Л. Б. (1870—1926) — дипломат, первый советский посол во Франции. Маяковский, будучи в Париже, наблюдал 4 декабря 1924 г. восторженную встречу Красина трудящейся Францией.

Дорио Жак (род. в 1898 г.) — в то время один из руководителей Французской компартии, впоследствии изменил делу рабочего класса.

Стр. 591. Войков П. Л. (1888—1927) — советский полпред в Польше в 1924—1927 гг. 7 июня 1927 г. был смертельно ранен в Варшаве белогвардейским террористом. Маяковский встречался с Войковым во время своего пребывания в Варшаве в середине мая 1927 г.

Стр. 596. ...молодцы — вёнцы! — Маяковский имеет в виду восстание венских рабочих в июле 1927 г., поводом к которому явилось оправдание судом фашистов, убивших и ранивших несколько проходивших по улице рабочих. Восстание подожгли здание суда.

В О В Е С Ъ Г О Л О С

«Во весь голос» — первое вступление в поэму, задуманную Маяковским в последние месяцы жизни. По свидетельству друзей поэта, это должна была быть поэма о пятилетке. Вступление было написано в декабре 1929 — январе 1930 г. и напечатано в феврале 1930 г.

Первое публичное чтение «Во весь голос» состоялось 1 февраля на открытии выставки «20 лет работы Маяковского» в клубе Федерации писателей в Москве.

Работа над «Во весь голос» проходила параллельно работе поэта по организации выставки, и, как и выставка, поэма должна была подвести итоги пройденному пути, мыслилась поэтом как отчет перед партией и народом о сделанном за двадцать лет. Сам Маяковский указал на непосредственную связь первого вступления в поэму и выставки в выступлении в Доме комсомола Красной Пресни на вечере, посвященном двадцатилетию деятельности, 25 марта 1930 г.:

«Последняя из написанных вещей — о выставке, так как это целиком определяет то, что я делаю и для чего я работаю.

Очень часто в последнее время вот те, кто раздражен моей литературно-публицистической работой, говорят, что я стихи просто писать разучился и что потомки меня за это взгреют. Я держусь такого взгляда. Один коммунист <мне> говорил: «Что потомство! Ты перед потомством будешь отчитываться, а мне гораздо хуже — перед райкомом. Это гораздо труднее». Я человек решительный, я хочу сам поговорить с потомками, а не ожидать, что им будут рассказывать мои критики в будущем. Поэтому я обращаюсь непосредственно к потомкам в своей поэме, которая называется «Во весь голос».

Кроме первого вступления в поэму, Маяковским было задумано и второе, лирическое. Этот замысел поэта не был осуществлен до конца. Ниже приводится несколько отрывков из второго вступления, сохранившихся в записных книжках поэта.

Любит? не любит? Я руки ломаю
и пальцы
разбрасываю разломавши.
Так рвут, загадав, и пускают
по маю
венчики встречных ромашек.
Пускай седины обнаруживает стрижка и бритье.
Пусть серебро годов вызванивает
уймою.
Надеюсь, верую: вовеки не придет
ко мне позорное благоразумие.

Уже второй, должно быть, ты легла.
В ночи Млечпуть серебряной Окою.
Я не спешу, и молниями телеграмм
мне назачем тебя будить и беспокоить.
Как говорят, инцидент исперчен.
Любовная лодка разбилась о быт.
С тобой мы в расчете, и не к чему перечень
взаимных болей, бед и обид.
Ты посмотри, какая в мире тиши.
Ночь обложила небо звездной данью.
В такие вот часы встаешь и говоришь
векам, истории и мирозданию.

Я знаю силу слов, я знаю слов набат.
Они не те, которым рукоплещут ложи.
От слов таких срываются гроба
шагать четверкою своих дубовых ножек.
Бывает, выбросят, не напечатав, не издав,
но слово мчится, подтянув подпруги,
звенит века, и подползают поезда
лизать поэзии мозолистые руки.
Я знаю силу слов. Глядится пустяком,
опавшим лепестком под каблуками танца,
но человек душой, губами, костяком

· · · · ·

Стр. 601. ...кудреватые *Митрейки*, мудреватые *Кудрейки*...—
Митрейкин К. Н. (1904—1934) и Кудрейко А. А. (род. в 1907 г.)—молодые
поэты, тяготевшие к литературной группировке, существовавшей в 1924—
1930 гг. под названием Литературный центр конструктивистов, которую
Маяковский резко критиковал в ряде своих выступлений 1929—1930 гг.
за эстетство и «техницизм». 8 февраля 1930 г. на конференции МАПП,
приведя строфу из стихотворения А. Кудрейко, напечатанного в книге
его стихов «Осада» (М. 1929), Маяковский говорил: «Это — пастушески-
пасторальная оснастка поэтического произведения. ...эта поэзия идет не по
линии создания новой пролетарской поэзии, а по линии декаданса, старой
упаднической поэзии».

«*Тара-тина, тара-тина, т-эн-н...*»— строка из стихотворения «Цы-
ганский вальс на гитаре» И. Сельвинского, главы Литературного центра
конструктивистов.

ПЬЕСЫ

КЛОП

Над комедией «Клоп» Маяковский работал летом — осенью 1928 г. Во второй половине декабря пьеса была закончена, и 26 декабря состоялось первое чтение друзьям.

Сам автор в заметке «Клоп» писал о своей пьесе: «Обработанный и вошедший в комедию материал — это громада обывательских фактов, шедших в мои руки и голову со всех сторон, во все время газетной и публицистической работы, особенно по «Комсомольской правде»... Газетная работа отстоялась в то, что моя комедия — публицистическая, проблемная, тенденциозная. Проблема — разоблачение сегодняшнего мещанства».

Комедия была принята к постановке в Государственном театре имени Вс. Мейерхольда. Ассистент (работа над текстом) Вл. Маяковский. Художники Кукрыники, А. Родченко. Музыка Д. Шостаковича.

Маяковским была составлена рекламная летучка к спектаклю:

Люди хоочут
и морщат лоб
в театре Мейерхольда
на комедии «Клоп».

Гражданин!
Спеши
на демонстрацию «Клопа».
У кассы хвост,
в театре толпа.
Но только
не злись
на шутки насекомого.
Это не про тебя,
а про твоего знакомого.

Стр. 612. *Нобиле Умберто* (род. в 1885 г.) — итальянский дирижаблестроитель и полярный исследователь. В 1928 г. руководил экспедицией к Северному полюсу на дирижабле «Италия»; дирижабль потерпел аварию. В спасении Нобиле и его команды принимал участие советский ледокол «Красин».

Стр. 614. *Дороти... Лилиан*. — Дороти Гиш (род. в 1898 г.) и Лилиан Гиш (род. в 1896 г.) — американские киноактрисы, сестры.

Стр. 616. *Венизелос Элефтерий* (1864—1936) — греческий буржуазный политический деятель, неоднократно был премьер-министром.

Я, Зоя Ванна, я люблю другую... — Маяковский пародийно использует строфи из стихотворения И. Молчанова «Свидание» (см. стихотворение «Письмо к любимой Молчанова...» и прим. к нему).

Стр. 621. *Кто воевал, имеет право...* — перефразированная строка из стихотворения И. Молчанова «Свидание».

Шел я верхом... — Маяковский использует строки из своего стихотворения «Письмо к любимой Молчанова...».

Стр. 622. *На Луначарской улице...* — перефразировка первой строки песни на слова стихотворения Я. П. Полонского «Затворница».

Стр. 624. *Съезжалися к загсу трамваи...* — перефразировка строк песни «Стояли у церкви кареты, там пышная свадьба была».

Стр. 625. *«Тоска Макарова по Вере Холодной».* — Макаров Саша — автор романсов. Холодная В. В. (ум. в 1919 г.) — киноактриса.

Стр. 626. *Цедура* — искаженное це-дур (c-dur), музыкальный термин, обозначение тональности.

Стр. 634. *Уткин И. П. (1903—1944)* — советский поэт, автор популярного стихотворения «Гитара», которое Маяковский критиковал за «романсовый» характер.

Стр. 640. *Хувер (Гувер)* Герберт Кларк (1874—1964) — президент США в 1929—1933 гг.

Б А Н Я

К работе над «Баней» Маяковский приступил в мае 1929 г. и закончил ее в середине сентября.

Двадцать второго сентября состоялось первое чтение пьесы друзьям, а 23 сентября Маяковский читал ее на заседании Художественно-политического совета Государственного театра имени Вс. Мейерхольда. «Баня» была принята театром к постановке, и с началом репетиций Маяковский, как и в период репетиций «Клона», деятельно работал с актерами, являясь, по существу, «режиссером по слову».

Впервые «Баня» была показана в Ленинграде Драматическим театром Государственного народного дома 30 января 1930 г. Спектакль был поставлен режиссером В. В. Люце. Премьера в Государственном театре имени Вс. Мейерхольда состоялась 16 марта 1930 г. Постановка В. Мейерхольда. Ассистент (работа над текстом) В. Маяковский. Художники С. Е. Вахтангов, А. А. Дейнека. Музыка В. Я. Шебалина.

В заметке «Что такое «Баня»? Кого она moet?» Маяковский так определил основной смысл и направленность своей пьесы: «Баня» — moet (просто стирает) бюрократов. «Баня» — вещь публицистическая, поэтому в ней не так называемые «живые люди», а оживленные тенденции. Сделать агитацию, пропаганду, тенденцию — живой, — в этом трудность и смысл сегодняшнего театра. ... Театр забыл, что он зрелище. ... Попытка вернуть театру зрелищность, попытка сделать подмостки трибуной — в этом суть моей театральной работы».

Незадолго до премьеры в Государственном театре имени Вс. Мейерхольда Маяковский написал лозунги для спектакля, которые были размещены на сцене и в зрительном зале. Приводим некоторые из них:

Некоторые говорят:

«Спектакль прекрасен,

но он

непонятен

широкой массе».

Барскую заносчивость

скорей донашивай, —

масса

разбирается

не хуже вашего.

—

Сильным средством

лечиться надо.

Наружу —

говор скрытненький.

Примите

против внутренних неполадок

внутреннее

лекарство

самокритики.

—

Ставь прожектора,

чтоб лампа не померкла.

Крути,

чтоб действие

мчало, а не текло.

Театр

не отображающее зеркало,

а —

увеличивающее стекло.

Маяковский написал также «Лозунги для лент финала»: в конце спектакля предполагалось вывесить лозунги на специальных лентах. Однако это осуществлено не было.

Стр. 650. ...легкий кавалерист.— «Легкой кавалерией» назывались добровольные группы комсомольцев, помогавшие органам госконтроля выявлять недостатки в работе предприятий и учреждений.

Стр. 653. Брюханов Н. П. (1878—1942) — в то время народный комиссар финансов.

Стр. 655. Ай Иван в дверь...— Переводчица Рита Райт, помогавшая Маяковскому в подборе слов для реплик Понти Кича, в своих воспоминаниях рассказывает, что поэт следующим образом пояснил ей свой замысел.

сел: «Надо сразу придумать и английское слово и то русское, которое из него можно сделать, например, «из вери уэлл» — по-русски будет «и зверь ревел»... Из английского «ду ю уант» вышел «дуй Иван», «пленти» превратилось в «плюньте», «джаст мин» в «жасмин», «андестенд» в «Индостан», «ай сэй иф» — в «Асеев». Некоторые слова («слип», «ту-го», «свелл») так и вошли в текст в русской транскрипции (с лип, туго, свел), а характерные английские суффиксы «шен» и «ли» дали «изобретейшен», «чассейшен» и «червонцли» («В. Маяковский в воспоминаниях современников», М. 1963, стр. 262).

Стр. 663. *Луи Каторз Четырнадцатый...* — Речь идет о французском короле Людовике XIV (1638—1715). Каторз (франц. quatorze) — четырнадцатый.

Луи Жакоп... — Жакоб — фамилия известных французских мастеров художественной мебели (XVIII—XIX вв.). Луи среди них не было.

Луи Мове Гу. — Мове гу (франц. mauvais goût) — дурной вкус.

Стр. 670. *После разных заседаний...* — перефразировка следующих строк поэмы Лермонтова «Демон»: «Час разлуки, час свиданья — || Им ни радость, ни печаль; || Им в грядущем нет желанья|| И прошедшего ис жаль».

...эльфы и цвельфы... — Запутавшись в иностранных словах, Иван Иванович «изобретает» несуществующее слово: по-немецки elf — одиннадцать, zwölf — двенадцать.

Стр. 675. *«Вишневая квадратура»...* *«Дядя Турбинах»...* — Маяковский соединил названия шедших во МХАТе пьес Чехова «Вишневый сад» и «Дядя Ваня» с названиями пьес, поставленных во МХАТе в те годы: «Квадратура круга» В. П. Катаева (постановка 1928 г.) и «Дни Турбиных» М. А. Булгакова (постановка 1926 г.).

Стр. 681. *...связи фридляндского порядка* — намек на книгу Л. Фридлянда «За закрытой дверью. Записки врача-венеролога» (вышла в 1927 г.).

Стр. 692. *...без вождя и без ветрил!* — перефразировка строки из поэмы Лермонтова «Демон» — «Без руля и без ветрил».

Ф. П и ц к е л ь

А Л Ф А В И Т Н Й Й У К А З А Т Е Л Ъ П Р О И З В Е Д Е Н И Й

- А все-таки — 34.
А вы могли бы? — 27.
Адище города — 31.
Американские русские — 226.
Атлантический океан — 172.
- Баня — 649.
Барышня и Вульворт — 212.
Блек энд уайт — 178.
Богомольное — 202.
Бродвей — 206.
Бруклинский мост — 228.
Бумажные укасы — 277.
- Вам! — 41.
Великолепные нелепости — 46.
Верлен и Сезан — 149.
Версаль — 158.
Владикавказ — Тифлис — 134.
Владимир Ильич! — 84.
Владимир Ильич Ленин — 453.
Внимательное отношение к взяточникам — 47.
Во весь голос — 600.
Военно-морская любовь — 42.
Война объявлена — 35.
Воровский — 111.
Вот так я сделался собакой — 44.
Вывескам — 27.
Вызов — 220.
- Гейнеобразное — 89.
Гимн обеду — 43.
Гимн судье — 41.
Город — 147.
Господин «народный артист» — 301.
- Дешевая распродажа — 57.
Домой! — 235.
- Еду — 145.
«Ешь ананасы...» — 72.
- Жорес — 162.
- «За что боролись?» — 291.
- Идиллия — 337.
Испания — 169.
- Канцелярские привычки — 264.
Кемп «Нит гедайге» — 232.
Киев — 115.
Клоп — 609.
Ко всему — 50.
Комсомольская — 118.
К ответу! — 71.
Кофта фата — 32.
Красавицы — 369.

- Левый марш — 81.
«Ленин с нами!» — 296.
Ленинцы — 381.
Лиличка! Вместо письма — 53.
Лучший стих — 294.
- Мама и убитый немцами вечер — 36.
Марксизм — оружие, огнестрельный метод. Применяй умеючи метод этот! — 243.
- Маруся отравилась — 307.
Марш ударных бригад — 379.
Мексика — 195.
Мексика — Нью-Йорк — 205.
Мелкая философия на глубоких местах — 176.
- Молодая гвардия — 112.
Моя речь на Генуэзской конференции — 104.
- Моя речь на показательном процессе по случаю возможного скандала с лекциями профессора Шенгели — 288.
- Мрачное о юмористах — 361.
Мы идем — 82.
Мы не верим! — 110.
- Надоело — 55.
На Западе все спокойно — 363.
Нате! — 31.
- Нашему юношеству — 280.
Наше новогодие — 272.
Наш марш — 72.
Небоскреб в разрезе — 215.
- Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче — 86.
- Не юбилейте! — 268.
Ничего не понимают — 32.
- Нордерней — 113.
Noître-Dame — 156.
Ну, что ж! — 303.
- Облако в штанах — 387.
Общее руководство для начинающих подхалим — 304.
- Ода революции — 74.
О дряни — 91.
- Отношение к барышне — 89.
От усталости — 30.
- Парижанка — 366.
Париж (Разговорчики с Эйфелевой башней) — 106.
- Передовая передового — 254.
- Письмо к любимой Молчанова, брошенной им... — 314.
Письмо Татьяне Яковлевой — 355.
- Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви — 351.
- Плюшкин — 330.
- По городам Союза — 284.
- Подлиза — 342.
- Порядочный гражданин — 218.
- Послание пролетарским поэтам — 256.
- Последняя петербургская сказка — 62.
- Последняя страничка гражданской войны — 90.
- Послушайте! — 33.
- Поэт рабочий — 78.
- Приказ № 2 армии искусств — 95.
- Приказ по армии искусства — 75.
- Прозаседавшиеся — 97.
- Прощание (Кафе) — 165.
- Прощанье — 168.
- Про это — 408.
- Птичка божия — 373.
- Радоваться рано — 77.
- Разговор на одесском рейде десантных судов: «Советский Дагестан» и «Красная Абхазия» — 267.
- Разговор с товарищем Лениным — 358.
- Разговор с финниспектором о поэзии — 246.
- Размышления о Молчанове Иване и о поэзии — 317.
- Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру — 319.
- Рассказ Хренова о Кузнецкстроем и о людях Кузнецка — 376.
- Революция — 65.
- России — 64.
- Свидетельствую — 209.
- Сволочи — 99.
- Себе, любимому, посвящает эти строки автор — 61.
- Севастополь — Ялта — 132.
- Секрет молодости — 336.
- Сергею Есенину — 238.
- Сифилис — 181.
- Скрипка и немножко нервно — 37.
- Служака — 322.
- Сплетник — 345.

- Стабилизация быта — 274.
Стихи не про дрянь, а про дрянцо.
Дрянцо хлещите рифм концом — 328.
Стихи о разнице вкусов — 350.
Стихи о советском паспорте — 370.
Стихотворение о Мясницкой, о бабе и о всероссийском масштабе — 93.
Столп — 340.
100% — 223.
- Тамара и Демон — 139.
Товарищу Нетте — пароходу и человеку — 262.
Той стороне — 79.
Тропики — 193.
Трус — 325.
- Халтурщик — 333.
Ханжа — 347.
Хвои — 59.
Хорошее отношение к лошадям — 73.
Хорошо! — 524.
Христофор Коломб — 187.
Хулиганщина — 143.
- 6 монахинь — 170.
- Эй! — 48.
- Юбилейное — 123.
- Я — 28.
Я и Наполеон — 38.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>A. Сурков. Читая Маяковского</i>	5
---	---

СТИХОТВОРЕНИЯ

А вы могли бы?	27
Вывескам	27
Я	28
От усталости	30
Адище города	31
Нате!	31
Ничего не понимают	32
Кофта фата	32
Послушайте!	33
А все-таки	34
Война объявлена	35
Мама и убитый немцами вечер	36
Скрипка и немножко нервно	37
Я и Наполеон	33
Вам!	41
Гимн судье	41
Военно-морская любовь	42
Гимн обеду	43
Вот так я сделался собакой	44
Великолепные нелепости	46
Внимательное отношение к взяточникам	47
Эй!	48
Ко всему	50
Лиличка! Вместо письма	53

Надоело	55
Дешевая распродажа	57
Хвон	59
Себе, любимому, посвящает эти строки автор	61
Последняя петербургская сказка	62
России	64
Революция	65
К ответу!	71
«Ешь ананасы...»	72
Наш марш	72
Хорошее отношение к лошадям	73
Ода революции	74
Приказ по армии искусства	75
Радоваться рано	77
Поэт рабочий	78
Той стороне	79
Левый марш	81
Мы идем	82
Владимир Ильич!	84
Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче	86
Отношение к барышне	89
Гейнеобразное	89
Последняя страничка гражданской войны	90
О дряни	91
Стихотворение о Мясницкой, о бабе и о всероссийском мас- штабе	93
Приказ № 2 армии искусств	95
Прозаседавшиеся	97
Сволочи	99
Моя речь на Генуэзской конференции	104
Париж (Разговорчики с Эйфелевой башней)	106
Мы не верим!	110
Воровский	111
Молодая гвардия	112
Нордерней	113
Киев	115
Комсомольская	118
Юбилейное	123
Севастополь—Ялта	132
Владикавказ—Тифлис	134
Тамара и Демон	139
Хулиганщина	143

Париж

Еду	145
Город	147
Верлен и Сезан	149
Notre-Dame	156
Версаль	158
Жорес	162
Прощание (Кафе)	165
Прощанье	168

Стихи об Америке

Испания	169
6 монахинь	170
Атлантический океан	172
Мелкая философия на глубоких местах	176
Блек энд уайт	178
Сифилис	181
Христофор Коломб	187
Тропики	193
Мексика	195
Богомольное	202
Мексика — Нью-Йорк	205
Бродвей	206
Свидетельствую	209
Барышня и Вульворт	212
Небоскреб в разрезе	215
Порядочный гражданин	218
Вызов	220
100%	223
Американские русские	226
Бруклинский мост	228
Кемп «Нит гедайге»	232
Домой!	235
Сергею Есенину	238
Марксизм — оружие, огнестрельный метод. Применяй умеючи метод этот!	243
Разговор с финишспектором о поэзии	246
Передовая передового	254
Послание пролетарским поэтам	256
Товарищу Нетте — пароходу и человеку	262
Канцелярские привычки	264
Разговор на одесском рейде десантных судов: «Советский Дагестан» и «Красная Абхазия»	267
Не юбилейте!	268

Наше новогодие	272
Стабилизация быта	274
Бумажные ужасы	277
Нашему юношеству	280
По городам Союза	284
Моя речь на показательном процессе по случаю возможного скандала с лекциями профессора Шенгели	288
«За что боролись?»	291
Лучший стих	294
«Ленин с нами!»	296
Господин «народный артист»	301
Ну, что ж!	303
Общее руководство для начинающих подхалим	304
Маруся отравилась	307
Письмо к любимой Молчанова, брошенной им...	314
Размышления о Молчанове Иване и о поэзии	317
Рассказ литеящика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру	319
Служака	322
Трус	325
Стих не про дрянь, а про дрянцо. Дрянцо хлещите рифм концом	328
Плюшкин...	330
Халтурщик	333
Секрет молодости	336
Идиллия	337
Столп	340
Подлиза	342
Сплетник	345
Ханжа	347
Стихи о разнице вкусов	350
Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви	351
Письмо Татьяне Яковлевой	355
Разговор с товарищем Лениным	358
Мрачное о юмористах	361
На Западе все спокойно	363
Парижанка	366
Красавицы	369
Стихи о советском паспорте	370
Птичка божия	373
Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка	376
Марш ударных бригад	379
Ленинцы	381

ПОЭМЫ

Облако в штанах	387
Про это	408
Владимир Ильич Ленин	453
Хорошо!	524
Во весь голос	600

ПЬЕСЫ

Клоп	609
Баня	649
Примечания Ф. Пицкель	695
Алфавитный указатель произведений	727

ОКНО САТИРЫ РОСТА №70.



1) ТОВАРИШИ, НЕ ПОДДАВАЙ-
ТЕСЬ ПАНИКЕ, ОНА
ДЕЛАЕТ ОБЫКНОВЕННО
ИЗ МУХИ СЛОНА.

2) И ВОТ СЛЕДС-
ВИЕ ЭТОГО.



3) Но и востро держать
ухо,
чтоб из слона не
получилась муха.

4) СЛЕДСТВИЕ
ЭТОГО ТАКОЕ.



5) Без всякой паники, но и не зря резво
идите на фронт хладнокровно и трезво.



1) ОРУЖИЕ АНТАНТЫ-ДЕНЬГИ 2) БЕЛОГВАРДЕИЦЕВ ОРУЖИЕ-
ложь



3) МЕНЬШЕВИКОВ
в спину нож
ОРУЖИЕ-Ч) ПРАВДА,



5) ГЛАЗА ОТКРЫТИЕ

6) И РУЖЬЯ-ВОТ КОММУНИ-
СТОВ ОРУЖИЕ.



1. Товарищи! почему в Европе
до сих пор нет Советов,
а буржуи у власти?



Ч. ЗАПОМНИТЕ ЭТО ТОВАРИЩИ !
ЕДИНСТВЕННАЯ ВАША
РАБОЧАЯ ПАРТИЯ -
- КОММУНИСТЫ !



1. АНТАНТА ПРИЗНАЕ-
ВАЛА ТИ ЭТУ,



2. ТИ ЭТУ ВЛАСТЬ



3. КРОШИЛИ ВЛАСТЬ
КРАСНОАРМЕЙЦЫ ДА-
ЖЕ НЕ ДАВШИ ПОПИ-
РОВАТЬ ВЛАСТЬ.



4. ИЩЕТ АНТАНТА ДЛЯ
ПРИЗНАНИЯ ВЛАСТИ
ПРОЧНЕЕ ПРОЧЕЙ -
ПРИЗНАВАЙ - НЕ НАЙ-
ДЕШЬ ПРОЧНЕЙ РАБОЧЕЙ



3. Донецкий уголь питает станцию.

ПОМНИ О ДНЕ КРАСНОЙ КАЗАРМЫ



1) МЫ ДОБИЛИ РУССКИХ БЕЛОГВАРДЕЦЕВ.
ЭТОГО МАЛО:



2) ЕЩЕ ЖИВЕТ ЧУДОВИЩЕ МИРОВОГО
КАПИТАЛА,



3) ЗНАЧИТ НУЖНА ЕЩЕ АРМИЯ
КРАСНАЯ,



4) ЗНАЧИТ И ПОМОГАТЬ ЕЙ НУЖНО—
ДЕЛО ЯСНОЕ.

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД ПО ЭЛЕКТРОФИКАЦИИ ПОСТАВЛЕН В ПОРЯДОК ДЛЯ СЪЕЗДА.
МЫ ГРЫ КРУГЛЫМ ТЕБЕЛОМЕ: НА ТРИБУНЕ ВСЕРОССИЙСКИХ
СЪЕЗДОВ БУДУТ ГОСЯВЛЯТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО ГОСПИТИКИ, НО И
НИЖЕ НЕРЫ.

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩЕНИКА НА СЪЕЗДЕ.



ЧИ МЫ ЗАКРЫЛИ НАД
МИРОМ ИСТИНУ ЭТУ.

2) ЭТА ИСТИНА РАЗНЕС
ЛАСЬ ПО ВСЕМУ СВЕТУ



3) ТЕПЕРЬ НАМ НУЖ-
НЫ ОГНИ ЭТИ



Ч) ПУСТЬ ЭТОТ ОГОНЬ
РОССИЮ ОСВЕТИТ!
ПОСТАДЧИ.





1) План Советской
властью дан



2) Я доволен ею



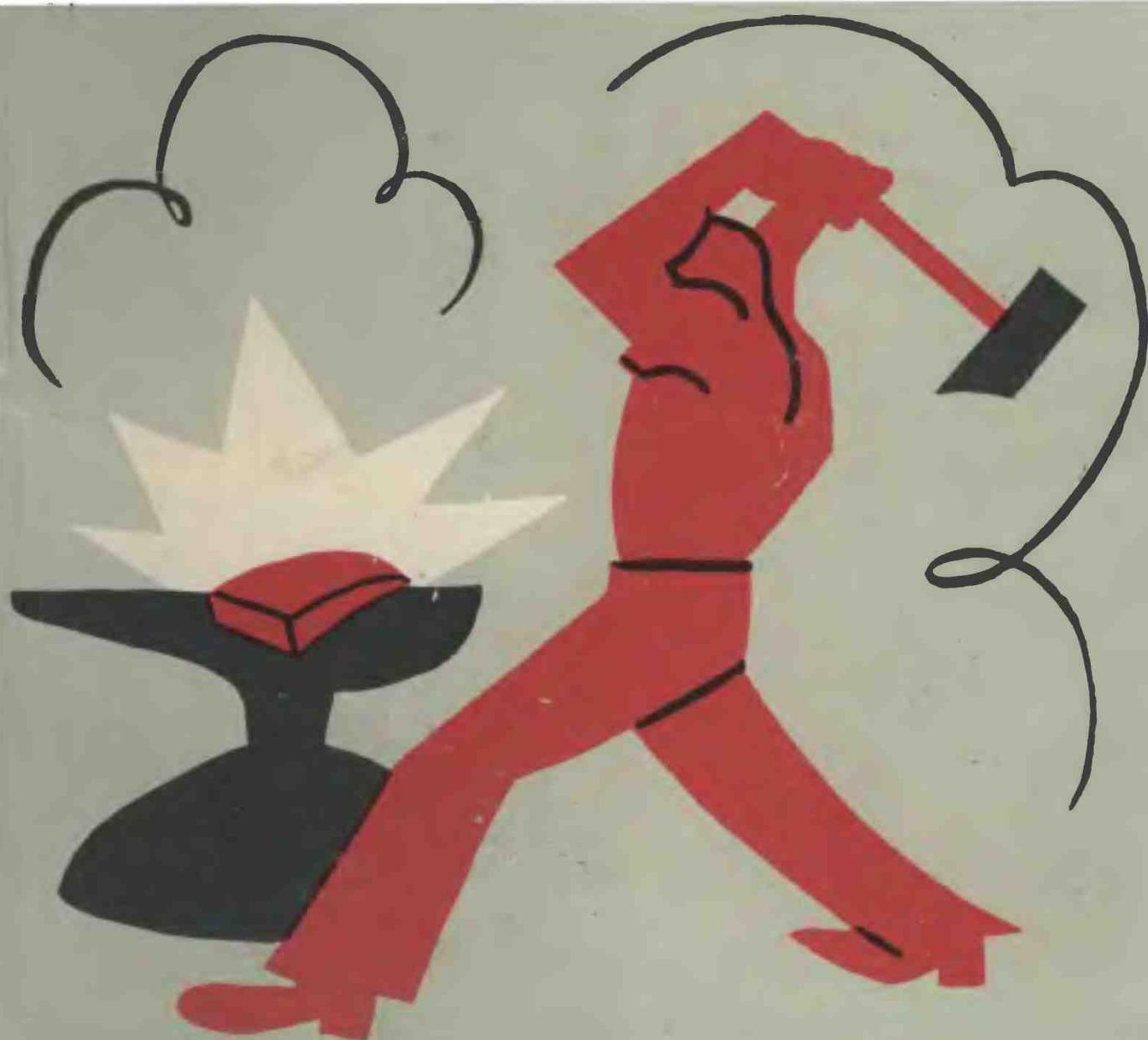
3) Как велит
советский план



4) Землю всю
засею



ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ
СТИХОТВОРЕНИЯ • ПОЭМЫ • ПЬЕСЫ





БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СЕРИЯ ТРЕТЬЯ
Том 168

*Владимир Владимирович
Маяковский*

СТИХОТВОРЕНИЯ. ПОЭМЫ.
ПЬЕСЫ

*

Редактор А. Козловский

Оформление «Библиотеки»
Д. Бистри

Художественный редактор
Л. Калитовская

Технический редактор
Л. Платонова

Корректор М. Доценко

*

Сдано в набор 21/1 1969 г. Подписано
к печати 24/IV 1969 г. Бумага типогр.
№ 1 форм. 60×84¹/₁₆—46 печ. л.
42,92 усл. печ. л. 42,27 уч.-изд. л.
+11 вкл.=42,91. Тираж 300 000 экз.
Заказ № 3476. Цена 1 р. 81 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманий, 19

*

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова
Главполиграфпрома Комитета по печати
при Совете Министров СССР
Москва, М-54, Валовая, 28